

Н. Венедиктова

ЦЕЗАРЬ
и
ВЕНЕДИКТОВА

Роман
Рассказы
Эссе

Надежда Венедиктова.

Цезарь и Венедиктова. Роман, рассказы, эссе.

Абгосиздат. Сухум, 2010. – 408 с.

Надежда Венедиктова экспериментирует с сознанием, исследуя его глубины с субтропической чувственностью и феноменологической отстраненностью. Такой подход делает ее прозу легкочитаемой, несмотря на амбициозность задачи – наслаждаться самоанализом как игрой страстей вынуждать жизнь к ответной страсти.

ЦЕЗАРЬ И ВЕНЕДИКТОВА

Рассказ

Иногда меня цепляет мысль, кто получал от жизни больше наслаждения – Цезарь или я?

Гай Юлий Цезарь – I век до Р. Х. Полководец, к концу жизни стал фактическим монархом Рима, хотя политическую деятельность начал сторонником демократов. Оратор, уступавший красноречием лишь Цицерону. Чтобы сделать сенат подотчетным, основал первую в мире ежедневную газету, которая вывешивалась на стенах форумов и содержала прения сенаторов и новости. Эпилептик. По мнению Дюранта, жестоким завоеванием Галлии спас средиземноморские страны, отсрочив на четыре столетия варварское нашествие германских племен, и определил характер французской цивилизации; по мнению Моммзена, и германская часть Европы получила свою долю в классическом наследии благодаря Цезарю. Никогда не слышал симфонического оркестра, не пользовался презервативами, согласно представлениям своего времени, думал, что сердце является вместилищем разума.

Основной побудительный мотив – стремление к власти.

Н. В. – вторая половина XX века. Ежевечерний свидетель сухумского залива. В интимных отношениях с собственной жизнью и общественными иллюзиями. Работала библиотекарем, киномехаником, журналистом и пр., ходила в горы, увлекалась виндсерфингом, по утрам стоит на голове. По мнению домашней кошки, сносно лазает по деревьям, глуха к запахам и невменяема во время полнолуний. Никогда не командовала войсками, вместо мистерий участвовала в демонстрациях.

Основной побудительный мотив – превращать в текст происходящее.

Ставлю на художника против политика – приколоться сквозь толщу двух тысячелетий тем пикантнее, что, опустив противостояние одним концом в прошлое, получаем оптику, изобилующую неожиданностями и фривольным отношением к истине, которая находит избранника неисповедимыми путями.

Охотно уступаю Цезарю пальму первенства в плотских утехах – выдающийся бисексуал античности, он был на своем месте и в постели Никомеда, правителя Вифинии, и в объятиях Клеопатры. За неумное распутство Курион называл его «мужем всех женщин и женой всех мужей»; живи он тысячелетием раньше, замороженный его энергией народ приписал бы ему скотоложество, и в очередной легенде Цезарь прелюбодействовал бы с гусыней или имел потомков от шkodливой козы.

Не будем считаться и с другими лежащими на поверхности удовольствиями – речь о том наслаждении, которое не подвластно публичным пересудам и подстеречь которое удастся лишь на весах неуловимого.

Цезарь происходил из патрицианского рода Юлиев, древнего и знатного. Произнося на Форуме похвальную речь в память умерших тетки и жены, он напомнил согражданам, что его род восходит к богине Венере. Став властителем Рима, он воздвиг храм Венеры Прародительницы.

Мои предки, калужские и ивановские крестьяне, среди коих попадались и кузнецы, безмолвно вспахивали историю под вой волков и снежной вьюги.

За спиною Цезаря торжественный, восходящий к небу ряд, у истоков которого богиня любви, сладострастная и утверждающая своим бессмертием некий особый статус для потомков. Уже готовый пьедестал и трамплин для целеустремленного юнца – двадцатитрехлетним, попав в плен к пиратам, он держит себя господином, сочиняет речи и поэмы, читает их вслух пиратам и обзывает их невежами, ког-

да они не в состоянии оценить красоту его слога. Получив свободу, он захватывает пиратов, приказывает их распять и отбывает на Родос изучать риторику и философию.

Одобрительный взгляд Венеры сопровождает его дневные и ночные подвиги – не столь важно, верит ли он сам в это, мифологическая схема уже работает и подпитывает благоуханием даже бытовые привычки.

За моей спиной многовековая нищета, отсутствие семейных преданий и свист бескрайних российских равнин. Где-то витает тень прапрабабки Арины, дожившей до ста пяти лет и последние годы ночевавшей в гробу на чердаке – может быть, ее одиночество полуночницы юродствует в моей крови, прося Христа ради у времени и пространства.

Цезарь укоренен в плотном фамильном движении к цели – я свободно болтаюсь в просторах интимного.

На его чаше – традиции, чувство плеча и лона, значительность внешней судьбы, придающей блеск заверченного семейной тяге к величию.

На моей – сквозняк, открытый всем ветрам, от сирокко до вздоха гусеницы, необязательность биографии и ошеломляющая свобода частного выверта.

Его кайф ощутимее и популярнее, мой – пронзительнее. С самодовольством человека, живущего на целую христианскую цивилизацию позже, признаю, что дальнейшие попытки считаться будут еще субъективнее.

Более тридцати лет Цезарь неуклонно шел к безграничной власти. Он достиг ее, когда ему было за пятьдесят – в этом возрасте в Индии отрекаются от должности и суеты и босыми бредут по дорогам в поисках вечности.

В бытность госсекретарем Штатов Генри Киссинджер нежно признался, что власть – это сильнейшее возбуждающее средство. Сальвадор Дали, внеся томность эксгибициониста, подтвердил, что ощущать беспрекословное повиновение даже не приказу, а прихоти весьма усадительно.

О, мой Цезарь, ты, кому сенат лишь за пять месяцев до смерти разрешил носить лавровый венок, чтобы прикрыть лысину, неужели – ты же всю жизнь работал как вол, делил

походные лишения с воинами, не щадя хилого тела, ты же мечтал осушить Пометинские болота и спустить Фуцинское озеро – неужели в основе всего лежала страсть быть первым, то есть карикатурой на героическую позу полубога?

Это темное, грозное наслаждение повелевать – ради него только за десять лет управления Галлией Цезарь уничтожил в боях миллион варваров и столько же взял в плен.

Руины несостоявшихся судебных мостили его путь к славе – вместительность его жизни поражает: грандиозная невидимая империя смертей и разрухи сопровождала его деятельность законодателя.

Позволял ли он этому метафизическому маятнику разворошить себя до потрохов – наслаждение ужасом на краю пропасти, когда миллион трупов оправдывает исправление календаря и намерение сделать безопасным плавание для купцов по Тибру.

Ставлю на кон полдень 1997-го – ранняя осень, глухой угол столетнего парка и мой столбняк под земляничным деревом. Шелест моря скорее угадывался.

После зноя и вспышек улицы тень ошеломила и подняла со дна влажную глубину жизни, от сверкающе-изнурительной юности до зрелого удара мордой о гибель друзей и конечность опыта. Оступившись, я коснулась ладонью ствола, и действительность хлынула беспощадно и жестко.

Давно ее не было в таких количествах.

Мое человеческое не из самых выносливых. И сейчас оно ушло в песок, оставив сознание зыбким маревом, которое пыталось отдалиться непознаваемому.

В моей власти скользнуть за грань и – не вернуться. Искус художника – гоняться за смутным и забираться в дебри, где не подстраховывает даже инстинкт самосохранения.

Наслаждение последней гранью, сорвать сознание, как стоп-кран, и на тебя не смогут указать даже пальцем – ты уже вне пределов досягаемости.

Власть Цезаря нуждается в свите и государстве. Отсюда размах и внешние эффекты – фейерверк завоеваний, интриг и судьбоносных решений.

Моя власть украдена у самой жизни, достигшей избыточности в человеке и ищущей свежий выход.

Засунь меня вместо Цезаря на колесницу триумфатора, и я через четверть часа сдохну со скуки. Засунь его в мой столбняк под деревом, и он сочтет, что боги покарали его безумием.

* * *

Сегодня ночью Цезарь снился – невысокий плешивый холерик в тоге, расхаживающий по террасе и диктующий писцу. Римские сумерки походили на наши, и пели, кажется, дрозды.

Временами я видела его близко, в три четверти, бледная кожа, юркий профиль, опережающий речь; иногда его глазами смотрела на молодого писца, видимо, армянина, с тяжелыми завитками над ухом, смуглого и важного в своем усердии.

Цезарь двигался легко, порывисто, носки ног ставил круто врозь. Диктовал почти без пауз, поглядывая то на небо, то в глубь сада.

Сцена провисала, вдруг, не закончив фразу, Цезарь ушел в помещение, и началась обычная для сна кутерьма.

Все происходило как бы сразу, одномоментно – Цезарь, слезающий с коня, рядом рослый воин с обветренной рожей убийцы и сводника, обмениваются взглядом, из которого торчат уши сообщников; Цезарь беседует с двумя сенаторами, еще с десятков почтенных римлян переминаются среди мраморных колонн, все оживлены, солнце бьет сбоку, язвительный смех одного из собеседников Цезаря, и все лица перекашивает кисло-сладкая гримаса; Цезарь с намечающимся брюшком занимается любовью с рабыней, мелкозубой жрицей из Фракии, доставленной накануне, она закатывает глаза, извивается и стонет, но ее смазанные маслом плечи хранят судорогу почтительности; видимо, Цезарь в гостях, он любезен и очаровывает, его ложе отделано слоновой ко-

стью, говорят вполголоса в тон свечам, единственная женщина, рыжая, с надушенными подмышками, умело распоряжается слугами, все мужчины моложе Цезаря – мысленно он оценивает их и приходит к выводу, что эти тоже не умеют действовать в обход себя.

Даже во сне меня затягивает его самообладание и хозяйственная жилка – он использует каждую ситуацию живьем, не давая ей остыть, перекидывая ее, как мостик, к следующему берегу.

Он действует по всему полю, не упуская ни одной мелочи, – приближаясь к оргазму, он заметил, что у рабыни растянулся браслет на левом запястье, снял его и откинул к изголовью, успев ногтем опробовать крепость эмали. В беседе с сенаторами он работал методом обратной перспективы, выдвигая на себя персонажей заднего плана, особенно выпячивал желчную физиономию цвета табачного листа, которая ни разу не повернулась к Цезарю прямо, не коснувшись его взглядом.

Уже днем, стоя на деревянной стремянке и обрезаю «изабеллу», я вспомнила еще один фрагмент из пучка сновидений – морда лошади, с которой слезал Цезарь, больше походила на петушиную, с кованым гребнем и полузакрытыми бешеными глазами.

Дохнуло жутью, цветной, фантасмагоричной, и меня пробило исподтишка – а ведь он действительно жил, чертов хрен, и его жадность к жизни кусала теперь меня за пальцы.

Он насиловал реальность, как шлюху, тратя чужие деньги и способности, брал ее измором и хитростью. Возможно, неудачи возбуждали его, как отказ из уст зрелой кокетки.

Он навязывал свое и наслаждался подгонкой действительности к своему образцу – в ловушке его честолюбия даже предсказания оракула теряли свою двусмысленность в пользу Цезаря.

Моя тактика с противоположным знаком – мастера из Фучжоу выезжали в открытое море, где воздух влажен и свободен от пыли, и в лодках работали над изделиями из

расписного лака, средневековые китайцы ценили чистоту воздуха, как я – чистоту прикосновения к происходящему.

Кайф насильника в ореоле завоевателя – восторженный вой толпы, обожествляющая зависть. Ты поселяешься в чужих душах, тебя тиражируют и разносят, как инфекцию. Ты везде, мой Цезарь, где ступала нога человека.

Кайф художника – тишина, проступающая подробностями, и гулкое одиночество, из которого ускользаешь, оставляя его приманкой, – вдруг и сегодня происходящее клонит на взаимное обольщение, где абсурд и страсть эротически связаны в молнию, где смерть Сезанна сыграна не в ящик, а в древний ужас молчания, уходящего за горизонт.

Вызываешь жизнь на себя, чтобы сдаться в плен осязанию – вывалиться телом и душой в окрестностях, в лае бродячего пса и городской суете государства, в завалах истории и мусорной кучи, в походке старухи, несущей апельсин и пакет с хамсой, и внутри дрожаще-радостный смех от прелести мира и отчаяние: слишком он хрупок и напоказ, что-то кроется за всем этим, трагедия крадется босиком, бесшумно и льнет к твоему сердцу, выходя с другой стороны прожженной bestией, знающей законы расцвета и увядания.

Что происходит тогда и здесь – в неразличимой близости человека и жизни? Если я размножаю реальность, цитирую ее на свой вкус и в меру испорченности, может быть, и она посылает меня подальше, на три буквы, разбегающиеся после Большого взрыва...

* * *

Современники разглядывали Цезаря довольно пристально и не без иронии.

Как ехидно заметил один из них, смолоду Цезарь был обходителен и более внимателен к каждому, чем можно было ожидать в его возрасте.

Прирожденный популист, Цезарь стяжал любовь простонародья с последовательностью логика, хотя и вел блестящий образ жизни, подобающий патрицию. Он задавал

роскошные пиры, соперничавшие с лукулловскими, устраивал многолюдные игры с гладиаторами и диким зверьем, отремонтировал за свой счет Аппиеву дорогу и в спорах знати с чернью играл обычно на стороне последних.

Цицерон, мягкий скептицизм которого отрицал окончательную достоверность, первым заподозрил его в стремлении захватить власть и первым же ощутил комичность юлианского имиджа: “Но когда я вижу, как тщательно уложены его волосы и как он изящно почесывает голову одним пальцем, мне всегда кажется, что этот человек не может замысливать такое преступление, как ниспровержение римского государственного строя”.

Значит, между просвечивающей сутью и поведением Цезаря был некий зазор, в который внимательный наблюдатель мог сунуть нос.

Саллюстий, долгие годы бывший одним из командиров Цезаря, а потом выродившийся в историка, сравнивая Цезаря и Катона, в самом конце сравнения проговаривается, что Катон предпочитал быть, а не казаться хорошим, поэтому, чем меньше он искал славы, тем больше она сопутствовала ему.

Однако восхищение Саллюстия Цезарем неподдельно. Цезарь работал на публику – ну что ж, в конце концов, среди публики был и сам Саллюстий, а зрелище, которым Цезарь потчевал римлян и иностранцев, захватывало напряженной интригой и развивало вкус тщательностью отделки.

Именно поэтому Цезарь стал любимцем истории и культуры, а суровый добродетельный Катон, предпочитавший быть, а не казаться, уныло маячит в сумрачной толпе задвинутых на музейные задворки.

Теперь передо мною Цезарь-актер, всю жизнь лепивший внешнего Цезаря так же, как я – нормального человека, живущего среди себе подобных. Временами мне это жутко нравится и неплохо удастся – репутация здравомыслящей личности с чувством юмора укрывает не хуже пустынножития и так же хорошо проветривается.

Цезарь выигрывает в масштабе, я – в интиме. Он развлекал империю, чтобы прийти к власти, я развлекаю окружающих, чтобы остаться наедине.

Хохотал ли он над собою с таким же кайфом, как я, глядя в зеркало на почтенного члена общества, – я-то знаю, что в зеркале не я. Для него зеркалом была империя, увеличивающая отражение до размеров космических, – успел ли он обжить эти просторы или ему, как всегда, было некогда, все-то он спешил, но не по направлению к себе.

Итак, он наслаждался, удаляясь от себя, – кайф центробежного лицедейства, возводящего вокруг грандиозные декорации внешнего Цезаря.

Я ловлю кайф, когда удается застукать себя без всяких прикрас, в наготе смирения – ни границ, ни точки опоры, и нет имени тому, что протаскивает окружающее сквозь слова.

Если мы когда-нибудь пересечемся в вечности, и он все еще останется Цезарем, а меня еще будет интересовать подобная чушь, я спрошу его с простотой, которая хуже воровства, – не испытывал ли он невольного, на грани ужаса и сладострастия, наслаждения, когда сенаторы наносили ему удары кинжалами?

Такая эффектная концовка несомненно должна была войти в историю – Цезарь накинуд на голову край тоги и застыл, чтобы подчеркнуть кровожадность убийц.

Я, скорее всего, помру тихо, в возрасте за девяносто, исчерпав жизнь и впад в благодушный старческий маразм, источающий молочную святость.

Он и смерть использовал в своих целях – миф о Цезаре обрел законченность.

Я попытаюсь, чтобы меня не застигли врасплох, и промакую переход в иное качество с блаженством идиота, которого происходящее поглощает, переводя на гибкий язык забвения.

* * *

В наших глазах эпилепсия роднит Цезаря с князем Мышкиным и придает ему трогательность и беспомощное вели-

чие припадочного, к которому откровение приходит в судорогах и пене.

Возможно, судьба Цезаря, обремененная прагматизмом, отыгрывалась припадками – сброс суеты в очищающий сток священной болезни.

Может быть, в эти мгновенья он казался себе жрецом неведомого бога, получающим благую весть о своей причастности, или, закоренелый практик, мнил себя птицей феникс, восстающей из пепла после очередного приступа нестерпимого наслаждения, смывающего личностные границы.

Эта вторая, надличностная жизнь слепящих провалов в бесконечное, может быть, и есть знаменитое обаяние Цезаря, подсвечивающее его бурную деятельность управленца, – он не побрезговал даже законом против роскоши, мелочно вторгаясь в сады тщеславия.

Почти не сомневаюсь, что эпилепсия была его козырем. При его цепком умении отжимать из неудачи вино для следующей попойки он использовал эпилепсию как ангел-хранителя – под ее сенью мания величия обретала сакральный характер и подверстывала неожиданности и промахи в бессмертную летопись государственного мужа, который ловил метафизический кайф администратора, заставившего неведомое работать на карьеру.

На свою чашу весов я бросаю проклятую впечатлительность, которая превращает любую житейскую мелочь в рискованное приключение и вынуждает жить вдали от себя, возвращаясь лишь на пару часов в сутки, чтобы не забыть адрес.

Не держи я дистанцию, одним психопатом было бы больше, а так, в плодотворном изгнании, цветущей версии бегства, можно точить перья об остроту существования и провозгласить родовые схватки действительности.

Хотя и здесь впечатлительность подстерегает на каждом шагу, но здесь ее можно укротить и на ее горбу въехать в рай, где Одиссей раскачивает качели над Средиземноморьем, а полдень обескураживает влюбленных поцелуями и бегом времени вдоль позвоночника и влажных бедер...

Из того, что известно о Цезаре, можно предположить, что человек не был для него поводом к созерцанию. Скорее поводом к действию.

Пристрастие человечества к авторитетам и твердой руке, должно быть, изрядно забавляло его и казалось целесообразным – так естественно впрягались окружающие в колесницу его успеха.

Вряд ли человек был для него ложем или ристалищем взгляда, способного развернуть человека в сложнейшую перспективу связей и действия, в разверзающуюся тайну возраста, вряд ли он падал в прелесть и тяжесть человеческого, размывающего социальную оболочку с податливостью воды.

Хотя он был чуток и восприимчив к слову и однажды заплакал от волнения, слушая чужую речь. Но привычка к власти торопила просчитывать собеседника как ступень, рычаг или приманку и проносила мимо интимных ландшафтов, в которых клубится история человека.

Аве, Цезарь, я хочу побаловать тебя современной байкой. Только что закончилась знаменитая Фарсальская битва, в которой ты наголову разбил Помпея Магна. Помпей бежит, а ты сидишь в его роскошном шатре и пьешь вино, которое он приготовил, чтобы отпраздновать победу. Ты поднял серебряный кубок, а я начну дозволенные речи и расскажу кое-что, чтобы оставить за собой последнее слово:

Ваза конца второго тысячелетия

На деле мужественность и женственность,
как их обычно понимают, суть опаснейшие
помехи для человечества.

Фридрих Шлегель

В середине июля, щедрого на ночные дожди, Екатерина Шустова, художник-маринист, спасалась от жары под кам-

форным деревом. На этом малопосещаемом сухумском холме лето всегда отличалось тишиной, несмотря на сумасбродство птиц, и зернистой плотностью времени.

Последние полчаса слева, сквозь заросли барбариса, изредка доносился воркующий женский смех, от которого тень ворсилась и мягко блестела, а солнечный свет взрывал поверхность листьев и травы. Екатерина шевелила пальцами ног и размышляла о том, что этот смех особенно хорош поздними вечерами, когда под покровом темноты в разных уголках города разгораются любовные игры, и искры смеха разносят возбуждение по балконам и распахнутым окнам. Зимой, когда смеха не слышно, городу не хватает шарма и легкомыслия.

Она встала и с наивным бесстыдством дриады, которой захотелось подшутить над влюбленными, скользнула в заросли, отводя ветки руками и жадно предвкушая блик июльского солнца на смуглом плече, неистовое сплетение тел, ошеломляющее текучим разнообразием поз, и контраст между человеческой плотью и землей.

Под магнолией, полулежа на соломенной подстилке, молодая женщина ела белый виноград, и розовые кончики пальцев тянули за собой прозрачно-грунтовый след виноградной кожицы, отсылая его к лицу, – глаза глубоко плавали под приспущенными веками, влажно отсвечивали бисеринки пота на висках и около губ, жар наслаждения и зноя стекал с лица к раскрытому телу, которое лениво сторожил седой мужчина.

Екатерина поняла, что это муж, но не узнавала его – звенящая легкость и отдых отодвигали его увядающую наготу на задний план, его слабый загар не так пружинисто ловил зеленоватые тени, и тайна обладания еще будоражила воздух у самой поверхности его тела, смешивая фиолетовое с фиштакшами и черной дробью, отблескивающей на дне охрой.

Восхищение и боль заставили ее закрыть глаза, но память тут же швырнула увиденное еще ближе – темная зелень травы и лаковых листьев магнолии выплескивала голую чело-

веческую пару в марева желания и неги, белокурая голова женщины мерцала и казалась более выпуклой, чем седой затылок мужчины.

Она пятилась, раздирая колючками барбариса платье и кожу. Дома она побросала в саквояж вещи и оставила мужу записку, что уезжает в Феодосию, к заболевшей тетке.

Ближайший теплоход отходил в шесть утра.

Несколько часов она просидела в удаленном уголке набережной, где стискивала ворота глицинии, отрада глаз и хищник, и упрямо пялилась на слепящее море, стараясь реже смаргивать – это сразу возвращало к подсмотренной любовной сцене.

Надо было измотать память, забить ее другим зрелищем. Море, которое всегда спасало, и сейчас властно выманивало ее взгляд, фамиллярничало и невозмутимо отталкивало, залив рассеивал солнце, стекавшее к горизонту.

Наконец дробная мука начала отпускать. Екатерина поспешила закрепить победу зрения и впиалась в парочку, дрейфующую в поисках прохлады.

Женщина явно была приезжей и в возрасте опять ягодки, сарафан морской волны льнул к обожженным плечам, которые родственно приглушали ожерелье из кораллов. Кавалера Екатерина знала с юности, это был местный ловелас со стажем – иногда она раскидывала его, как карточную колоду, отслеживая его от красавца с бронзовым телом до нынешней галантной развалины. Несмотря на жару, он был в пиджаке расцветки “персидская сирень”, левая рука с массивным золотым перстнем жестикулировала перед бюстом спутницы.

Екатерина обглаживала их, пожирая оттенки и рефлексy, и дошла до дурноты – у нее вырвался смешок, если она отблюдает эту мешанину к ногам парочки, они никогда не поверят, что все это содрано с них.

В сумерки она дотащи́лась до кирпичного особнячка, утопающего в лавровишне и пальмах. Как только в дверях появилось узкое, скептически породистое лицо хозяина, она обрела второе дыхание и вошла твердой поступью.

Как всегда, она была здесь некстати, но по дружбе попадала в десятку – хозяин уступал ей самую обжитую часть одиночества, сытно кормил и оставлял в покое, в этом доме ее держали за индейца, который способен передвигаться незаметно под самым носом у наблюдателя.

Екатерина сообщила, что переночует, и саквояж уплыл в комнату для гостей, а она прошла в гостиную, где в разгаре была трапеза на одного.

Она достала из буфета тарелку и положила себе салат из крабов. Вернувшийся хозяин налил ей черного вина, смешанного с гранатовым соком, и пожаловался на духоту.

Напротив, ее слегка знобило, и салат был безвкусен, она разглядывала собеседника и думала, как можно всю жизнь преподавать физику и не ощущать, что в распахнутом окне чувственности не меньше, чем в смелом прикосновении, что судьба натягивает поверхность стола и продолжает ее в темноте между кипарисами.

Он придвинул к ней маслины в фаянсовой пиале, и она кивнула, скорее себе, чем ему – его внешняя жизнь лаконична и отбрасывает скупую тень, его она тоже оставит в неведении, эта дружеская месть придаст их прошлому пикантность.

Над его головой висел морской пейзаж – сухумский залив поздним утром, когда вода неподвижна и настаивает солнце в верхних слоях. Она подарила ему эту вещь к пятидесятилетию, после того как застала его над крохотной агавой – он только что посадил ее.

– Они не торопятся и потому заворачивают, – сказал он. Он был растерян и с трудом оторвался от агавы.

Она и сделала для него это позднее морское утро, чтобы оставить его перед агавой – та же насыщенная движением неподвижность, но так и не поняла, удалось ли ему использовать одну из лучших ее работ в собственных целях.

Ночь измотала ее, бессонница сухо сыпала мотыльками и звоном лягушек.

Переход до Феодосии был кошмаром, пассажиры оказались вездесущее мух и вызывали морскую болезнь своими попытками развлекаться во что бы то ни стало.

Зато тетка подействовала как снотворное: сразу сунула ее в ванну, сама оттерла, напоила шалфеем и чабрецом и уронила в постель, все молча, даже не поздоровалась, только глаз она не могла спрятать, хотя отводила в сторону, и жалость, мелькавшая в них, стоила хорошей взбучки.

Так и промолчали они две недели. Но однажды, за завтраком, обмакивая рогалик в абрикосовое варенье, тетка жизнерадостно сказала:

– Кошка твоего возраста должна падать на четыре лапы.

Самой тетке было к восьмидесяти, она помнила Макса Волошина, который подарил ей сандалии и незаконченный сонет. Ее душевного здоровья хватило бы на взвод неврастеников. Схоронив мужа и младшего сына, она удачно женила старшего и посылала правнукам в Киев южные гостинцы.

Тетка была права. В очередной раз мотаясь по окрестностям Феодосии, загоняя себя до полного изнеможения, Екатерина невольно шурилась – сухопарая фигура тетки призрачно неслась перед ней, как изваяние морского божества на носу корабля.

Тетка получила письмо из Греции. Дочь ее покойной сестры, бежавшей с белыми из Ялты в Константинополь и подцепившей там тугоухого грека, табачного маклера, поздравляла тетку с днем ангела и мимоходом сообщала, что от дальних родственников ей достался дом в каком-то захолустье на Пелопоннесе, и она еще не решила, как им распорядиться.

– Вот там и поживешь, – сказала тетка и заказала телефонный разговор с Салониками.

Перед отъездом Екатерина набросала карандашом любовную сцену под магнолией и отправила мужу, приписав на обороте, что ее нежность к нему стала моложе и доверчивее, но свобода захлестнула ее с головой, и она желает ему

того же. Тетка дала слово, что будет нема как могила и никто не узнает, куда исчезла блудная сухумская дочь.

Пока она летела над Черным, а потом Средиземным морем, ночное поколение света, дрожавшего за окном, подтапливало ее к легкомыслию возраста, в котором ловишь себя на физиологической привычке к старению – в конце концов, путешествовать к собственным развалинам не более глупо, чем к развалинам Карфагена.

Дом был неказист, но просторен, с внутренним двориком, мебели в обрез. Она вылезла на крышу, уселась на теплую черепицу и обозрела город, лепившийся к предгорьям, – растительность здесь скуднее, тени резче, воздух не льнет к предметам, а держится особняком, и ветер здесь другой, с присвистом, плотный, в нем больше пыли и настырности.

Она ходила по улицам, втягивая непривычные запахи, и присматривалась к женщинам – с тех пор как она увидела женскую прелесть глазами мужа, подсмотрела его желание, а может быть, и приняла в нем участие, слишком ярко она помнит этот миг восхищения и тяги, она же изучила желание мужа до закоулков, знала его силу и подводные течения, иногда в минуты нестерпимой близости он пугался и шептал, что она играет на его территории, она слизывает его мед, и там, под магнолией, в переливающемся полдневном сумраке она первым делом схватила блаженный дрейф его плоти, несущий женщину, которая ела белый виноград и исходила зноем, тогда-то она и зацепила особую пряность жеста, который плавится в чужом взгляде, – это и не давало сейчас покоя.

Способность тела так пылко отзываться на взгляд – здесь было на что опереться, и она любопытствовала непрерывной сменой поз и выражений, выделяя женскую струю из толпы и погодных скачков.

Не тянуло ни к маслу, ни к акварели; на соседней улице была гончарная мастерская, в которой длиннорукий Микис, сосавший пустую трубку из самшита, делал большие кувшины для вина и сувенирную посуду для туристов. Под его

руководством она сделала на пробу молочную крынку, какие видела на Украине, и, балуясь глиной, нащупала в ней податливую строптивость, возбуждающую до озноба.

Днем она работала у Микиса, войдя во вкус сувенирных поделок, и под горячую руку ляпала то блюдо для фруктов с ушами фавна вместо ручек, то солонку—лягушку в позе роденовского мыслителя. К их общему удивлению, большинство туристов охотнее разбирали эти выкрутасы, и, чтобы утешить Микиса, она сказала ему на своем неокрепшем греческом, что в отпуске у людей мозги набекрень.

Вечером она возилась с глиной дома, во внутреннем дворике. Потом похолодало, и пришлось переоборудовать под мастерскую одну из боковых комнат. Всю зиму она обхаживала глину, давала ей волю, подсказывала женские формы, но страсть оставалась неразделенной, и глина дразнила, ускользая, как змея, в тусклую округлость – ни дыхания, ни блика, который мог бы ввергнуть глаз в пучину бедствий.

В магазинчике подержанной одежды она наткнулась на оливковый вельветовый пиджак, такой же был у мужа, и машинально купила его. Он был ей великоват, и она надевала его на свитер, совершая перед сном короткие прогулки.

Ночное небо развязывало ей язык – доисторическое эхо ревности шелестело на его кончике, насыщая молчание глубиной и шорохом прошлого. Когда появлялась гибкая стремительная луна-полумесяц, обольстительница и бретер, Екатерина ускоряла шаги, и горбатые переулки мелькали секундной стрелкой.

В дождливые предпасхальные дни Микис начал делать на заказ чернофигурную амфору. Судовладелец из Каламе прислал подробно разработанный сюжет – Ахилл оплакивает Патрокла, тело которого несут к погребальному костру.

Екатерина увлеченно помогала. Они забросили остальное и перестали пускать посетителей.

Микис доверил ей погребальную часть, а сам трясся над Ахиллом, который стоял вполоборота, обняв склоненную голову руками.

Она заставила воинов, несущих Патрокла, отзываться на четыре точки зрения – они сами видят себя со стороны, за ними исподлобья следит потухший взгляд Ахилла, сверху на них смотрят боги, и, наконец, душа Патрокла, еще не обретшая успокоения, горестно вторит их шагам.

После обжига она заметила, что перестаралась в пользу Ахилла – воины явно оттягивались к нему, хотя и шли в противоположную сторону, но она извинила себя тем, что его скорбь по другу была центром и магнитом.

Микис сиял. Судовладелец приехал с тощим искусствоведом, который все видел в гробу, в том числе и богатого клиента. Осмотрев амфору, тощий процедил, что варварское использование светотени чрезмерно оживляет погребальную процессию, и кивнул — судовладелец выписал чек, перекрывший их ожидания, и амфору погрузили в новенький фургон.

Екатерина взяла тайм-аут. Неделью она таскалась с рюкзаком по окрестным горам, потом закрылась у себя.

Когда она пригласила Микиса оценить результат ее творчества, ее разбирал смех – она знала, что добилась успеха, но успех был слишком многолик и выдавал ее присутствие.

Снова приехал тощий искусствовед, приглашенный Микисом. Он хотел купить вазу, она отказала. Он сказал, что она плохо кончит, если будет привязываться к своим вещам, и предложил отвезти вазу в одну из афинских галерей. Пожалуй, ответила она, но под чужим именем, и назвала первое попавшееся – так звали сапожника, который жил через дом от нее. Тощий хмыкнул и вдруг коротко заржал – глаза у него были желтые, кошачьи, и сейчас в них искрилось мрачное ехидство.

Через месяц он привез ей несколько афинских газет. Они сидели в кофейне, под полосатым тентом, он курил и смаковал кофе с коньяком.

Екатерина просматривала отмеченные им абзацы: «Особое внимание привлекает чернофигурная ваза высотой чуть

более полуметра. Молодые любовники отдыхают после страстных ласк... женщина полулежит лицом к зрителю и ест черный виноград, лиловый тон которого контрастирует с черным силуэтом мужчины... классическая чистота линий, и в то же время сцена овеяна восточным сладострастием... неизвестный широкой публике художник изобразил, судя по всему, себя и свою возлюбленную – только личный мотив может придать происходящему такую неизъяснимую грусть...»

Екатерина сложила газеты. Она вернула мужу молодость, это единственное, чем она может откликнуться.

Май, 1998

ВЕЛИКАЯ РИТА

Рассказ

К тридцати восьми годам она облысела и носила каштановый парик. Друзья ценили как знак особого внимания, если она выходила к ним без парика, но бывало это редко и в знойные южные вечера. На огромной террасе ее старинной неаполитанской квартиры, где стояли превосходные копии бюстов Марка Аврелия и Сенеки, ее нагой череп с точеным затылком и пронзительными глазами смотрелся, как ерническая цитата из древних.

Рита Снегова появилась в Париже в конце восьмидесятых годов и зарегистрировала фирму «Способ существования». Офис фирмы располагался на тихой респектабельной улочке, над высокой дверью, отделанной черным пластиком с зелеными прожилками, выделялась броская надпись: «Если Вы устали от себя, мы Вам поможем». По ночам эта фраза светилась розовато-сиреневым, провоцируя прохожих на непристойности.

Первыми клиентами Риты стали состоятельные снобы, которых она выуживала на выставках и аукционах. Случайное знакомство обростало двумя-тремя встречами, во время которых Рита с грацией русской медведицы отдавала должное сложности и богатству внутренней жизни собеседников. Наконец, улыбаясь прямо в лицо, она предлагала устроить небольшой сквозняк в их утомленных душах. Ее акцент и надменный анфас, фехтующий лестью, щекотали опасностью, рафинированность которой гарантировали высокие цены.

Фирма сохраняла тайну проводимых с клиентами акций, не афишируя свою деятельность, но постепенно приобретала известность в узких кругах. Поговаривали, что Рита действует с размахом.

Первым раскололся элегантный вдовец Арман Дюпле. Выйдя из рук Риты, он пригласил на ужин племянниц с мужьями и друзей. Плотный, горбоносый, с щеткой седых усов, Дюпле умело разжег любопытство гостей, а потом медленно, смакуя, рассказал, как несколько дней он был францисканским монахом, босым и голодным, до изнеможения работающим в монастырском огороде. Монастырь был крохотный, в предгорьях, на всем лежала красноватая пыль, и другие монахи чуждались его. Кормили его один раз, вечером, когда он уже валился с ног. Он был уже грязен и нечесан, как бродячая собака, как вдруг проснулся египетским фараоном. Он готов поклясться, что все было подлинное, задумчиво сказал Дюпле, и летний дворец фараона Фифа, то есть его собственный, и слуги, в которых его поражало раболепие и нечувствительность к боли. Он собирал корень мандрагоры в окружении ручных бабуинов, жрец приготовил из корня горько-жгучее снадобье и дал ему на ночь. Фараону привели шесть жен, обольстительных, опытных, умащенных благовониями, и он измучил их, он был неугомонным и требователем. Он вел жизнь владыки, он охотился на гусей с большими дрессированными котами и готовил гибель своих врагов. Днем его охраняли львы, а по ночам черные пантеры. Он познал вкус крови, и жрецы предсказали ему бессмертие. Эта неделя монаха и фараона взбодрила его надолго. Конечно, добавил Дюпле, поглаживая усы, говорили все по-французски, и обошлось это в очень приличную сумму, но игра стоила свеч, у него на языке до сих пор привкус другой жизни.

После откровений Дюпле и еще нескольких клиентов, которых распирали впечатления, заказы начали поступать и из других стран, а число постоянных сотрудников фирмы возросло до восемнадцати. Но настоящая известность пришла к Рите после судебного процесса, на котором чикагский мультимиллионер Пол Сегал обвинял Риту в причинении ему психического и морального ущерба. Процесс освещал-

ся крупнейшими газетами мира, а откровенность истца при даче показаний граничила с эксгибиционизмом.

Сегал пригласил Риту в кафе на Елисейских полях, ибо предпочитал встречаться с деловыми партнерами на нейтральной почве, и предложил два миллиона долларов за устройство хорошей месячной встряски. Сухо пожаловавшись на скуку и усталость от рода человеческого, он предупредил, что у него язва, что действие должно происходить в Италии, он знает итальянский и, помимо всего прочего, он плохо переносит сырость и женщин старше тридцати.

Как утверждала Рита на суде, она с самого начала, вглядываясь в пергаментное лицо клиента с тяжелыми веками, вслушиваясь в его монотонно-высокомерные интонации, поняла, что перед нею тяжелый случай. Она вежливо ответила, что проще разориться, – как правило, это снимает проблемы подобного рода. Слишком радикальное средство, пожевал губами Сегал и, встав из-за столика, сообщил, что они с юристом ждут ее завтра у него в номере.

По условиям контракта, помимо обычного — не подвергать клиента смертельной опасности, физическим издевательствам, голодовке более двух суток и т.д., — для Сегала предусматривалась возможность экстренно прервать эксперимент — ему выдали специальный пластиковый браслет, сотрудник фирмы обязан был появиться через пять – семь минут после подачи сигнала. При этом оговаривалось, что если Сегал прервет акцию по причине, не предусмотренной контрактом, то в дополнение к гонорару ему придется возместить расходы, понесенные фирмой по организации всего дела.

Через полтора месяца Сегал прибыл в Милан и остановился в указанной гостинице. В качестве карманных денег ему разрешили взять с собой пятьсот долларов. Первые сутки прошли спокойно. На второй вечер ему был заказан билет в оперу. Сегал неоднократно бывал в «Ла Скала» и сидел, томясь, глядя на пышнотелую примадонну, из которой, как фонтан, бил хрустальный голос. Слева от него молодой, утя-

нутый в черный фрак красавец с римским профилем неотрывно пялился через голову Сегала на одну из крайних лож. Раздраженный его дыханием, Сегал машинально посмотрел в ту же сторону — смуглая бронзоволодая женщина, одна во всей ложе, на стройной шее бриллиантовое кольцо, ощущение изыска и силы, платье цвета морской волны подчеркивает упругую грудь.

Когда через несколько мгновений, под двойным напором мужского внимания, дама небрежно скользнула взглядом в их сторону и изучающе оглядела Сегала, он снисходительно одобрил выбор Риты. Правда, взгляд дамы был чересчур независим, но он и заказывал не пешеходную прогулку, а скачку с препятствиями.

В антракте он сунул десять долларов служителю и узнал, что прекрасная незнакомка принадлежит к древней семье графов Санчиолли, у которых фамильная традиция почти стосемидесятилетней давности слушать «Любовный напиток» Доницетти именно в «Ла Скала». Графиня приезжает из Рима и всегда абонирует ложу, выбранную ее предками. Нет, она не из обедневших, наоборот, муж графини банкир и известен своим широким образом жизни.

Сегал решил, что ошибся, и подосадовал, что Рита так тянет с началом. Но графиня еще несколько раз смотрела на него, а не на красавца во фраке, и пятидесятилетний Сегал, не обольщавшийся насчет своей внешности, убедился, что фирма действует с размахом.

По окончании спектакля Сегал медленно двинулся вслед за графиней. Она уже шла к автомобилю, когда сосед Сегала по ложе преградил ей путь и что-то сказал. Неожиданно для себя Сегал резко подошел к ним и потребовал, чтобы красавец не привязывался к даме. Красавец небрежно ответил, что, если рептилия не уберется тут же, он подвесит ее за яйца на ближайшем фонаре. Задохнувшись от мысли, что его оскорбляют за собственные деньги, Сегал сильно потрянул итальянца за плечо. Графиня успела скользнуть в машину и уехала, не обернувшись.

Полностью переключившись на Сегала, красавец ответил ему пощечину и побежал. Сегал помчался за ним, потом остановился, пытаясь взять себя в руки, и услышал звонкий смех. Смеялась девчонка лет пятнадцати-шестнадцати со свежим ртом и черными глазами. Пышная юбка не прикрывала ей колен, грудь колыхалась, а в правой руке она держала розу и вызывающе помахивала ею.

Сегал крепко взял ее за руку, кликнул такси и велел отвезти их в какую-нибудь гостиницу попроще. Не успели они войти в номер, как хозяин въехал с сервировочным столиком и быстро накрыл к ужину. Девчонка шалила, сама разливала вино, кормила Сегала с вилки сочным мясом, терла его за уши, целовала то розу, то его, вдвоем они съели целую кучу пирожных и наконец предались любви.

Утром Сегал проснулся в объятиях мужчины. Сначала он увидел волосатую грудь, на которой лежала его голова, потом здоровенную рожу кирпичного оттенка. Заметив, что он проснулся, мужчина нежно щелкнул его по носу и сказал, что никогда не встречал такой страстной женщины.

Сегал подскочил как ужаленный и забегал по комнате.

– Не бегай голая, – благодушно сказал его ночной партнер. – Окно же открыто, тебя могут увидеть с улицы. – Сам он раскинулся, демонстрируя вялую плоть удовлетворенного любовника, и жевал спичку. – Ты уже не в том возрасте, чтобы трясти своими прелестями.

Бешенство ударило Сегалу в голову. Он схватил со стола бокал и метнул в голого мерзавца.

– Ты совсем чокнулась, шлюха, – заорал мужчина и тоже вскочил. – Сейчас я тебе так заделаю, что ты быстро поймешь, где твое место.

Всхлипнув от бессилия, Сегал схватил висевшие на стуле брюки и выскочил за дверь. В коридоре никого не было. Отбежав на несколько метров, он торопливо влез в брюки и помчался дальше, путаясь в штанинах, которые оказались велики. Проносаясь через вестибюль, он увидел круглые глаза хозяина и услышал его негодующий крик:

– Мадам, а кто же будет платить?

Добежав до ближайшего сквера, Сегал рухнул на скамейку. При мысли о Рите и ее сервисе его начинало трясти, поэтому он тупо уставился на муравья, ползущего по стволу.

Из одежды на нем были только чужие брюки и пластиковый браслет на левой руке. Деньги, судя по всему, остались в номере. Сегал подавил желание дать сигнал о прекращении акции, ведь в этом случае ему придется еще раз оплатить издевательства над собой, и приказал себе успокоиться. Пока что ничего страшного не произошло. Ему слегка поцарапали самолюбие и несколько раз поставили в дурацкое положение. Девчонку просто подменили, а этот здоровенный скот наверняка даже не притронулся к нему. Такими детскими штучками его не сломить, он многое повидал в жизни, просто события следуют с такой скоростью, что он не успевает адаптироваться.

– Что ты тут расселся, олух несчастный? – раздался над его ухом визгливый голос, и Сегал увидел лохматую рыжую толстуху, яростно жестикулирующую в полуметре от его лица. – Я же послала тебя за рыбой, олух! А ты и рубашку пропил, подлец! – И она залепила ему оплеуху.

– Ах ты, стерва! – взвился Сегал и вернул ей пощечину. Раздался топот, и четверо детей разного возраста повисли на нем, крича один громче другого: «Папочка, не бей маму, она тебя уже целый час ищет!»

– Вот-вот! – разорвалась толстуха все визгливее, и вокруг начали собираться прохожие. – Мы ждем его к завтраку, а этот подлец уже налился с утра! На собственных детей ему наплевать! Мало того что я везу на себе всю семью и его, ту-неядца, кормлю и одеваю, так он и дома побыть с нами не может. Так и норовит улизнуть к своим пьяницам!

Сегал оглядел ухмыляющиеся лица прохожих, раскидал в стороны висящих на нем детей и снова побежал. От злобы у него свело челюсть и тряслись руки. Он пересек несколько улиц, лавируя на перекрестках и вызывая насмешливый свист прохожих, и сбавил темп, пытаясь перейти на обыч-

ный шаг, тем более что голые ступни ощущали каждую шероховатость. Теперь Милан казался джунглями, которые кишели агентами Риты.

– Эй, Пол! – окликнул его знакомый голос, и Сегал сжался. Осторожно повернув голову, он узрел однокашника по колледжу Айвара Джексона, который с веселым недоумением приближался к нему. – Ну и ну! Никогда бы не подумал, что ты способен на такие подвиги. У тебя что, пари с кем-нибудь?

– Пари, – мрачно ответил Сегал, лихорадочно соображая, входит ли Джексон в условия игры или это счастливая случайность. Если Рите удалось завербовать и такую птицу, от ее гонорара должна остаться весьма скромная сумма. Кстати, после всего этого бедлама он потребует, чтобы ему вернули брошенные в гостинице деньги.

Отделавшись мелкой ложью об условиях пари, Сегал на деньги Джексона приобрел в ближайшем магазине сорочку и сандалии. Завернув в ресторанчик, они заказали утрей и белое вино. Сегал небрежно расспрашивал приятеля, что он тут делает. Джексон был в Милане по делам, вечером собирался уезжать в Венецию и предложил Сегалу поехать с ним, благо, он был один и на машине.

– Тряхнем стариной, – лениво говорил Джексон, – лето, Италия, молодые красотки, теплые благоуханные ночи. И мы, два одиноких волка с крепкой хваткой. Устроим себе легкий пряный разврат. Я посмотрел, как ты полуголый мчишься по Милану, и позавидовал – вот это раскованность. На пару мы организуем пикантный уик-энд, – на губах его блуждала смутная улыбка, вызвавшая в памяти Сегала горячий полдень и виноградные грозди над матовыми плечами женщин.

Сегал вышел в туалет, и над унитазом его пронзило предчувствие, что сейчас он вернется, а Джексона уже нет, и все подтвердят, что Сегал сидел за столиком один, а расплачиваться ему нечем.

Он выглянул из-за портьеры – Джексон был на месте и заказывал вторую порцию угрей.

Вино было холодным и приятно кислило, Сегал ел с удовольствием и представлял, как он удерет с Джексонсом и этой авантюристке придется разыскивать его. Он должен повести свою игру, навязать ей свой стиль, сбить ее с толку. Возможно, ему удастся, не нарушая контракта, даже в отведенных ему узких рамках, заставить ее совершить ошибку, которая позволила бы ему опротестовать договор.

Условившись с Джексонсом о встрече в конце дня, Сегал начал петлять по городу на тот случай, если люди Риты следят за ним. Он пересаживался с одного автобуса на другой и заходил в крупные магазины с несколькими выходами. Наконец, на перехваченные у Джексона деньги купил женский халат и косынку, переоделся в магазинном туалете, скатал мужскую одежду под мышку и вышел со стайкой девочек, надеясь сойти за их чокнутую учительницу.

В восемь вечера он стоял на выезде из Милана, уже в мужском облике, и насвистывал ковбойский мотив. Джексон был точен и в прекрасном настроении. Они ехали на высокой скорости и пили баварское пиво из банок. Уже смеркалось, когда их остановила полиция. Проверив документы Джексона, они вопросительно уставились на Сегала. Попытка Джексона удостоверить его личность не увенчалась успехом. Один из полицейских сходил к своей машине и вернулся с портретом преступника, который разыскивался за распространение наркотиков и совращение малолетних. Увидев, что преступник и Сегал – одно и то же лицо, Джексон начал хохотать как безумный и сказал, что готов присягнуть в любом суде, что его приятель американский гражданин и уважаемый член общества. В конце концов, это нетрудно доказать, связавшись с адвокатом Сегала в Чикаго.

Нет, сказал Сегал, в этом нет необходимости, он уверен, что недоразумение прояснится с помощью его итальянских друзей. Он кивнул Джексону и сел в полицейскую машину.

Такой поворот скорее забавлял его. Удрать не удалось. Что ж, надо быть начеку и не поддаваться очередной провокации.

Они проехали несколько километров в сторону Милана, машина притормозила, полицейские высадили его и молча уехали.

Идиоты, выругался Сегал, что за мелочная глупость, за его деньги он вправе ожидать чего-нибудь более масштабного. Он сплюнул, повернулся спиной к Милану и пошел по шоссе. Ночь была ясная, фонари и проносившиеся автомобили делали ее городской, легковесной, но по краям ее утяжеляла темнота и нестройные звуки. Сегал не делал попыток голосовать, автострада была скоростная, и нечего было рассчитывать, что кого-то заинтересует пассажир его возраста и вида.

Он шел, ощущая, как усталость заполняет тело. Случайно коснувшись рукой щеки, он вспомнил, что последний раз брился вчера, перед оперой, и был потрясен, что прошло всего лишь чуть более суток. Жизнь вдруг резко уплотнилась, запульсировала, он почувствовал легкую тошноту от ее очевидности – ночь, испарина на лбу, душноватый воздух и запах гудрона, звезды над его прошлым, которое стало случайным, как жест постороннего, прерывистый автомобильный сигнал вдалеке.

Он чуть не прошел мимо переносного дорожного указателя вправо с надписью: «Пол Сегал – 70 м». От дороги отходила еле заметная тропинка к темневшей роще.

Сегал машинально повернул и осторожно, давая глазам привыкнуть, двинулся вперед, чуть выставив на всякий случай правую руку. Перед самой рощей его ожидал стог сена и пластиковый пакет. Обнаружив бутерброды с ветчиной и горячий чай с коньяком, Сегал размяк душой, сбросил обувь и устроил себе ночной пикник. Зарывшись в сено, он уснул как убитый, провалившись в звенящую тишину.

Утром еды не оказалось, Сегал расценил это как намек на то, что завтрак нужно заработать, и вернулся на шоссе. Указателя тоже не было. Зевая и теребя отросшую щетину, он

отправился в том же, что и вчера, направлении. Когда подъехал вишневый «порше» и графиня Санчиолли открыла ему дверцу, он сел в машину, не поздоровавшись.

В отличие от него графиня была свежа как роза, – ее кожа дышала и отбрасывала блики, полуобнаженная грудь ритмично вздымалась. В розово-голубых тонах ее одежды сквозил вызов. Сама графиня насмешливо покусывала губки и вела машину как профессионал.

– Послушайте, будем откровенны, – вдруг сказала она. – Я должна свести вас с ума и бросить. Рита просила меня об этой дружеской услуге, и мне трудно отказать ей. Но вы совершенно не в моем вкусе, – ее рука с перламутровыми ногтями извиняюще вспорхнула с руля. – Ну, нет в вас размаха, силы, блеска, которые извиняли бы вашу внешность. Если бы вы еще были хоть негр или китаец...

Сегал покрылся потом от бешенства и хрипло потребовал, чтобы она остановилась.

– Уже лучше, – кокетливо сказала графиня. – В опере вы на-поминали истукана. Все-таки мы вас немножко раскачали.

Она резко свернула и, промчавшись несколько минут, так же резко притормозила на высоком берегу реки. Нехотя выйдя вслед за ней, Сегал оказался у самой кромки – внизу прозрачная узкая река с песчаным дном, за ней просторная долина с аккуратными рощами и застройками вдали.

Графиня подошла к нему, прохладными пальцами коснулась его губ, скользнула по шее, спустилась еще ниже и шепнула, что он не пожалеет, если прыгнет сейчас в воду. Ее зеленые глаза мерцали совсем близко и так явно мешали насмешку с обещанием. Да пошла она к черту, ожесточенно думал Сегал и видел, как в лице ее проступает оскорбительная уверенность в том, что он не способен даже на мальчишество.

Он вздохнул и прыгнул.

Вынырнув, он услышал, как взвыл мотор. Не торопясь, он вылез на другой берег и выжал одежду. Мотор заглох

вдалеке, и установилась тишина, как в тусклом зеркале отражавшая его обиду.

Добредя до разлапистого бука, Сегал развесил вещи, нарывал травы и улегся в тени, забросив ногу на ногу. Не прошло и пяти минут, как появился мужчина с тазиком горячей воды и принадлежностями для бритья. Сегал не шевельнулся и продолжал смотреть на крохотное белое облако, наползавшее с запада. Орудую на коленях, со скучающим видом, мужчина тщательно выбрил его и спросил, не сделать ли педикюр. Сегал не удостоил его ответом, и мужчина исчез.

Цивилизованный мир был где-то рядом, и брадобрей провалился в него, как монета в автомат с кока-колой. Привычная скука, плотная, кирпич кирпичом, осталась в мире кока-колы, а здесь лежал голый Сегал и разглядывал свое отсутствие. Бренная оболочка была налицо, это ее брили, она носила имя и имела возраст. А сокровенно сегаловское испарилось, в лучшем случае, оно где-то бродяжничало. Не впал ли он в нирвану, о которой столько толковали приятели в дни его молодости, и скоро ли он увидит Колесо бытия, может быть, проще закрыть глаза, отгородившись англосаксонским скепсисом? Тут до него дошло, что скепсиса тоже нет, на его месте распустился лотос, и благоухание шибануло в сегаловские ноздри.

Слева возник поднос, и девушка в белоснежном сари, с глазами газели певуче прощепетала что-то, явно приглашая его к трапезе. Возможно, это очередное воплощение Колеса, так сказать, его женская ипостась, размышлял Сегал, сохраняя полную неподвижность, Колесо вступило в стадию гостеприимства, где бродяг почитают как святых, обожествляя их плоть и наготу. Голода он не испытывал. Девушка присела рядом и нежно засовывала ему в рот что-то, похожее на шербет или гашиш. Он таял на языке, вызывая истому и раздваивая девушку, обе красавицы массировали ему виски, потом их стало так много, что он сбился со счета. Красавицы летали, роились вокруг него, как бабочки, как колибри, и

неумолчно щебетали, эти звуки доставляли такое наслаждение, словно его опустили в проточную воду.

Но потом ему стало неудобно и жестко, тело затекло, Сегал открыл глаза, с усилием сел и обнаружил, что находится в железной клетке, которая позволяет ему лишь сидеть или лежать. Клетка стояла в углу пещеры, в шести-семи метрах от него сиял выход – воздух дрожал от зноя, трава и кустарник поникли под натиском полдня.

Мелькнула тень, и в пещеру скользнула львица. Ее тяжелая грация поразила Сегала. Шкура львицы лоснилась и играла, перекачивались мускулы, хвост бил по земле. Львица обнюхала клетку, шумно втянула воздух и уставилась на Сегала.

Она была прекраснее всех женщин. Позвоночник Сегала затрепетал, как натянутая струна, его мужская суть рванулась и замерла – великолепие этой плоти, закаленной погонями и борьбой, бросками к горлу жертвы, потрясло его до основания. Он смотрел в ее желтые неподвижные глаза, втягивавшие его в пустыню, где луна оплодотворяет сперму самцов и стреноживает самок, в джунгли, где спаривание многослойно и непрерывно, где жизнь кишит и гибнет от собственной чрезмерности; и в нем рождался страх перед этой мощью, смывавшей его как песчинку.

Прокатился могучий львиный рык, дрогнула земля, и в пещеру ворвался лев. Второй его рык оглушил Сегала, и тот сполз на пол клетки, заткнув уши. Звери начали любовную игру. Они прыгали, толкали друг друга, покусывали за плечи и бедра. В пещере стало тесно. Запах спаривающихся львов накрыл Сегала, и он ощутил, как клетка оторвалась от земли.

Плавно, чуть раскачиваясь, Сегал поехал вверх и – очутился в просторном шатре. Стены и потолок шатра были драпированы яркими шелками, на полу голубые ковры, в углу низкая широкая кушетка фиашкового цвета. Слюнявые идиоты, пробормотал Сегал, ощущая себя болонкой в руках старой девы. Дрогнул шелк, и вошла графиня Сан-

чиолли. Высокомерная задумчивость чеканила ее лицо, как профиль на вазе. Ах, не хочу, не хочу, еле слышно напевала графиня, быть вечерней звездой над твоим одиноким балконом. Просвечивающий костюм баядерки трепетал на ней.

Оттопырив нижнюю губу, Сегал процедил грязное ругательство, услышанное им еще в первый приезд в Италию от полицейского, задиравшего проститутку. Графиня зевнула и начала раздеваться. Последнюю деталь, кружевные трусики, она не глядя бросила на клетку, и они повисли над головой пленника.

У Сегала пересохло во рту – снизу донесся приглушенный рык, и графиня замерла в полуобороте, телесное эхо шевельнуло розовые соски груди и сдвинуло бедра. Влажная нагота женщины подсвечивала полумрак. Было душно, Сегал заметил, что между коврами, совсем рядом с клеткой, пробиваются несколько травинок.

Бесшумно появился обнаженный мужчина. По тому, как доверчиво и нежно прильнула к нему графиня, потерявшись щекой о его плечо, Сегал понял, что эти двое не играют – в их лицах и движениях проступала страсть, уже знающая собственную глубину, уже ценящая медлительность и бесстыдство лени, они позволяли своей лодке плыть по течению, извлекая из каждой задержки и подробности сок и аромат, они были вдвоем, по одиночке и вместе, их смех замирал и густел, как мед, мужчина зарывался лицом в восход солнца между ее ногами, и она путешествовала, длинноногий смуглый Марко Поло с женской грудью и Китаем в чреслах...

Не отрывая от них глаз, Сегал держался за сердце. Эти двое забирали его воздух. Его словно стирали с лица земли. Голова кружилась, он начал мелко дрожать и судорожно потянулся к пластиковому браслету...

Через два дня его юрист подал в суд на фирму Риты Снеговой. Причиненный ему психический и моральный ущерб Сегал оценил в 2 млн. долларов. Процесс проходил в Страсбурге. Тщательно выбритый, в сером двубортном костюме, Пол Сегал подробно поведал суду и переполненному залу

о тех издевательствах, которым подвергла его фирма, обязавшаяся всего лишь разогнать его скуку. Его надменно-скорбная повесть сопровождалась неясными смешками в публике, временами перераставшими в откровенный хохот. Тогда Сегал прерывал свою речь и с достоинством дожидался тишины.

Во время перерыва зрители комментировали происходящее с таким оживлением, что внимание прессы переключилось на них. Одни возмущенно требовали запретить подобные эксперименты, другие восклицали, что только глупец мог прервать столь захватывающее приключение в самом разгаре, третьи изощрялись в догадках, как далеко могла бы зайти фирма в своем стремлении встряхнуть миллионера. У избранной части публики преобладало мнение, что дело надо было решить путем частного соглашения.

Рита Снегова явилась на суд одна, отказавшись от адвоката. Когда наступил ее черед, зрители, успевшие отметить платье от Лагерфельда и решительную складку у губ, затаили дыхание.

Фирма исходит из старинного правила, что клиент всегда прав, низким звучным голосом сказала Рита, и в разумных пределах готова пойти истцу навстречу. Еще до начала процесса фирма предлагала уладить дело полюбовно, допуская, что она в некотором отношении могла превысить свои полномочия. Непреклонное желание истца вынести дело на публичное обозрение фирма рассматривает как лишнее свидетельство того, как глубоко он уязвлен их сервисом.

В интересах истины она вынуждена позволить себе некоторые разъяснения, Рита сделала легкий полупоклон в сторону судьи. Большинство клиентов фирмы – это люди зрелого возраста, успевшие, выражаясь деликатно, закоснеть и воспринимающие свой жизненный стереотип как единственно возможный. Задача фирмы и состоит в том, чтобы дать им возможность испытать другие способы существования с минимальной затратой их собственной энергии. Обычно это сводится к кратковременному участию клиен-

тов в контрастных ситуациях, позволяющих им познавать в сравнении.

Работая с таким малопредсказуемым материалом как человеческое сознание, нужно быть готовым к неожиданностям, продолжала Рита Снегова с учтивой улыбкой. Чтобы «выбить» человека из его прежнего существования, нужно раскачать его сознание, лишив привычных ориентиров, а в известном возрасте это переносится достаточно болезненно. Поэтому клиенты проходят тестирование, собеседование с опытными психологами, накапливается информация, разумеется, в рамках законности, об их прошлом. Определяется степень чувствительности клиентов, характер их реакций и т.д. Кроме того, особо впечатлительных клиентов слегка подготавливают, приоткрывая занавес над будущими приключениями.

В случае с уважаемым истцом, Рита окинула Сегала долгим дружеским взглядом, произошла любопытная накладка – он непреднамеренно ввел их в заблуждение. Вся предварительная информация свидетельствовала о том, что они имеют дело с человеком жестким, предельно уверенным в себе, всегда выдерживающим собственный курс. Утрируя, можно сказать, что он сам спровоцировал их на чрезмерно активный сервис.

У Пола Сегала вырвалось глухое восклицание, он негодуяще посмотрел на судью и шепнул несколько слов своему юристу.

Учитывая сложность случая, продолжала Рита, они разработали очень насыщенную программу и задали высокий темп событий. Они предполагали, что именно таким образом им удастся взломать барьер, которым он отгородился от остального мира, и развеять его скуку. В то же время, отдавая себе отчет в некоторой экстраординарности своих действий, фирма старалась помочь истцу, дав ему своеобразную путеводную нить – практически все эпизоды носили более или менее выраженный комический характер. То есть вы-

держивалась условность, опираясь на которую, истец мог сохранять чувство реальности.

Как писала на следующий день газета «Монд», при этих словах выражение лица у чикагского мультимиллионера напоминало Джоконду, которую лишают девственности на глазах у папы римского.

К тому же действие происходило в знакомой истцу среде, на которой настоял он сам, голос Риты приобрел бархатистый тембр. Опереточный темп событий, их калейдоскопичность и нелепость должны были продемонстрировать истцу относительность всего сущего и перевести его реакции в плоскость стоического сарказма.

К сожалению, фирма переоценила сопротивляемость уважаемого клиента. Уже после бурной реакции на невинную постельную сцену с мужчиной у них появились опасения, и они хотели смягчить первоначальный сценарий. Но дальнейший взрыв активности у клиента, который пытался переиграть их, переодевшись в женщину, успокоил их, и все продолжалось без изменений.

В практике фирмы это единственный случай, когда клиент не выдержал до конца и выразил неудовольствие. Всецело полагаясь на решение уважаемого суда, фирма все же просит учесть ее безусловную добросовестность, о которой лишний раз свидетельствовал захватывающий рассказ истца. Во всяком случае, здесь Рита повернулась к залу, вряд ли кто-либо из присутствующих может похвастать тем, что воочию наблюдал две такие великолепные любовные сцены, в которых нежность людей не уступала мощи львов...

Суд признал, что фирма превысила свои полномочия, допустив оскорбление истца физическим действием (пощечина у входа в «Ла Скала») и унизив его мужское достоинство зрелищем, когда графиня Санчиолли, намеренно соблазняя его, отдавалась третьему лицу. В остальном фирма действовала в рамках контракта. Эксперты удостоверили физическое и психическое состояние истца как удовлетворительное. Суд обязал фирму оплатить истцу недельный реабили-

тационный курс в первоклассной клинике, а Рита, выслушав решение суда, пригласила Сегала поработать в фирме, чтобы обрести иммунитет к экстремальным ситуациям.

К этому времени репортеры начали осаждать Риту как стервятники. Оповестив широкую публику, что Рита Снегова родилась в Ярославле в 1955 году, единственный ребенок в семье простых советских служащих, окончила московский институт и работала переводчицей перед тем, как осесть в Европе, перечислив ее квартиры в Париже, Неаполе, Александрии и уединенную виллу на Лаго-Маджоре, журналисты пытались вывести формулу ее успеха, в ход пошло все – от умения Риты общаться и выуживать из человека самое интимное до приступов неукротимой веселости, с которой она приступала к очередному клиенту.

Сама Рита отказывалась давать обстоятельные интервью, отделяясь на ходу двумя-тремя фразами и мороча голову журналистам с непосредственностью подростка, прикидывающегося взрослым. Оживленно блестя глазами, она роняла, что картезианское стремление к очевидному, преобладающее в западном менталитете, провоцирует ее славянскую душу. Или беспечно заявляла, что Европа слишком приличная дама, ее давно не похищали и пора снова перекинуть ее через бычью спину.

Вытянув, что можно, из ее сотрудников и знакомых, журналисты состряпали образ энергичной деловой женщины, полностью отдавшей своему делу и находящей разрядку в легкой эксцентричности. Никаких страстей, рулеток, наркотиков – одна работа и сплошное зубоскальство. Как пожаловался британский репортер, известный своей дотошностью, прозрачная непроницаемость ее частной жизни ставит их в положение мух, напрасно бьющихся о стекло. Здесь что-то не так, уверенно добавил он, ее жизнь слишком напоказ, это всего лишь мастерская работа на публику.

Через неделю после судебного процесса фирма объявила о прекращении своей деятельности на неопределенное время, хотя поток заказов лишь возрос. Клиентам принесли

извинения и заверили, что отсрочка повысит качество исполнения, все сотрудники ушли в отпуск. Рита исчезла с горизонта. Через несколько дней журналисты дознались, что она приобрела двухместный вертолет и стартовала с частного аэродрома в южном направлении.

В начале октября парочка фотографов, специализировавшихся на съемках диких животных, засекли Риту на северо-западе Африки, на мысе Эспартель, у которого воды Атлантики сливаются со Средиземным морем. Фотографы прибыли на джипе, чтобы подстеречь орлов и грифов, делающих на этом мысе посадку во время сезонного перелета. Последние несколько миль они шли пешком, чтобы не вспугнуть птиц, и были раздосадованы, что кто-то опередил их. Рядом с вертолетом стояла палатка защитного цвета. Определив, что стоянке никак не меньше недели и птицы не обращают на нее внимания, приятели решили отыскать конкурента. Навстречу им из ложбинки поднялась женщина в шортах и шапочке с козырьком, молча кивнула им, за полчаса собрала свои манатки и взлетела. Лишь дома, отпечатав фотографии странной незнакомки и предложив их журналам, приятели узнали, какого рода дичь попала в их объективы.

Еще через месяц Рита вернулась в Париж, и вскоре фирма объявила о новом виде услуг – создании полнометражных видеофильмов для самопознания клиентов. Высокая честь первопроходца была оказала Лолите Торнадес, сорокалетней супруге крупного испанского дельца. Скучающая Лолита, которой осточертели и собственные капризы, и деловито-распутная занятость мужа, клюнула на предложение с энтузиазмом, потешавшим сотрудников фирмы не меньше, чем сама затея.

Сначала вчетвером – Рита с клиенткой, психиатр и сценарист, оба молодые, безвестные и честолюбивые – уединились под Барселоной, арендовав виллу с небольшим парком. Лолита была объявлена центром вселенной, ей разрешалось говорить и делать все, что она хочет. Позже она говорила, что за эти три недели ее выпотрошили как рыбу. Она испове-

довалась, выворачивалась наизнанку, устраивала истерики, пряталась в кустах, разгуливала голой, оскорбляла, клялась в любви, а под конец заснула на двое суток. Проснувшись, заявила, что не хочет их больше видеть. Все трое с радостью покивали ей и уехали.

Сценарий был изготовлен с завидной скоростью, и сеньору пригласили на съемки, предупредив еще раз, что со сценарием ее не ознакомят. Она снималась в не связанных между собой эпизодах, ее то развлекали, то вынуждали подчиняться жесткой дисциплине. Рита предложила ей дублершу для интимных сцен, но Лолита отказалась, заметив, что ее слишком часто дублировали в реальной жизни. На время монтажных работ ее отослали в захолустье, порекомендовав вести естественный образ жизни и писать нежные письма мужу и дочери.

Просмотр состоялся в барселонской квартире супругов Торнадес. Все полтора часа сеньор отпускал забористые шутки, глядя, как его жена тоскливо смотрится в зеркало, ворует деньги у любовника, дерется со случайной соперницей, лжет уставшему священнику, чтобы смять его равнодушие, напускает воду в ванну, чтобы умереть с блаженной улыбкой, воскресает, чтобы переделать надгробье на свой вкус, внезапно оглядывается и ждет, блистает на вернисажах, дарит автомобиль первому встречному, летает по ночам, ставит букеты роз в мусорные урны, безответно влюбляется в немого студента, спешит и опаздывает, но никогда ничего не происходит. Лолита хохотала, всхлипывала, кричала, что все это чушь и не имеет к ней никакого отношения. Когда фильм кончился, она бросилась Рите на шею и сказала, что это были самые замечательные дни в ее жизни.

«Я всегда знал, что она истеричка, – заявил сеньор Торнадес, допивая джинс с тоником, – но не подозревал, что смогу заработать на этом». Уточнив, что все права на фильм принадлежат его супруге, он вежливо выставил Риту. Скоро в дополнение к видеокассетам фильм вышел на большой экран под названием «Настоящая жизнь Лолиты» и принес пред-

приимчивому супругу сумму, почти вдвое превысившую затраты на видеокаприз жены. Лолита получила несколько заманчивых предложений продолжить карьеру кинодивы.

Успех обрушил на фирму десятки заказов со всех концов света, но большинство клиентов предпочитало не дебри самопознания, а любование собственной персоной в классических ролях мирового репертуара.

Арабский шейх заказал десять серий о Синдбаде-мореходе, как он уверял, одном из своих прежних воплощений, и приложил список голливудских звезд, которые должны сопровождать его в приключениях бывшего купца. Немецкий промышленник пожелал стать Шлиманом и снова раскопать Трою, а его молодая жена, ослепительная блондинка с жемчужными зубами, настаивала, чтобы перед этим была воспроизведена Троянская война – ее особенно прельщала сцена, когда Елена Прекрасная появляется на крепостной стене и ее красота смущает не только оба войска, но и беззубых троянских старцев, сразу же забывающих о своем намерении выдать ее грекам. Муж убеждал ее, что его карман не выдержит грандиозных съемок десятилетней войны, но она все-таки упростила его оставить эту сцену. Наблюдая, как белокожая немка в древнегреческом одеянии выходит к запыленным войскам, Рита прошептала своему бессменному помощнику Шарлю Дюбонье, что они допустили явный промах – не подвесили на облаке хотя бы парочку олимпийских богов.

Некоторое разнообразие внесла педантичная дама из Техаса, заказавшая мыльную оперу о своей молодости. Передав фирме свой многолетний дневник, она сама выбрала похожую на нее актрису и добросовестно давала ей уроки перевоплощения.

Фирма оборудовала съемочные площадки в Штатах, Саудовской Аравии и Гонконге, обзавелась «Боингом» и двумя яхтами. Несколько групп лихо штамповали фильмы на любой вкус – под итальянский неореализм, Бергмана, Гол-

ливуд 30-х годов и прочее, творчески формируя у клиентов повышенное ощущение собственной неповторимости.

Поставив на поток этот видеооанизм, Рита взяла тайм-аут. Меланхолично оповестив ближайших сотрудников, что она сыта по горло современной цивилизацией и удирает в пустыню Калахари, она просила не беспокоить ее без крайней необходимости и не сводить с ума клиентов прорывами в бесконечное, к чему явно начали тяготеть самые молодые.

Следующий месяц она кочевала с группой бушменов по пустыне, ела их пищу и спала на земле, позволяя себе лишь тонкую подстилку из поролона. Низкорослые, с желтовато-коричневым цветом кожи и черными волосами, которые растут густыми пучками, бушмены приняли ее настороженно, хотя переводчик перед отъездом объяснил, что белая женщина не причинит им вреда. Их язык, особое гортанное сочетание гласных с характерно щелкающими звуками, долго раздражал ее, зато танцы под пение и хлопанье в ладоши, поначалу казавшиеся идиотски монотонными, хорошо снимали усталость и разминали тело для сна. Под покровительством вождя, чья благосклонность была куплена традиционными подношениями, Рита чувствовала себя спокойно, объясняясь жестами и держась особняком.

Бушмены продолжали носить маленькие кожаные фартуки, хранили воду в скорлупе страусиных яиц и обожествляли дождь. Еще в Париже Рита читала об их культе луны, но те скудные подробности, которые ей удалось подсмотреть, скорее оставили ее на пороге, чем позволили приблизиться к этому древнему подсыхающему верованию. К ней и ее вещам проявляли любопытство, иногда трогали ее пальцем, и все-таки она ощущала, что скользит по поверхности их внимания – тяжесть и плотность их пустынного быта выталкивали ее.

Рита вызвала лучшего из своих операторов, тридцатилетнего Анри Дюпена, и вместе с ним сделала пронзительно-нежный фильм о юноше-бушмене и шакале. По представлению бушменов, каждый человек имеет своего двойника в

мире животных, гибель одного из них может вызвать гибель другого, поэтому человек и животное должны помогать друг другу. Человек может даже переселиться в животное, сохранив свою человеческую сущность. Юный бушмен, угловатый и с оттопыренным левым ухом, умел бесшумно исчезать в темноте, улавливал шепот на расстоянии сорока пяти метров и собирался жениться на девушке, которая лучше всех находила страусиные яйца. Неожиданно он за сутки умер от столбняка. И с тех пор за племенем издалека следовал шакал, который подползал ночами и скулил с той стороны, где спала девушка.

Обрушившись после отдыха на свою фирму как летняя гроза, Рита устроила грандиозный пикник для сотрудников – несколько десятков веселых лодок спустились вниз по Сене, оккупировали луг, превратив его в нечто среднее между средневековым балаганом и «Завтраком на траве». Рита выступила в роли дельфийского оракула и предсказала будущее всем желающим, включая посторонних, которые стекались на шум и веселье. Розыгрыш сменялся розыгрышем, и к концу дня короновали хрупкую Марсель Жиго, психиатра из Бельгии, которая умудрилась обвести вокруг пальца по очереди почти всех присутствующих – одураченные громко сознавались в своем ротодействе, некоторые попадались даже два-три раза кряду.

В этот же сезон Рита совершила парашютный прыжок над Прагой в честь Вацлава Гавела, который мирно разъединил Чехию и Словакию, и предложила ввести понятие «гавел» как единицу измерения порядочности политиков. Мимоходом ввела моду на неформальные визитки, оставив в приемной Миттерана свою карточку:

Международное общество
«Ротозеи за единство и борьбу противоположностей»
РИТА СНЕГОВА
Чистейшей прелести чистейший образец
8, полнолуние, Париж

Тогда же вышла ее статья в журнале «Спектейтор», в которой она пыталась реабилитировать в мировом общественном мнении невинное финикийское божество Баалзевуха. Этот бог города Аккарон, воплощение летнего зноя, из которого древние евреи сделали аккаронитского бога мух, а христиане – Вельзевула, дьявола, пал жертвой очередной шутки, сыгранной историей с легковерным и забывчивым человечеством.

Городским властям Стамбула Рита предложила организовать фестиваль «Мерцающий Константинополь» – из недр турецкого мегаполиса должен был проступить город времен Константина Великого, императора, осуществлявшего в маятнике заблуждений и надежд переход от языческого великолепия Римской империи к христианству, обраставшему государственной мощью. Воздушные копии наиболее известных зданий четвертого века – храмов, дворцов, терм, библиотек – должны были колыхаться над толпами паломников и зевак. Сановники и аскеты, воины, рабы, подвижники, гетеры, бродячие актеры, малая горсть персонажей той эпохи, смешались бы на несколько дней с мусульманами в европейской одежде, обыгрывая судьбу этого града, меняющего обличья с бесстрашием стоика. Стамбульские власти отнеслись к предложению сдержанно и сочли его преждевременным.

Возобновив прежнюю деятельность фирмы и разделавшись со старыми обязательствами, Рита улетела в Штаты, заинтересовавшись американской методикой адаптации пожилых людей к старости. Почти полтора месяца ей удавалось скрываться от журналистов и посещать курс адаптации в качестве практиканта. Потом репортеры выследили ее в загородном доме ее нью-йоркских друзей Элизабет и Боба Филипсов. Застав ее в будний день в бассейне, репортеры уселись по краям и начали допрашивать, почему она никогда не приезжает в Штаты с амбициозными проектами, хотя именно здесь деньги, энергия, дерзость и бешеное стремление к новизне. Плавая от бортика к бортику и изредка от-

плеываясь, Рита ответила, что в Штатах слишком шумно. Она подумывала обрядить к своему приезду статую Свободы в сарафан и кокошник, чтобы продемонстрировать, насколько к лицу американской демократии русская национальная одежда, но при мысли, сколько потом будет ненужного писка, просто увяла. А вообще-то ее интим с Америкой еще впереди. Она приглядывается к НАТО, намереваясь извлечь свою каплю меда из североатлантического блока, чтобы использовать его в каком-нибудь грандиозном шоу. У нее предчувствие, что расширение НАТО на восток приведет к перерождению этой организации в дзен-буддистскую секту.

Не исключено, что она предложит Мадонне организовать совместную фирму, которая будет проводить для глав государств семинары, углубляющие мироощущение. Человек, стоящий у власти, должен иметь разнообразный жизненный опыт, открывающий ему широкий диапазон чувствований – от проститутки до святого. Будет практиковаться кратковременное участие государственных деятелей в бразильском карнавале, в работе миссий матери Терезы, в религиозных таинствах самых разных конфессий, они опробуют на себе тюремное заключение, участь сексуальных меньшинств и психически неполноценных, будут петь на сцене перед огромным залом и просить милостыню на главных улицах своих столиц, короче, их проведут мордой по главным рубцам жизни, а под конец научат искать в зеркале не собственную внешность, а ту неуловимую человеческую прелесть, которая изредка всплывает даже в политиках.

Проигнорировав остальные вопросы, Рита скрылась в доме. Через полчаса оттуда вышел лысый старичок, укоризненно прощамкал, что джентльмены незаконно проникли на территорию частного владения, и вышел на улицу. Когда репортеры, через несколько часов бесплодного ожидания, сообразили, что лысина может с успехом принадлежать не только мужчине, но и женщине, Рита была уже далеко. Это дало ей еще две недели спокойной жизни в Штатах.

Вернувшись в Европу, Рита призналась близкому окружению, что зрелище людей, откровенно боящихся старости, давит на психику, есть что-то инфантильное в этом цеплянии за вечную молодость, хотя и понятное, ранящее; надо обмозговать, что способна предложить фирма тем, кто обостренно фиксирует свое увядание, в конце концов, каждый остается когда-нибудь наедине со своей плотью, роняющей лепестки. Внутри фирмы был объявлен конкурс на лучшее предложение, как помочь человеку обольстить себя до такой степени, чтобы плещущаяся в его лице жизнь казалась ему значимее, чем лишняя морщина.

Чтобы встряхнуться самой, Рита объявила для себя период личного розового маразма. В сицилийской деревушке она нашла пятнадцатилетнего красавца с красными губами, отшлифовала его ленивую грацию и дерзость сельского козла отпущения и сделала о нем фильм. Фильм о пробуждающейся мужественности, когда даже округлая чаша цветка может вызвать к действию кудрявый жезл между ногами, когда тело изгибается как лук, и в своих поворотах, наклонах, прыжках отражает неровность ландшафта. Бесстыдная мимика бедер и ягодниц, смех, сотрясающий и щекочущий до пяток. Та сладостно-угловатая нагота эфеба, которая вводит в искушение даже мужчин и впитывает свет, запахи, влагу, прикосновения с жадностью почвы, песка. Гроздь любовных приключений, пылких, пленительно-кратких, оросивших тело и спустивших сознание, как гончую, на более жгучие наслаждения.

Выпуская фильм в прокат, Рита рекомендовала его зрителям как видеодуш, позволяющий освежить в памяти их юность и задним числом позаимствовать из нее оставшееся нерастраченным. Человек не успевает реализовать свою юность даже наполовину, утверждала Рита, надо обшаривать свое прошлое в поисках свежести и чистоты. Фильм наделал шума, пошла мода на любовь эфебов, зрелые дамы начали сходить с ума по мальчишкам.

Вышла большая статья немецкого журналиста Клауса Хорна, который несколько месяцев охотился за Ритой. Его обычный прием – выстраивать судьбу своих героев как их реакцию на собственную уязвимость – вынуждал его собирать интимные крохи всеми доступными способами. Материал подавался как детективная история, а Рита была решена в мрачно-романтических тонах.

Живописуя свои бесплодные попытки напрямую переговорить с Ритой и ее друзьями, а также сдержанность ее сотрудников, Хорн с самого начала подводил читателя к мысли, что этим людям есть что скрывать. Даже небольшое интервью, которым его удостоил Ульф Эрикссон, единственный из друзей Риты, согласившийся на встречу, Хорн рассматривал как обычный треп, уводящий в сторону.

Ульф Эрикссон, шведский художник, известный под прозвищем Лилолило, которое прилипло к нему из-за страстной привязанности к Гавайским островам, гамаку и цветочным гирляндам, только что закончил портрет Риты. На нем были изображены молодые мужчина и женщина, ни капли сходства с Ритой, которые сидели за столом и смотрели друг на друга. Эрикссон выставил портрет в Стокгольме и собирался вновь улизнуть на Гавайи, когда к нему напросился Хорн. Высокий жирный Эрикссон, над массивной челюстью которого уплывали вглубь бесцветные птичьи глаза, принял Хорна с насмешливой любезностью и охотно согласился поведать о причинах своих дружеских чувств к Рите.

– Она понимает толк в траве, – лениво сказал он. – Это главное. С ней можно сидеть в траве полдня и не подохнуть со скуки. Попробуйте посидеть с кем-нибудь полчаса, и вы поймете, о чем я. В отличие от современной шушеры, которая носится галопом, она умеет сидеть. Травя доставляет ей наслаждение, – Эрикссон издал одобрительный звук и замолк.

Прождав несколько минут, Хорн попросил авторски прокомментировать портрет Риты и привел мнение модного критика, считавшего, что на полотне в спокойной гармо-

нии соседствуют женское и мужское начало в Рите, опосредованно отражающие ее психологический изыск и бурный деловой натиск.

– Чушь собачья, – процедил Эриксон. – На полотне нет самой Риты. Есть ее отблеск на этой парочке. Этим молодым лоботрясам, заблудившимся в групповом сексе и наркотиках, она вправила мозги и спасла их от пресыщения. Она увезла их в мою холостяцкую берлогу на Кипре и подвергла изошренному унижению, доказав каждому из них, что он ничтожество. Она возилась с ними, как нянька и вивисектор, пресекла несколько слюнявых попыток суицида, убила на них полтора месяца и сбросила семь килограммов. Она выстроила их заново на чувстве жалости к самим себе, а потом друг к другу. Ювелирная работа. Иногда мне кажется, что она сознательно соперничает с природой. Русский идеализм сбивает ее с пути истинного, и она наивно думает, что человечество заслуживает лучшего, – Эриксон скептически хмыкнул. – Я и попытался зафиксировать ее потребность оставлять след на окружающих, это ее скромная мания, которую мы, ее друзья, великодушно извиняем.

На прощанье Эриксон посоветовал Хорну купить гамак, ибо только в гамаке постигаешь, насколько неисповедимы пути Господни, в том числе ведущие к сути женщины, оседлавшей конец двадцатого века.

Дальнейшие потуги привели Хорна к крохотной удаче, из которой он выжал максимум возможного. Следуя как-то за Ритой по набережной Сены, Хорн вытащил из урны разорванный ею листок бумаги. Текст был на незнакомом ему языке, и Хорн догадливо обратился к переводчику с русского. Перевод подтвердил, что нюх не подвел его и на этот раз:

«...я люблю тебя раскромсанным нутром, судорогой и дрожью последнего мгновения. Ты мой последний день Помпеи, кровотечение – понимай как хочешь. Я сама ничего не понимаю. Мы разодрали друг другу нутро. Как странно и

страшно – ты продрался туда, куда вход посторонним воспрещен. И я сдуру позволила тебе это сделать. Такая близость разрушила нас обоих.

Языком древних – мы совершили святотатство и наказаны. Нельзя залезать в другого с ногами и ворошить его подноготную. Боже мой, что мы наделали...

Любовь моя, ты все равно со мной, как рана, края которой раздвигаются все дальше. Ты уходишь не от меня, а во мне – вглубь, в доисторическую тьму, рыбий всплеск, в мое непознанное и несхваченное, в то движение, которым человек лишь начинается как живое существо. Ты мой язык, тяжелый, неповоротливый, которым я пытаюсь общаться с собственным хаосом и внешней сумятицей...»

Хорн вылетел в Москву. Его описание шальных московских интеллектуалов, созерцающих вместо пупка затраханную рынком российскую действительность, стало на ближайшие годы хрестоматийным для желтой прессы. Именно среди них Хорн старался нащупать кончик любовной истории Риты, зная, что несколько раз в году она обязательно бывает в Москве. С помощью водки и долгих душевных разговоров он вытянул слабую паутину слухов об архитекторе, которому Рита финансировала программу возрождения русского деревянного зодчества в псковских селах. Но следы архитектора терялись в северной тьмутаракани, и Хорн трактовал этот прыжок в провинциальный омут как отчаяние мужчины, которого доконала сложность незаурядной женщины.

Основной пыл Хорн приберег к финалу статьи – Рита Снегова вставала во весь рост. Богато одаренная натура, мечущаяся между двумя крайностями – славянской меланхолией и предпринимательским размахом. Вся ее бурная деятельность призвана компенсировать периоды острого одиночества, когда экзистенциальная безысходность мира пронзает ее душу. Долгие годы идеологического прессинга советской системы надломили ее чувствительную свободолюбивую психику, и даже благодатное солнце европейской

цивилизации, давшей выход ее энергии, не в состоянии до конца уравновесить эту ранимую натуру.

После публикации статьи Рита пригласила Клауса Хорна в ночной клуб под Парижем. За столиком они были вчетвером, Риту сопровождали ее приятели-журналисты. Ближе к полуночи конференсье объявил специальный номер в честь Клауса Хорна и сделал в его сторону приветственный жест.

На сцене появилась огромная, чудовищно толстая женщина. Под звуки музыки Вагнера она начала кокетливо раздеваться. Ее монументальная нагота вызвала истерический смехок женщин. Дама на сцене между тем продолжала разоблачаться, снимая части тела и уменьшаясь в размерах. Перед зрителями предстал нагой мужчина. На гром аплодисментов он отозвался воздушным поцелуем и продолжил стриптиз. Еще минута, и выразительная копия Клауса Хорна, в точности повторяющая его вечерний наряд, направилась со сцены к оригиналу. Тогда Хорн понял, почему рядом с ним пустовал пятый стул. От хохота пополам сгибались даже официанты, славившиеся своей вышколенностью, и Хорн почел за благо молча исчезнуть.

Почти тотчас же его место заняла молодая японка в кремовых брюках и яркой накидке. Ее смех журчал и переливался, освежая, как дождь. Рита и ее приятели были очарованы этим звуковым вторжением и заказали еще бутылку шампанского.

Митико Судзуки оказалась корреспондентом крупной осакской газеты и любительницей пешеходных странствий. Под воздействием ее страстной веры в пользу передвижения на собственных ногах компания возвращалась в Париж пешком, и к утру Рита уже называла ее на русский манер Митей.

Через неделю Митико стала своим человеком в фирме. Она могла появиться в любой момент, валилась на диван в кабинете Риты и вытягивала гудевшие от ходьбы ноги, делаясь забавными наблюдениями и давая подчас точные советы. Однажды, лакомясь жареными каштанами, Митико гля-

нула на Риту умным узким глазом и спросила, не хочет ли она хотя бы раз в жизни пооткровенничать с журналистом. Неужели в ней не шевелится соблазн противопоставить во роху публичных глупостей нечто более существенное? Можно попробовать, без энтузиазма отозвалась Рита.

На следующий день они вылетели в Арабские Эмираты, где Рита должна была срежиссировать совершеннолетие сына одного из своих постоянных клиентов. В течение двух месяцев Митико сопровождала Риту, не особенно привязываясь и выгадывая моменты, когда сопутствование друг другу пробивает близостью или раздражением, иногда освещающим горизонт более четко. Потом навестила нескольких ее друзей, собрала манатки и отправилась пешком из Лиссабона во Флоренцию.

Результатом этого, как она сама выразилась, пыльно-го мытарства явилась статья под названием «Рита Снегова. Краткий путеводитель», вышедшая в одном из римских авангардных журналов. Митико начала с окрестностей – так она обозначила людей, близких Рите и дающих возможность взглянуть с хорошо выверенной точки.

Несколько лет назад Рита получила учтивое письмо, в котором ей предлагали провести две недели на острове Родос в обществе старика, находящегося так близко к совершенству, насколько это приемлемо для человека со вкусом. Рита поехала и увидела темноголицего толстяка лет шестидесяти, устроившего себе комфортабельную раковину на берегу моря, в окружении виноградников. Черные, с кофейным отливом глаза хозяина блестели живо и дружелюбно, в глубине их мерцала келья аскета, откуда внешний плодоносящий мир казался подходящим соблазном. Кормили здесь вкусно и ненавязчиво, овощи и рыба ласкали желудок, а вино и фрукты придавали беседе наивную естественность помпеянских фресок.

Впервые Рита встретила человека, не занятого собой. Не занятого, как помещение, которое освобождено от лишнего. Общаясь, он самоустранялся, как задвижка, распаивающая

окно, и перед собеседником открывался простор, поначалу даже смущающий отсутствием твердой почвы под ногами. Привыкнув в течение пяти–десяти минут определять примерную глубину чужого сознания, уровень его самоотчуждения, Рита вдруг столкнулась с неуловимостью, доставлявшей наслаждение.

Они много бродили, по утрам она ездила с ним ловить рыбу и в тишине воды и неба погружалась в его присутствие. По ее просьбе Тавадеас рассказывал о себе – он исколесил все Средиземноморье, зарабатывая на жизнь чем попало, а в основном торговлей, попадал в переделки, из которых то вылетал пулей, то выползал на четвереньках, шесть раз разорялся, обзавелся женой и тремя детьми, то старел, то молодел, проваливаясь в водовороты судьбы, терял друзей и иллюзии, накапливал покой в пятках... Орудя своей биографией как лупой, он мог увеличить пустячный эпизод до размеров приключения и с тихой улыбкой позволял ему осесть в настоящем. Рассказывал он увлекательно, с выскакивающими из-за угла подробностями, но всегда было неясно, кто он – участник, очевидец или слышал от кого-то, его «я» звучало условно, как веселое согласие развлечь собеседника, сделать более правдоподобными совершавшиеся неведь где события.

Пожалуй, он не придавал себе значения, личностное в нем напоминало не стержень, а естественную среду обитания. С обычной доброжелательностью Рита провоцировала его, расставляя ловушки самолюбия, но Тавадеас проходил сквозь них, как сквозь воздух. Его усмешка над собой, казалось, была задана как потребность в движении, в еде, он не замечал ее, и, когда Рита дразнила его, называя задрипанным эпикурейцем, который прячется в самоиронию, как в теплый халат, он качал головой и говорил, что это не про него, он не создан для высоких материй. Как-то в сумерках, когда они стояли под оливами и смотрели на далекие холмы, Рита напомнила о его письме, в котором он рекомендовал себя человеком, столь близким к совершенству, насколько

это позволительно обладателю хорошего вкуса. Это не вяжется с образом простого коммерсанта, заметила Рита. О, ему так хотелось завлечь ее на Родос, что он списал эту фразу из старинного французского романа, негромко отвечал Тавадеас, и вечерняя тень деревьев размывала его лицо.

Рита уехала от него, так и не уяснив, с кем она имеет дело, и их дальнейшие встречи, когда она вырывалась на пару дней, протекали в той же атмосфере покоя и неуловимости, обнажавшей их разность. Бог его знает, заключила Рита, сидя на скамейке теннисного корта, где они с Митико ждали своей очереди, может быть, за всем этим стоит просто естество, без ухищрений и напластований, а может быть, его культура общения с собой достигла уровня, с которого другой скатывается, как с ледяной горки.

Митико поехала на Родос, сразу же оценила непринужденность Тавадеаса и начала ластиться к нему как кошечка. Уже вечером они болтали как старые приятели за бутылкой красного вина, и Митико своим фирменным журчащим смехом торила тропинку к собеседнику. Все очень просто, объяснял ей Тавадеас, чистя для нее ножичком сочную грушу, Рита мимоходом стерла с него пыль и переставила в более выгодное освещение. Он многое повидал и устал от жизни, даже друзья выцвели, как старые фотографии. Всю жизнь его использовали в чьих-то интересах: родители как ребенка, государство как гражданина, женщины как любовника или мужа, дети как отца и так далее. А вот сам он, его сокровенное, никогда никого не колыхало. Рита обласкала в нем подлинное, то, что принадлежит только ему. Смешно сказать, он ощущал себя как распечатанная бутылка, аромат из которой разнесся над столом, проникновенно говорил Тавадеас, подливая гостье и себе. Все настолько заняты собой, что им не до других, это понятно, он и сам такой же. Но ему повезло, он встретил настоящий человеческий интерес к себе. Это удача, после которой можно наконец и поддохнуть. Все, что нужно, уже случилось. Он уже подумывает о том, чтобы мирно упокоиться под этими оливами, Тавадеас ото-

шел к окну, но, видно, еще не время, ведь начинается паломничество молодых восторженных душ, привлеченных густым букетом его личности... Митико подкралась к толстяку и басом спросила прямо в ухо, как ему не стыдно морочить ей голову. Тсс, Тавадеас прижал палец ко рту и кивнул в окно — над холмами поднималась луна. Все претензии к ней, пожал плечами Тавадеас, это она сбивает с толку молодых девиц и пожилых толстяков, это она извращает законы гостеприимства и вынуждает к ненужной откровенности.

Следующий визит Митико нанесла в Неаполь, Луизе Монтини, специалисту по этруским и салату из крабов, секрет которого хранился в их семье уже четвертое поколение. Луиза приняла ее в домашней библиотеке, рассеянно ткнув рукой в свободное кресло, и продолжала просматривать затрепанную рукопись. Потом она пересела ближе к Митико, легко пронеся свое стовосьмидесятисантиметровое тело бывшей баскетболистки, и поощрительно потрепала гостью по коленке. Митико протянула ей записку от Риты.

О, святая мадонна, сказала Луиза, прочитав записку, и закатилась смехом, потрясшим книжные шкафы. Подбить Риту на подобную глупость могла только такая прелесть, и она огромной костлявой ладонью потрепала Митико по подбородку. Митико шарахнулась и звонко возразила, что она исследует феномен Риты через дружеские отношения, и мнение столь уважаемого ученого, как синьора, способно прояснить очень многое.

Да это и не дружба вовсе, добродушно сказала Луиза, просто в присутствии Риты тебя не деформируют, не усекают, не разбавляют, ты существуешь во всей своей целостности, объеме. Обычно ты где-то на периферии чужого сознания, а Рита, этот лукавый дьявол в парике, искушает тебя ощущением, что ты в центре ее внимания. Даже она сама, здоровенная лошадь, прошедшая огонь и воду, — Луиза игриво мотнула головой — под взглядом Риты чувствует себя баловнем судьбы, потому что ее неповторимость подзуживают, провоцируют. Словом, впадаешь в детство, когда тебя баловали,

опять захохотала Луиза, Рита так виртуозно работает с твоим интимным пространством, что дуреешь от собственной свежести.

Посещение еще двоих не добавило чего-нибудь существенного, на разные лады перепевалась способность Риты делать собеседника выпуклым, как яблоко познания.

Тут Митико поместила фотографию, на которой Рита двигалась в толпе, спиной к зрителю. Уходя, – она все время уходит, утверждала Митико, даже выслушивая твою исповедь или подбадривая, – Митико сама пешеход и знает этот постоянный зуд передвижения, Рита уходит от других, а может быть, и от самой себя, она непрерывно в дороге. То, что ее друзья принимают за глубину внимания и погружения в них, есть лишь эффект удаления – Рита освобождает им жизненное пространство, позволяя увеличиваться за свой счет.

Митико бродила по огромной спирали Ритиногo имиджа и искала Риту – да, Рита человек умолчания и дистанции, соглашалась она с отрывистым полупризнанием Риты, жестко считавающий относительность всего, избегающий очевидности и попыток растиражировать ее, как газету, но где-то же должно быть дно, плотность ее истинного жеста, хотя бы тот минимум внешне-официального, которым каждый признается в своей готовности играть в повседневное.

Ах, неожиданно вспоминала Митико, какое чудесное утро досталось им с Ритой однажды, они стояли в тумане, набирающем силу, все было влажным, и одежда, и волосы, колокольный звон, приглушенный, губчатый, плыл вместе с влагой, совсем рядом прошмыгнули два юнца, и просочилась фраза, что девчонки только и ждут, чтобы их трахнули, и все их выкрутасы именно от этого. Как они с Ритой давились хохотом, не понимая, с чего их так разобрало, и туман пахнул яблочным пирогом и домашним уютом, они совсем обессилели, и Рита выговорила, что вот она, другая вечность, интимная и значимая, она соотносима с тобой, она не превращает тебя в пыль, а шалит, высовывает ножку, в такие

мгновения все близко, нет ни расстояния, ни времени, древний галл прикладывает к щеке коровью лепешку от зубной боли, нищий мочится на мавзолей Омейядов, жизнь втирает тебя, как мазь, во все подробности, и бессмертие струится в твоих жилах, выжигая тебя до сухого остатка, который можно пустить по ветру... Но через несколько минут они вошли в гостиничный холл, где их ждали клиенты, целая компания молодых немцев, жаждущих коллективного мистического приключения, и Рита принялась сосредоточенно «раздевать» их, выявляя лидера, подводные течения и прочее, а Митико следила за нею и гадала, была ли Рита в тумане откровенна или это очередной формообразующий шлепок специально для нее, Митико, может быть, Рита работает с нею, чтобы раскачать, как выражаются на жаргоне фирмы, ее сознание для следующих впечатлений, может быть, Рита записывает на ней, как на диске, очередной вариант своей физиономии для публики.

Рите, видите ли, тесно в жизни, ехидно замечала Митико дальше, ей, которая носится из страны в страну и переваривает несметное количество людей. Вся ее бурная деятельность именно от ощущения тесноты. Никак не привыкну, что я человек, обронила она отчужденно, когда они после долгого шляния по предгорьям Альп вошли в комнату с зеркалом и их силуэты отразились с пугающей неожиданностью цивилизованных предметов. Даже Митико испытала скользнувшую оторопь, слишком крут был переход от мягких склонов и зелени; от Ритиных же слов ее собственное отражение показалось ей чужим и надуманным, даже слегка кощунственным, как карикатура на стремительное, столь многообразное, что нелепо было бы ловить его в силки внешнего. Она тут же спросила Риту, небрежно расшнуровывая ботинки, кем же та себя считает, и получила усталый ответ, отягощенный зевотой и голодом, что Рита сама хотела бы это знать. Позже, когда они поглощали холодную говядину с горчицей, Рита пробурчала с набитым ртом, что человеческое сковывает ее, эта привязка к видовому, к физиологии

раздражает, как шоры на глазах, ей хотелось бы быть всем сразу, самым жизненным процессом, который трахает всех подряд и оптом и отдается в ушах полуденным звоном.

Это даже не лабиринт, заключала Митико, Рита – это скорее оптическая иллюзия, мираж, случайно обретший человеческую оболочку, одна из тех несообразностей природы, которая не дает человечеству застыть в монументе «Номо сариенс» и проветривает его на сквозняке.

Митико отослала журнал со статьей Рите и месяца через полтора получила из Парижа приглашенный билет на празднование двухтысячного года от Р.Х. В конверте покоилась и вырезанная из газеты заметка о том, что Рита Снегова начала подготовку грандиозного проекта, по которому двухтысячный год будут отмечать по всему миру. Предполагается отобразить крупнейшие события христианского периода, начиная с умывания рук, которым прокуратор Иудеи Понтий Пилат обрек на распятие плотника из Назарета. Все выдающиеся личности, оказавшие влияние на развитие цивилизации, прошествуют в своей человеческой и исторической неповторимости перед влюбленным взглядом человечества и пронесут на плечах толщу двадцати веков. В самом конце заметки промелькнуло, что на роль Колумба уже приглашена японская журналистка Митико Судзуки, которую с великим мореплавателем связывает обыкновение открывать Америку вместо Индии.

Август, 1996

КРАСАВЕЦ И НЕУЛОВИМОЕ

Рассказ

ПЛЕЙБОИ ВСЕХ СТРАН, ОБЪЕДИНЯЙТЕСЬ.

*Надпись на торцовой стороне
мужского туалета в Воркуте*

*Omne corpus figiendum est.
Следует бежать плоти /лат/.
Порфирий*

Двухмачтовая яхта мягко покачивалась на кронштадтском рейде. Тридцатидвухлетний владелец яхты Дмитрий Исаев стоял на палубе и в подзорную трубу конца прошлого столетия обозревал город, изредка переводя взгляд на приближающийся катер.

Его венесуэльский приятель Рамон Воладор, католик с профилем индейца, обкатывал свой медовый месяц, бросая к ногам молодой жены просторы прежней холостяцкой жизни.

Оставаясь за кадром, Дмитрий организовал им блеск и нищету Санкт-Петербурга и его окрестностей. Их гидом был загадочный Вова Пахтин, рыжий фат с легким косоглазием, бизнесмен и рыцарь недавно учрежденного в Питере Суверенного ордена св. Иоанна Иерусалимского, что должно было придать прогулкам мистический налет – Рамон пожелал окунуть юный семейный эрос в воды северной метафизики.

Начинался вечерний бриз, и Дмитрий вспомнил, как подцепил накануне на кронштадтской набережной проститутку в декольте – ее плечи покрылись гусиной кожей, и он увел ее отогреться в гостиницу. Плотно поужинав и опьянев от двух стопок водки, она с неожиданным лукавством описала череду мужиков, прошедших через нее за последнюю неделю. Дмитрий хохотал до икоты, слушая, как пожилой извра-

щенец под конец отругал ее за белье не первой свежести и отказался платить.

Нежность странно освещала угол комнаты, где она при- тулилась в кресле, и в замшелой гостиничной тишине было очевидно, что не американские отцы-законодатели, а сексу- альная терпимость проститутки проложила дорогу демо- кратии и правам человека.

Дмитрий спустил трап – Рамон поднялся на палубу, дер- жа в полуобъятье крепкотелую жгучую брюнетку. Она вы- росла под тем же солнцем, что и муж, ее брови не уступали его щегольским усикам. Смуглая красота обоих сгустила ат- мосферу суденышка, и за ужином в каюте Дмитрий сравни- вал выдержанный коньяк с их манерой опутывать друг дру- га томными взорами.

Их брачная ночь еще следовала по пятам за ними. С ко- шачьей цепкостью Дмитрий ощущал, как присутствие тре- тьего насыщает их случайные прикосновения. Подыгрывая Рамону, он сделал тонкий двусмысленный комплимент их страсти и позволил себе скользящий плотоядный взгляд, хотя женщина была не в его вкусе – жасмин и воск под тя- жостью ресниц, лицо яркое, свежее, заблудившееся в на- слаждении, провинция по отношению к плоти, у которой своя стратегия, это тело знает, чего оно хочет, с материко- вой энергией оно влечет вглубь авантюристов и кладои- скателей.

Ночью яхта вышла в открытое море и взяла курс на Сток- гольм. Дмитрий устроился на корме, в шезлонге, – дрожали звезды, и темная вода уходила из-под ног, прибывая и за- вораживая; и так же ускользала жизнь, прибывая и тяня за душу, дразнила своей девственностью.

Несколько лет назад, когда ему впервые стукнуло в голо- ву, что имеет смысл отследить самых заядлых самцов плане- ты, чтобы сообща вывернуть вождеделение наизнанку, жизнь так же томила, но была агрессивнее и науськивала на пои- ски; в тот же день Иоанн Павел II объявил о реабилитации Галилея, и тень человека, ускользнувшего от костра, но про-

должавшего ощущать, что Земля вертится, освятила его сумасбродный план, насмешливо подталкивая к добросовестности метода.

Дмитрий плеснул в стакан кофе из термоса – истратить столько сил, времени и денег, чтобы убедиться, что и в мире сладострастия самые шумные репутации зачастую мыльный пузырь, а в лучшем случае – вывеска мясника. Из обширного списка, составленного немецким сыскным агентством, имеющим связи в Интерполе, после совместных оргий, которым было далеко до римского разврата, набралось всего пять-шесть мужиков, из опыта которых можно было извлечь хоть какой-то цымес.

Случай натолкнул на тощего адвоката из Мадраса. Он корчил из себя аскета, утверждая, что достигает оргазма в нирване, очищая его от физиологии и ньютоновской механики, – желчно-вдохновенная физиономия его гримасничала, постукивая лошадиными зубами. Женщины интересовали его лишь как отдаленный повод, своего рода предыстория в фаллическом становлении мужчины.

Довольно занятной находкой оказался страховой агент из Триеста. Гибкий, уколобый хлюст, синеглазый и с бесшабашной улыбкой, он обирал богатых старух и спускал деньги на девчонок, ослепляя их широтой натуры, а потом бросал на мели, не брезгуя воровством женских тряпок. И все равно оставался их великой страстью и в любой момент мог поманить их пальцем.

Дмитрий изредка прикармливал его, пару раз брал с собой в увеселительные поездки. Это был альфонс и вкрадчивый лгун, но глаза его сияли – он обожал носить любовниц на руках и смеялся счастливым смехом.

Лишь познакомившись с его семьей, Дмитрий понял, что этот проходимец свят изначально – его зачали в любви, детство было пронизано нежным колдовством, окутывавшим мать и отца; родители еще хранили атмосферу близости, в которой их полуденные объятия были достовернее морщин,

их старомодное танго подкупало, они до сих пор не чуяли под собою пола.

Пыл родителей освещал беспутство альфонса, придавал ему глубину и благородство, и Дмитрий гадал, насколько ему хватит этого запаса прочности – во всяком случае, это было живое и трогательное, здесь тратили на ветру и не боялись огня, женщины бились о хлюста мотыльками, и воздух был полон трепета.

На этом фоне Рамон был тяжеловесен – становилось свежо, и Дмитрий набросил на себя плед, – его мужская неутомимость, принесшая ему славу «венесуэльского быка», отдавала гранитом.

Дмитрий тихо засмеялся – звезды, эти покровительницы вздохов и благоговения, мерцали по-восточному крупно, ночь благоприятствовала Рамону отсутствием качки, жгучий латинос шел к цели напрямик.

Все его женщины, которых видел Дмитрий, походили на сестер, различаясь лишь возрастом и социальным положением, я консерватор, говорил Рамон в кругу друзей, мужчина должен иметь идеал и разыскивать его воплощения, не слишком отступая от образца.

Пожалуй, образцовым было и его вожеление, идущее от земли, тяжелый, бьющий волнами метаинстинкт – однажды Рамон вышел к Дмитрию из гостиничного номера, только что от женщины, и дремучесть его лица не сразу ушла вглубь, потом они стояли на балконе в осеннем марсельском мареве, Рамон хрипло перечислял достоинства слегка перезревшей, но опытной шлюхи с претензиями на шик – он был так откровенен в позиции сверху, словно история плоти с ее усложнением и рассеиванием рефлексов совершалась в другом человечестве, не отбрасывая на него тень даже мельком, походя.

Дмитрий зевнул – после этих смачных радений хорошо бы хоть полчаса понежиться в садах Сапфо, воспитывавшей девочек и называвшей Эрос по имени – не панибратство, но дерзкая близость исследователя, жаль, что у него нет такой

сестры, вместе им было бы сподручнее целовать в рот истину, чтобы охмурить мерцающее за ее спиной желание – сдвоив зрение и небо над экспедицией, они смогли бы разглядеть следы священного безумия, ведущие навстречу и сквозь.

Сзади неслышно подошел Рамон с сигаретой.

В центре ночи дышала удовлетворенная плоть. От тебя, как от печки, несет покоем, заметил Дмитрий. Рамон наклонился к нему и, дохнув перегаром, пробормотал: «Я еще в том году понял, что дело не только в женщине. Тут есть еще что-то. Я доберусь до этого».

Внезапно он осел на палубу и заснул, брякнув голову на колени Дмитрию.

Дмитрий загасил окурок, выпавший из его пальцев, и бросил за борт. Рамон тоже в пути, хотя его вычерченный полумесяцем свадебный вояж всего лишь дружеский плагиат с его, Дмитрия, прошлогодней истории.

Раскрутившись на ввозе турецких шмоток, отец начал шустрить с недвижимостью, дело пошло, и в прошлом ноябре он послал Дмитрия на Гавайские острова – присмотреться, отец знал цену своему и чужому сумасбродству, на этом можно было заработать, дело было за размахом и точно выверенной дозой экзотики.

Уже в Гонолулу Дмитрий получил от него факс – клиент из Сибири интересовался земельным участком на Таити, где можно было бы выстроить бунгало для нефтешельфы, обремененного любовью к тишине и чистому воздуху.

В конце поездки по острову, вернувшись в Папее, Дмитрий забрел в бордель. Пару лет назад он начал собирать фотографии владельцев публичных домов – получалась коллекция, выносящая к отмеям домашние улыбки и шарм работоторговли.

Некоторые уклонялись от этой чести, но большинство позировало с удовольствием и даже с гордостью. Женщины были колоритнее и разнообразнее, наживую связанные со своим заведением, среди мужиков чаще попадались подставные хмыри, но было и несколько профессионалов-

сводников, работавших с проституткой, как с породистой лошастью.

Хозяйка борделя, китаянка с примесью туземной крови, оказалась кладезем знаний. Инглиш в ее версии отдавал оперой, но она просветила Дмитрия не только по части местных земельных спекуляций – беседуя с ним в углу, отделенном невысокой ширмой, она незаметно руководила происходящим в зале, объем и прицельная точность ее внимания завораживали, она включила Дмитрия в свое общение с клиентами и девицами, сделала его резонатором эротической сумятицы вокруг.

Через два часа он признался ей, что влюблен.

Значит, самое время переходить к фотосеансу, сказала она и спустилась с ним в сад – шестидесятилетняя женщина с жестко накрашенным лицом позировала рядом с цветущей гарденией.

Когда он щелкнул затвором, она уронила носовой платок.

Дмитрий бросился поднимать его. Она положила руку на его макушку и продержала в таком положении несколько секунд – стоя на одном колене, вдыхая запах ее духов, Дмитрий с изумлением обнаружил, что счастлив.

То человеческое, что колыхалось между ними в зале, здесь, в духоте и влажности приморского воздуха, обрело свободу и одинаково покинуло их – теперь у них была общая свобода брошенных и общая обнаженность перед ее возрастом.

Отсылая Дмитрия, она сунула ему бумажку с адресом. Иди туда сейчас же, приказала она.

Дмитрий разыскал одноэтажный домишко на краю города. Туземец с синими губами на ломаном английском сказал, что девочка только два раза была с мужчиной и стоит дорого.

Восточная вежливость хозяйки борделя позабавила Дмитрия – ему предлагали свежую плоть. Он дал туземцу доллар и извинился за беспокойство,

Это праправнучка Гогена, важно добавил туземец, она умеет рисовать военных.

Дмитрий купился не на этот затасканный трюк для туристов, а на внезапное желание спать. А поутру юная таитянка взяла его тепленьким – сидя на постели, она разглядывала его с откровенным восхищением, полуоткрыв рот и ковыряя заостренной палочкой в ухе.

Дмитрий ощущал, как его внешность употребляют – стрелки часов перевели на несколько веков назад, когда собственность еще множилась в обладании, и каждый островитянин входил в нее как в реку. Девочка расправлялась с его внешностью, как обезьяна с бананом, и корчила рожи от удовольствия.

В этих глазах цвета кофе он был варварски великолепен – наподобие петуха или идола.

Это утро принадлежало ей, и полутолый сероглазый мужик, правая бровь гуще и заметно темнее левой, был ее законной добычей – она извлекла его из мрака таитянской ночи и дала ему дыхание.

Дмитрий резко сел и подбросил девочку вверх. Она завизжала, и Дмитрий решил, что задним числом сделает подарок сифилитику Гогену.

Он привез таитянку в Москву, в снег и метель. Ее возили по подмосковным усадьбам и лесам, поставили на лыжи. В субботний вечер он взял ее на каток – лед, музыка, морозный смех конькобежцев, он держал ее под локоть, и все равно она падала. Стайка фигуристок совсем заморозила ее, особенно одна, гибкая, раскрасневшаяся, в голубой курточке над черным шерстяным трико.

Дмитрий завидовал полудетской вязкости ее зрения – она поворачивала голову, но оставшееся сбоку продолжало вытягиваться, участвовало на равных, придавая ее взгляду насыщенность древнего сферического узнавания...

Сонный Рамон ушел в каюту, оставив на палубе теплого двойника, который выветривался с неспешностью тумана.

Дмитрий затих – звезды светили сейчас для таитянки, вернувшейся на свой остров, в знойную нищету и прости-туцию, она сама сделала этот выбор, повзрослев внезапно,

за несколько минут, когда он из окна машины показал ей здание художественного училища, где она могла бы учиться, – она стерла предложенное ей будущее косящим движением белков, вдруг осознав, что ее привезли для учебы, а не для любви; на ее неподвижном лице глаза убегали, чтобы он не мог догнать ее гордость, ее рану, где она царствовала по-дикарски мощно и одиноко.

По гамбургскому счету он был обязан ей, а не она ему. Хотя он нанес ей удар чужой цивилизацией, она усвоила и использовала его неподатливость и суть мужика для стремительного строительства женщины в темнбликом теле с таящимися объемами. Когда-то, двенадцатилетним мальчиком, он увидел Маргариту Терехову в «Зеркале», и высокомерие ее женского естества пронзило начинавший увлажняться корень жизни, которым он нащупывал новые горизонты, поэтому теперь он ощущал свою тайную тяжесть для таитянки, и все же она перевесила – эта девочка отсекала в нем человека от самца, нечаянно-точным взмахом разграничила полномочия. Она уехала, не опознав в себе художника, она была слишком юна, чтобы вместить свою будущую зрелость мастера, и ему, Дмитрию, остался в дар еще и этот ускользающий мастер с сутулой спиной, который маячил на окраине их встречи и прикрывал бегство таитянки...

Десять дней яхта бороздила Балтийское море, и Дмитрий служил фоном, а иногда и разделяющей ширмой супругам-латинос, которые с беспечностью южан следовали за северным непостоянством погоды.

Их бурным ссорам он умудрялся придавать статичность и гулкость собора, а любовному воркованию – тягучесть рахат-лукума. Под конец молодые учуяли дружескую усмешку хозяина – этот тип сделал из нас карикатуру, сказал Рамон, передавая жене за обедом борнхольмскую сельдь; жена выгнула спину и с аппетитом ответила, что никогда не понимала мужчин, которым заумь дороже живой ласки.

В Копенгагене Дмитрий посадил их в самолет; лето заканчивалось морозящим дождем.

Отец затеял рискованное дельце по освоению пустующих земель под Новгородом. Матерый биохимик ленинградской школы, после пятидесяти пустивший себя в разнос, он как бы испытывал деньги на выживаемость – однажды он бросил Дмитрию шутку, что деньги изобрели человека, чтобы размножаться, и, затеяв что-нибудь новое, с любопытством наблюдал, как деньги растаскивают его энергию и видоизменяют до неузнаваемости.

К зиме они чуть не разорились из-за скрытого противодействия местных властей. Отец был в восторге, почти переселился в Новгород и, возвращаясь от очередного фермера, живописал, как ядреный дух деревни водит кругами бывших горожан, а они, стиснув зубы, ломают свое.

В середине апреля Дмитрий меланхолично заявил отцу, что сыт по горло. Выторговав два месяца безделья, он устроил себе путешествие по выдающимся женщинам.

Эти дни сумасшедшей прелести, когда он разъезжал по миру, вдыхая неуловимый аромат женского духа, были его личным вкладом в цивилизацию – как-то утром, бреясь перед круглым зеркалом второразрядной венской гостиницы, он заявил своему намыленному отражению, что не имеет себе равных по части извлечения человеческого изюминки из женщины.

Начал он с Москвы и с контраста – объединяя в жадном вдохе Ирину Хакамаду и настоятельницу Новодевичьего монастыря, Дмитрий блаженствовал на качелях, бросавших его от восточной экзотики и утонченного прагматизма дамы-политика к тишине кельи и наоборот.

Собрать пыльцу с Хакамады не составляло особого труда – она все время бывала на людях, мелькала на экране и на страницах газет, ее след был отчетлив, манера общения открыта в обе стороны. Дмитрий покрутился вокруг нее на банкете, поднес к ее мальчишеским плечам плащ – в глубине таилась чудесная раскосая лень, из которой бил фонтан поступков, и звон струи выносил на поверхность высокомерие эха и умение биться на кулачках. Мимоходом Дмитрий

сделал открытие – коротко остриженная голова обнажает женщину метафизически, в случае с Хакамадой пространственная возня за ее спиной и затылком отдавала резкими перепадами и одиночеством большого пальца.

Сложнее было с настоятельницей монастыря.

Через знакомую семью верующих Дмитрий знал, что большую часть жизни она занималась наукой, а потом вняла голосу крови – среди предков были известные религиозные деятели.

Дмитрий видел ее издали на воскресной службе – его волновал этот возраст седины и смирения, облаченный в черное, в скупость жестов. Во время молитвы ее профиль уплотнял воздух и непроницаемостью походил на выкрашенную известкой стену.

По дороге в свои покои она отдала несколько распоряжений, и Дмитрий среди многолюдия монастырского двора успел засечь живую мимику существа, знающего силу и ценность греха и вынужденного нисходить в женское тело, чтобы не нарушить равновесия среды.

Припомнив утверждение старофранцузского автора, что в природе хорошего монаха всегда заложено простодушное лукавство, Дмитрий представил, как мать-настоятельница, поглядывая в окно, мысленно журит сумерки за их колдовскую прелесть, заставляющую монахинь соскальзывать в прошлое – в этот миг настоятельница скрылась за дверью и разверзла за собою уходящее в равнину пространство с пасмурным небом и задевающим за печные трубы звуком колокола.

После московских качелей охота за нидерландской королевой была отдыхом, покачиванием лотоса в проточном пруду.

Непринужденная упорядоченность ее жизни снизила пульс Дмитрия до 58 ударов в минуту. Эта женщина придавала королевской мишуре естественность творога. Она не мешала другим и не путалась у себя под ногами – во время публичных церемоний выражение ее лица было таким же, как за рулем автомобиля или у книжного прилавка.

Наблюдая, как королева ест пломбир за чтением газеты, Дмитрий аплодировал Европе – в конце концов, женщину убедили в том, что она тоже человек, и теперь она наслаждается этим без судорог и спешки. Он попытался представить, какой была бы реакция королевы, если бы он обратился к ней с письменной просьбой усыновить его – у нее хватило бы чувства юмора, чтобы свести это к шутке, но вряд ли бы она подпустила его на выстрел из лука – родственная улыбка отнимает слишком много энергии.

С такой женщиной хорошо идти по старинному парку, ощущая, как в ней оживают традиции и шелестят шаги давно умолкнувших людей – чуточку средневекового перца и самоистязания, поединки на шпагах под покровом темноты, шепот и пахнущие духами записки, остроконечный ночной взор в небо.

Сладостные полчаса провел Дмитрий на могиле Марии Казарес, затем отправился в захудалый парижский кинотеатр, где заранее заказал ретроспективу фильмов с ее участием.

Один в темном пустом зале – он ни с кем не хотел делить эту властную темноволосую львицу, умевшую укрощать мужчин и срезать углы перед разлукой. Как чувствительна она была к малейшим проблескам шарма, чуяла его в других, как животные – воду. Обольщать, чтобы жить – и высечь ответную молнию обольщения .

Лежать у ног умной женщины, умеющей повелевать и оттягивать наслаждение – сейчас Дмитрий отдал бы мизинец под топор, чтобы узнать, встретила ли Казарес мужчину, сумевшего выжать из нее максимум. Она всегда была глубже и мощнее любой роли, всегда зашкаливала – отыскала ли она там, куда ее заносил темперамент, партнера под стать, изощренного и опасного?

Возвращаясь в гостиницу по ночному Парижу, Дмитрий нежно затосковал – такие женщины, как Казарес и Коко Шанель, должны быть немножко бессмертны, парижские улицы должны хранить их аромат, а стекло витрин отражать

изгиб локтя, небрежный поворот головы к собеседнику, всю дробную историю их существования.

Через несколько дней, попивая кофе на Елисейских полях и подглядывая, как город использует женщин в собственных целях, Дмитрий наконец ухватил ритм, в котором возвращали его самого – у каждой местности своя стратегия и уловки, Париж в этом смысле не делал тайны из своей страсти к обольщению, с двусмысленной щедростью он черпал из арсенала женского и мужского, утаивая лишь свою способность интимно сводничать по всем направлениям, мимикрировать, выдавая себя именно за тот Париж, который история уже несколько веков подсовывает провинциалам и иностранцам, столь же ловко играя на присущей человеку ностальгии по наслаждению и легкомыслию.

Дмитрия ловили на его же привычке держать чувственную дистанцию, своего рода пропасть соблазна, куда под собственной тяжестью падали интересующие его объекты – женщины, чувства, ландшафты и все остальное, подспудно ждущее чужого внимания.

Его уже включили в общий механизм обольщения и возбуждали его восприимчивостью нервные окончания города – возможно, он даже вошел в моду, и целые кварталы подражали его манере отдаваться и ускользать, чтобы сделать свое присутствие свидетелем не только настоящего, но и сопредельных областей.

Прошли времена, когда Европу можно было похищать, и Дмитрий ограничился шуткой – сконденсировал над Парижем, а затем и над Лондоном облака женской прелести.

Побудить женщин источать свой аромат вверх – это был труд титана и ювелира. Парижанки стали стройнее и задирали подбородки.

Дмитрий прошелся по всем слоям, от мидинеток до актрис, и всем возрастам, от трехлетних крошек, кокетничающих со стулом, до напудренных престарелых дам, которые сетовали, что во времена их молодости Булонский лес был гуще, а мужчины галантнее.

Когда облако достигло предгрозовой насыщенности, Дмитрий поспешил в Лондон. Англичанки оказались уязвимее и спортивнее, а город более сосредоточенным.

В Гайд-парке Дмитрий наткнулся на женщину-оратора – стоя на перевернутом ящике для чистки обуви, она пламенно проповедовала пользу молчания для духа и пищеварения. Пять-шесть зевак зачарованно слушали ее.

Закончив пассажем, что молчание должно стать основной добродетелью общества, она победно соскочила с ящика и направилась прямо к Дмитрию, выставив перед собой кружку для пожертвований. Тридцатилетняя миссис Сандерс возглавляла ею же созданное Общество защиты меланхоликов и недавно выпустила книгу «Головоломки для больных диабетом». Сейчас она собирала средства для открытия частной школы, где будут учиться дети-левши – группа единомышленников миссис Сандерс уже разработала для них особую программу с уклоном в универсализм Леонардо да Винчи.

У нас с вами может быть маленькая дружба, сказала она, когда Дмитрий, ошалев от ее напора и чистосердечия, протянул сто баксов.

Эта маленькая дружба развернулась в цепь новых знакомств – с невероятной энергией миссис Сандерс протаскала его чуть не по всем энтузиасткам Лондона. По утрам, встречаясь с нею, Дмитрий думал, что перед ним образец самопожертвования, в середине дня, когда они перекусывали в дешевых ресторанчиках, он предполагал, что эта особа с молочно-розовой кожей и голубыми глазами разыгрывает себя и окружающих; вечером, пожимая на прощанье мускулистую ладонь, Дмитрий окунался в ощущение, что есть некий вид святости, освоенный только женщинами и найденный ими на ощупь, вслепую, в котором фанатизм сродни инстинкту материнства и отвечает на вопросы, которых никто не задает.

В английском кокетстве миссис Сандерс была так же свежая, как и в других вещах, и полагала, что островное положение Великобритании способствовало более глубинному

залеганию вечно женственного в англичанках. Именно поэтому, в отличие от континентальных дам, англичанки свежи в своих чувствах и флиртуют незаметно, как вереск, оплетающий стены.

Во всяком случае, отдавая аромат улетающему майскому небу, жительницы английской столицы не топорщили перья, а в переулках не сквозил заговорщицкий шепоток, сопровождавший Дмитрия в Париже.

Добавив для местного колорита консервативно-пылкую струю Маргарет Тэтчер и жемчужный туман герцогинь Гейнсборо, Дмитрий счел свою миссию законченной – по обе стороны Ла-Манша колыхались облака неизъяснимой женской прелести, названия которой не было ни в академических словарях, ни на кончике мужских гениталий.

Судя по прессе, никто, как всегда, ничего не заметил, и Дмитрий отбыл в Штаты ночным рейсом, надеясь, что пассажиры будут дремать, но ошибся – соседка слева, пышногрудая блондинка с золотыми перстнями и менструальным выражением лица, всю дорогу прижималась к нему плечом и коленом и несла такую чушь, что придушить ее было бы истинным подарком прогрессу.

Нью-йоркская суета с множеством мелькающих женских ножек обычно вызывала у Дмитрия привкус металла и жженой пробки, но в этот раз Бродвей благоухал дешевой рисовой пудрой, производимой в начале века. Взяв на прокат белый форд, Дмитрий выпил за рулем стакан томатного сока за здоровье нью-йоркских прелестниц и помчался на северо-запад Коннектикута, где жила Мерил Стрип.

На следующее утро аспирант московского университета просил встречи у известной актрисы, ссылаясь на тему своей диссертации, исследующей типологическую разницу между мимикой современной женщины эпохи научно-технической революции и мимикой женщины девятнадцатого столетия. Письмо заканчивалось фразой, которая родилась у Дмитрия на рассвете, когда на подоконник распахнутого гостиничного окна сел воробей:

«Ваша игра в фильме «Женщина французского лейтенанта» доказывает, что Вы осознаете эту разницу и, стало быть, пытались проникнуть в мироощущение британской провинциалки прошлого века – Ваш опыт в этой области был бы бесценен для одного из Ваших преданнейших поклонников в России».

Сначала Дмитрия принял муж актрисы, Дональд Гамер. Дмитрий сразу же сказал, что питает платонические чувства к Мерил, и это превращает его работу над диссертацией в особый научный кайф, в котором сплетаются поиск и поклонение.

В лице Гамера появился отклик, и, стремясь углубить его, Дмитрий попросил показать ему скульптуры хозяина.

В мастерской Гамер окончательно стал Дональдом, и, наблюдая за тем, как он передвигается от одной вещи к другой, стараясь не съедать пространство вокруг них, Дмитрий понял, что актриса оценила в нем эту способность мягко высвобождать неповторимость объекта, не столько вмешиваясь в него, сколько создавая вокруг него среду, помогающую объекту обрести свой путь и способ общения с другими предметами.

Мерил появилась позже с двумя младшими дочерьми – она выразительно схватила установившуюся в мастерской мужскую солидарность, сморщила нос, и, встретившись с ее веселыми глазами, Дмитрий уже знал, что ему дали шанс.

Продолжая играть роль аспиранта, он появлялся каждый день, расспрашивал и записывал, наслаждался семейной непринужденностью – его тайная роль соглядастая в этом семейном кругу сопрягалась еще и с функцией бокового автомобильного зеркала: время от времени кто-нибудь из членов семьи непроизвольно бросал взгляд в его сторону, как бы сверяясь с общим течением дня или разговора.

Сейчас Дмитрий был летописцем зрелой женщины – иногда она бывала с ним жестко откровенна, словно испытывала на прочность его интерес к ней; с раздувающимися ноздрями охотника он следил за многоликим единством актрисы и

домохозяйки – за этим обликом, изменчиво-женственным и отшлифованным профессией, тоже скрывался охотник, но с другими повадками: он обольщал себя в жертву, но не исходящую кровью, а принимающую в объятия натиск, чтобы, слившись с его движением, усвистеть как можно дальше, на запретную территорию.

Она была умна до самой поверхности кожи, увядающей и хранящей глубину метаморфоз. Дмитрий полюбил в ней свою тоску по зрелости и не скрывал этого – лишь однажды она дала ему почувствовать, что растрогана, и то в присутствии Дональда, тем самым не отделяя мужа, а, наоборот, раскрывая и его, как нежный козырь в рукаве, дающий тайную власть.

И все-таки Дмитрию удалось улучшить момент – они остались вдвоем под яблоней, дети только что со смехом умчались, солнце плыло в тени и звенело. Мерил что-то сказала, и вдруг они невольно сбили друг друга с толку, чтобы выпасть и пронестись несколько мгновений вместе в крохотном ветре, поднявшемся среди листьев, – они были как бы беременны друг другом или сошли с ума по закону только что срезанного цветка – когда родился и умер язык отчаяния и невозможного, но несколько слов успели коснуться их губ, и это было богохульство запаха, получившего человеческое измерение, чтобы в конвульсиях выбросить украденное знание – здесь они не были людьми, бессмертие опалило их до воска, из которого могли бы лепить и муравей, и дыхание ствола.

Уже в Баия-Бланке, сидя в плетеном кресле и наслаждаясь прохладой сумрачного патио, Дмитрий вспомнил этот миг растворяющей близости с Мерил, и тут же крохотный ветер прошелестел у его левого виска – потом ему казалось, что сестры Гутьерес вошли с этим ветром или, по крайней мере, учуяли его истинную природу, во всяком случае, эти воинственные амазонки феминизма, с трудом переносящие мужской дух, приняли его достаточно любезно.

Они были вовлечены в яростное и не стоящее на одном месте, превращающее нежность в вид познания и выбрасывающее за пределы комфорта – здесь было опасно, и дух парил над водой, но, может быть, они сумели оставить в вечности царапину на двоих.

Они даже пригласили его на вечернюю прогулку верхом, и, когда за городом они пересели из машины на лошадей, Дмитрий замер – сестры стали хищно-красивы.

Они были его ровесницами, но их возраст измерялся древностью красноватой земли под копытами – их стремительная скачка была евангелием от женщины, самосотворенной раньше мужчины.

Дмитрий держался чуть сбоку, любясь их неистовой гордостью и прикидывая, что несколько веков назад их за просто сожгли бы на костре – теперь же они могут сходить с ума, отрешившись от мужиков и позволять себе роскошь быть смешными на фоне общей страсти к размножению.

Дмитрий пересекал одну из самых оживленных улиц Касабланки, направляясь к несравненной Рабаб, известной на всем северо-западном побережье Африки колдунье и гадалке, когда раздался телефонный звонок, и, перекрывая уличный шум, мрачный бас Джафара Аль-Шалуба попросил его срочно вылететь в Тунис.

Вечером, в косых лучах лимонного заката, Дмитрий вошел в белый зал, где Джафар обычно устраивал свои знаменитые пиры, и обнаружил, что компания в полном сборе – желтокожая мулатка исполняла танец живота, гости в расстегнутых до пупа сорочках пожирали ее глазами, лишь хозяин казался отрешенным.

Его седая курчавая голова источала сдержанную печаль над восточной пышностью застолья.

Дмитрий бесшумно подошел к нему сзади и поцеловал в плечо. Он любил в этом тучном потливом человеке необузданное распутство, граничившее с самоистреблением – в сексуальном смысле Джафар был афористичен, его глубине и лаконизму позавидовал бы Паскаль, он тоже испытывал

темный мистический ужас перед совокуплением, прозревая в нем смерть и распад, и доводил себя и женщину до эсхатологического оргазма – нет, он не садист, сказала одна из его случайных партнерш, которую Дмитрий застал в слезах на ширазском ковре, но после ночи с ним настает не утро, а какое-то странное время суток, в котором время идет не вперед, а назад, и ты не узнаешь себя, даже когда пытаешься умыться.

Джафар усадил Дмитрия рядом.

Они просидели бок о бок до полуночи, созерцая расцвет и непристойно-калейдоскопический закат пиршества, ели сочную баранину, сдобренную специями, и, когда в окнах зашелестел морской воздух, будничным голосом Джафар сказал, что неизбежное свершилось, он уже ни на что не способен.

Все они боялись пресыщения, зная его опустошающую силу; и каждый страховался как мог. Но не Джафар – нежный отец и преданный семьянин, он черпал в семье и щедро раздавал на стороне, уверенный, что все возвращается назад, в его плодоносящую, многодетную семью, он бросал свой арабский фатализм в лоно женщин, как в будущее, циклически выпадающее урожаем.

В полутьме зала, освещенного двенадцатью боковыми светильниками, Дмитрий разглядел Рамона, который бурно развлекался с платиновой блондинкой, – наивный секс катафатика, плутающего на поверхности плоти.

Дмитрий сочувственно сжал рукой колено Джафара – со всех сторон их обступали тяжелое прерывистое дыхание и вскрики, однообразный мотив раскачивал нутро, городская похоть Туниса сочилась сквозь стены, и бессилие хозяина придавало изощренным забавам особый привкус – Джафар был пустым центром, и его невидимые слезы обжигали русло, по которому неслась ночь, смешивая сперму и звезды, обнажая и свидетельствуя.

Еще два дня они провели вместе, удалившись от всех. Временами Дмитрий замирал от восхищения, наблюдая, как

корчится дух Джафара в попытках отречься и воспарить – метаморфоза свершалась скорбно, как отступление из рая, предательство и удар в спину.

Дмитрий служил сообщником, ибо Джафар не знал причину его воздержания – Дмитрий был лаконичной лестью судьбы, которая вовремя развертывала великолепную ретроспективу побед, а потом рассыпалась цепью камней, указывающих еле заметный путь к шатру и мудрости.

– Можешь уезжать, – сказал наконец Джафар, щурясь как от яркого солнца, – передо мной закрыли дверь, но стало светлее, я прошел по твоей границе, ты из тех, кто отдаст последнего верблюда, уезжай – я пущу мою боль по твоим следам...

Дмитрий уехал, пряча лицо от посторонних и понукая время – в Патры он прилетел ранним утром, влажным от росы и продающихся в аэропорту анемонов, и взял такси, через 40 минут езды по пыльному шоссе он стоял перед ажурной решеткой ворот и смотрел, как к нему по дорожке идет молодая дама с сухими щиколотками кавалергарда, похолодевшим позвоночником он ощутил всю глубину ее давней фразы, что нагота сквозь одежду значительнее, чем нагота де-факто, она утонченнее и отдает архаикой, в ней живет дерзость жемчужины, только ожидающей света, но не делающей первого шага, и прикусил губу – ради этого мгновения он полтора года не прикасался к женщинам.

Потом они завтракали на террасе – дом, выстроенный ее дедом, выдвигал полукруглую террасу подобием недреманного хозяйского ока, отсюда просматривался и сад, и ближайшие подступы, и пятнисто-фиолетовые от бегущих облаков холмы.

Сдержанно и с учтивой усмешкой Дмитрий заметил, что внешность хозяйки стала иной; пожалуй, более неуловимой, добавил он, следя краем глаза за тем, как ее подвижный рот меняет причину и освещенность лица, вытесняя настроение в выпуклую тяжесть подбородка.

Да, ответила она, мальчишески отфутболивая ему усмешку, с возрастом красота обрастает подробностями и ритуалом, приходится счищать ракушки, отправлять главных действующих лиц в путешествие и вообще профессионально заниматься шантажом, чтобы не внешность диктовала тебе свои условия, а ты ей.

Слова уже канули в вечность, но язвительное «красота» еще удерживалось между ними – она не только выделила его интонацией, но как бы подцепила взглядом, как вилкой, и демонстрировала его абсурдность.

Дмитрий вспомнил, как в первые часы их знакомства в одном из многоязычных кафе Коринфа она молча издевалась над его внешностью патентованного красавца – мощный торс пловца, черные брови и ровный загар под гривой пшеничного оттенка, породистые уши, все это прошло испытание насмешкой и утеряло свою значимость, вынудив его тут же, на ходу, обучаться поражению как новой тактике.

Он никогда не мог понять, красива ли она сама хотя бы в общепринятом смысле.

Неудержимость и извилистые ходы ее мимики оставляли его где-нибудь на полпути, в зарослях, и он топтался на месте, раздвигая ветки, а она уже окликала его с другой стороны; ее познавательные и психические процессы явно перекрывали его собственную плоскость и свешивались по ее краям, дразня ощущением иного объема и более насыщенного, действенного света.

Ее тело и кожа были предельно диалогичны – они встречали даже в отношения между столом и скатертью, между окном и трепещущей в углу тенью, и в тех случаях, когда она позволяла увлечь себя в постель, Дмитрий улавливал, как ее страсть и целомудрие ищут на стороне, вовлекая и его самого, словно и его кожу и мышечное пространство она использовала для поиска – однажды, вынырнув на миг из блаженного провала и увидев даже не зрительным нервом, а ослепленностью белков ее изогнувшееся влажное тело, он

изнемог от пронзительной близости с сумерками, которые спускались с холмов и таили растворяющуюся среди деревьев истому, охватившую их обоих, чтобы швырнуть их под открытое небо – совсем для других игр.

Она подлила ему цейлонского чая, переставила блюдо с чуть недозревшей клубникой, спросила, не встречал ли он их общих знакомых.

Роль хозяйки ниспадала с нее складками, струение церемонии вдоль тела.

Дмитрий усмехнулся, зная суровую простоту ее утренних бдений – так дорический ордер противостоит легкомыслию паутины и пьяного разгула. Он встал из-за стола и отошел к перилам, закрывшись от нее спиной, – спешить было некуда, все, что могло произойти, уже случилось в ее присутствии.

В атмосфере дома и сада витал его незримый соперник – ее дед, которого русская революция безусым мальчиком выплеснула на греческий берег, он говорил, что вторая родовая травма оказалась мучительнее первой – к околплодной среде он не успел привязаться так пылко, как к усадьбе и родителям.

В ее рассказах дед был сродни Пану – жилистое проказливое существо с утонченным могуществом глазных яблок; он продавал швейные машинки, вечные перья и прочий ширпотреб, оставаясь аристократом быта и привычек и неутомимо создавая свою Элладу – сначала для себя самого, он был равнодушен к сыну, ставшему кадровым офицером, а потом и для внучки – он гулял с ней летними ночами, когда даже листья источают зной, и воскрешал давние времена; однажды она проделала это с Дмитрием, заставив его сбросить одежду на лужайке между темнеющими кипарисами и выполнить несколько гимнастических упражнений, она отбивала нарастающий ритм ладонями и гортанно вскрикивала – Дмитрий быстро потерял ориентацию от резких движений и темноты и, когда из него вышел юный грек-курор, знающий свое место в свите Диониса, он поспешил за ним само-

забвенно, догадываясь, что она уже скользит где-нибудь в толпе, взбирающейся на холм, к святилищу.

Дед хотел жить в ее памяти до конца ее дней – он так любил бодрствовать, что готовил себе вторую жизнь в существовании быстро взрослеющей девочки, стремясь заполнить собою даже укромные места – только теперь я понимаю, обронила она как-то, что он вторгался недопустимо, он пытался привить к моему корню свое дерево, это был эгоизм олимпийца, вззирающего сверху.

Прислушиваясь к тому, как она убирает со стола, Дмитрий ревновал – этот чертов дед дал ей столь многое, что ограничил свободу маневра для других; он научил ее отжимать вино даже из смерти – когда он подышал от уремии, она привела из деревни давно приглянувшуюся ему девчонку и попросила ее раздеться у его постели – он умер с ароматом юношеской плоти в зрачках.

От него же она унаследовала умение пронизать чужое пространство и исчезнуть, заставив работать на себя ноющую пустоту, – Дмитрий чертыхнулся, только сейчас до него дошло, что эти полтора года без нее были не столько испытанием, сколько филигранной проработкой его способности изменяться.

Дмитрий обернулся – на столе осталось лишь фаянсовое блюдо, на котором она разрезала яблоко.

Его всегда поражала ее манера как бы вытряхивать из рукава очный трепет реальности – откровенность яблока, распаханного на четыре дольки, била по нервам, это яблоко было китайцем, выглянувшим из древней культуры, чтобыдохнуть жутью и глянцевым блеском скул.

– Ксения, – позвал он, ужасаясь звуку своего голоса.

Она подняла голову – вокруг бродила невидимая судьба женщины, кипел лукавый праздник, гнездящийся в ложбинке ее ключицы, центр мира сместился к ее ногам, как утреннее воплощение бессонницы; Дмитрий вздохнул, выманивая ее лицо из прирученного ею воздуха террасы, и

эволюционно молодой вид секса – ласка взглядом – оплавил его: серо-крапчатые глаза отдали ему власть над собой, чтобы растронжировать ее в плотском бесстыдстве расстояния, яростно сводящего счеты с телом и нарастающим сопротивлением дня.

Потом она уехала в Патры, в свое рекламное агентство, и вернулась лишь к пяти вечера – сдержанно-элегантная, деловая женщина, ценящая чужое и свое время; но пока она шла от автомобиля к ступеням дома, опустилась эпоха винограда и ягодичной мышцы, брошенной в бег.

После ужина они двинулись знакомой тропой среди олив, мимо старого полузаброшенного кладбища, она споткнулась, Дмитрий поддержал ее и ощутил чуткость локтя, скользнувшего в древнегреческую эпиграмму, чтобы опереться на мрамор надгробья и пружинисто вернуться на тропу.

И, когда они уже стояли на вершине поросшего мелким кустарником холма, на том самом месте, откуда она отослала его позапрошлой осенью, Дмитрий нечаянно отступил в сумеречный угол зрения – перед ним в три четверти оборота дышала женщина-статуя, молодая волчица; если убрать ее голову или лишит руки, она ничего не потеряет, и, может быть, наоборот, ее воздействие усилится и подскажет, кто же она в действительности.

Сейчас она работала на него – она даже сдвинула себя вбок, утяжелив зависимость от вечерних теней, и Дмитрий не столько понял, сколько вырвался в то, что в ее сознании его жизнь трагичнее и плодоноснее, чем в его собственной версии, и ему придется рыть землю носом, чтобы освоить предложенный ему риск – метрах в семи, на боковой тропинке, промелькнула сутулая спина убегающего мастера, оставленного ему таитянкой, и Дмитрий вздрогнул, заметив, как на ходу мастер повернул к нему лицо и подмигнул левым глазом.

Декабрь, 1999

АДЫГСКАЯ КОЛЕСНИЦА В ВЕЧЕРНЕМ ОСВЕЩЕНИИ

Рассказ

В ноябрьской темноте она привела меня к дому, в котором когда-то жила и который продала после смерти брата. Дом был одноэтажный, с мезонином и прилегающим садом, фасад его с ощутимым восточным акцентом раздваивался в скудном мерцающем освещении на обычное человеческое жилье и нечто обособленное, самостоятельное, скользящее вдоль судьбы своих хозяев.

Это было в тон и к месту, потому что создавало меняющийся, до конца не просматриваемый фон, на котором ей самой было вольготнее в моих глазах. В ту поездку мы пробыли в Майкопе несколько дней, и город остался в памяти пересечением прямых улиц и крутым обрывом над рекой Белой. В этом была прелесть неполноты, позволяющая домысливать в любых направлениях и ракурсах, пестрая свобода калейдоскопа, правда, в рамках, заданных взмахом черкесской сабли.

Ее отец, адыгский дворянин Салих Абредж, воевал в войсках Деникина, когда был красив первой быстроуходящей молодостью, а зрелую часть своей жизни провел колхозником в ауле Пшизов, не умея читать и писать, что не мешало ему свободно изливать свою мудрость и красноречие. Он держал овец и возделывал сорок пять соток не очень плодородной земли, абрикосы в его саду были величиной с кулак четырнадцатилетней девочки, а запах их возносился к небу, как дым жертвоприношения, что в известной мере и соответствовало действительности, потому что работал он, как будто отдавал лучшую часть себя.

От нее я впервые узнала, что адыги – это те же черкесы. И тогда черкесы прямо из романтической традиции русской

классики въехали в советский период истории, и брешь в моем личном кавказоведении, по-дилетантски легкомысленном, начала заполняться возгласами газавата. От «Кавказ подо мною» до «Хаджи Мурата» расстояние, как от первой влюбленности до горького неразлучного единоборства, но мы-то оставляем себе романтическое, скачущее, со смуглым обветренным лицом, и Печорин, возможно, именно потому обольстительнее светски-столичного Евгения, что накладывается на мчащийся облик дикого горца, придающего его городской посадке глубину естественного движения.

Вырасти на абхазском побережье, не будучи потомком местных племен, упоминаемых еще в надписях ассирийского царя Тигратпаласара (всего-то двенадцатый век до н. э., именно в этот отрезок архаического времени неугомонные греки осаждали Трою, в которой на солнцепеке сидела Кассандра и видела вперед – прошлое неслоь на нее, как пламя на мотылька, и она знала, что никто не верит в этот прозреваемый поток; кстати, неясно, до каких временных пределов доходил ее дар прорицательницы, дотягивался ли ее взгляд до нас, различала ли она хотя бы общие контуры грядущего или ограничивалась проблемами родной цивилизации, обобщая малоазийскую суть до пронзительного женского вопля над пепелищем; во всяком случае, присутствие этой несчастной придает средиземноморскому ареалу привкус человеческой слабости, вытекающей из дара) – вырасти в привнесенной сюда атмосфере другой культуры и традиций, сочетая ее с морским и солнечным воздействием, с вечнозеленой уравновешенностью растений. Это извечное смешение всего и вся, постоянные попытки выдуть новое из материала *homo sapiens* – дало результат довольно любопытный. Кавказ уже в крови, в наслаждении познавать кожей, но славянский прищур европейского стремления к чуткости и неопределенности. Бог не со мной, но в наших рядах, как мог бы сказать фракиец, держа равнение в римской фаланге и лукавя с человечеством, как с превосходящей воображение массой.

Познакомившись летом 89-го, мы представляли собой встречу двух вариантов современной биографии – она выросла в своей изначальной этнической среде, на земле своих предков, в жесткой узде традиций. Было общее – после окончания школ мы учились в крупных городах, но и здесь нас размежевал антагонизм двух столиц, их ревность к неофитам: она окунулась в торжественную геометрию Ленинграда, а я осваивала уютный московский бардак. Опережая взаимное узнавание – ее стихийность не умерилась рассчитанным петербургским мрамором, а мой черноморский влажный рационализм лишь возмужал в арбатских переулках.

Тяжесть ее судьбы не для постороннего уха. Достаточно упомянуть, что в середине 80-х она очутилась здесь в состоянии глубокой задумчивости; время исцеляет многих, но для нее прошлое обладает цепкой реальностью происходящего сейчас – такова сила ее психики, заставляющая любую далекую мелочь всплывать с подлинностью рыбы. И сухумская атмосфера чувственно-морского кейфа оставалась для нее экзотикой, как неподвижный взгляд гогеновских таитянок.

Однажды мы шли с ней по набережной, август множился, как зеркальный ряд, и сумеречная дымка только начинала проступать над горизонтом. Я пыталась незаметно подвести ее к соблазну – двигаться в вечернем летоисчислении, отдаваясь воздушному равновесию между водой и сушей, то есть усвоить азбуку приморского существования. И вдруг она сказала:

– А в лесу хорошо, в детстве я всегда убегала в лес, когда меня обижали.

Видимо, язык побережья для нее чрезмерен, как вообще чрезмерна аффектированная южная речь.

Поднявшись на второй этаж надводной кофейни, мы заняли крайний столик с видом на большую часть залива. Напротив заканчивала швартовку «Колхида», на которой должен был прибыть мой давний московский приятель. Мы не виделись уже несколько лет, о своем прибытии он известил меня щегольской открыткой голландского производства.

Как всегда, время встречи было указано с точностью до минуты. Тема беседы обычно продумывается им заранее, в этом отношении он пижон – каждое свидание должно быть «с иголки». До его появления оставалось девять с половиной минут.

– Закажем кофе, когда он появится, – сказала я.

Она кивнула.

«Колхида» могла бы прийти с опозданием, однако репутация моего пунктуального друга опять подтверждалась. Думаю, что он не обольщается насчет особой благосклонности судьбы, но умело пользуется ее малыми милостями.

На одну четверть – осетин, на две восьмых – немец и украинец, в оставшейся половине своей крови, по преимуществу русской, он – в зависимости от настроения – находит то татарскую неукротимость, то славянскую мечтательность, перебирая все возможности и развлекаясь с пользой для собственного утверждения, что человек более подвижен и гибок, чем его обстоятельства. Выбрав конец лета для круиза, наверняка он барственно тиражирует свой оптимум в каждом порту, соизмеряя с рельефом и другими местными особенностями.

Наконец он появился в начале террасы и быстро нашел нас взглядом. Вечерний наплыв посетителей освежал кофейню как роса, и лавирующий между столиками блюститель точности смотрелся, как маятник, раскачивающий житейскую потребность скоротать вечер в уюте.

Я представила их друг другу: Борис – Гильда.

– Какое монументальное имя, – произнес он со вкусом и устроился поудобнее на колченогом стуле. – Очень подходит вам. В нем есть черный цвет, когда не видно ни зги, и тяжесть пирамиды.

Умный человек украшает наш быт не хуже западного дизайнера. Нужно знать ее бледное крупное лицо, чтобы оценить меткость его слов – глаз черный, живой и грустный (сейчас передо мной ее профиль на фоне зеленовато-серого в матовый очерк залива), глаз существа, знающего изнанку жизни

как свои пять пальцев, умеющего переносить боль, как переносят на большие расстояния тяжести, и скалистая неподвижность черт, да и вся голова крупная, с мощным круглым затылком и черными выющимися волосами, в которых порывистая седина.

– А у вас внешность значительная, но вы ее опережаете почему-то... – своим низким голосом она опрокинула ему фразу на колени, как стакан с водой.

Я отправилась за кофе в слегка скучающую очередь. Впереди меня один из завсегдатаев, лысеющий субъект в джинсах на рыхлом заду, видимо, непристойности возбуждают его больше, чем голое женское мясо, шутки, отпускаемые им спутнику, на уровне подростка, подсматривающего в щелку. А на горизонте прорезалась салатная полоса с устричным отблеском, привычный закатный изыск, к хорошей погоде. Если рассматривать пошлость как разновидность онанизма, пропущенную через мировоззренческий фонтан, углубляешься в дебри милосердия – солнце светит всем, но уши все равно вянут.

Три чашки кофе и плитка шоколада на тарелке с голубой каемочкой. Борис любит шоколад, в еде он приверженец барочного стиля. Шоколад с его темным великолепием будет в самую точку.

– Прошу вас, – расставляю дымящиеся чашки и вписываюсь в общество, как окно в фасад.

Гильда курит, Борис протягивает мне презент – изящный томик Гарсиа Лорки в черном переплете, сразу пахнет лимонами, жасмином и запекшейся кровью на желтом песке.

– Спасибо... Как твой морской вояж?

– Очень мило. Четырехместная каюта и ненавязчивые соседи.

Гильда опять в задумчивости. Словно нет ни нас, ни вечернего сборища праздно сидящих и проговаривающих себя вслух. Не уверена, что она осязает время суток внешней оболочкой своего существа, надо выяснить на досуге. Скорее, сейчас очередное время Абредж, когда она добровольно схо-

дит в прошлое, оставляя наверху поплавок своего присутствия.

Борис перехватывает мой взгляд и ломает шоколад на равные шесть долек. Тарелка подвигается к Гильде.

– Ваш кофе остывает.

Она смотрит на него, потом припоминает, где она, и смущается, как будто ей снова пять природных лет, эта способность смущаться с силой и свежестью нетронутого человека, до опущенных глаз и робкого движения в области рта, каждый раз сбивает с ног. Борис сокрушен.

– Вы неотразимы, – говорит он и хохочет. – Я как в лесу побывал, – добавляет он с нежностью.

За его спиной «Колхида», на которой зажглись несколько иллюминаторов, и залив, отражающий не прямой свет – поверхность моря сейчас светлее, чем чистое сумеречное небо. Пожалуй, Гильда права – быстрое внимание, которым Борис встречает нового знакомого, и создает впечатление того, что он впереди своей внешности на целую ладонь. А вообще-то редко кто умеет так владеть своей внешностью, как владеет он, обыгрывая неуловимость своего типажа. С виду он европеец – манера держаться, четкая артикуляция, уравновешенно-мягкие пропорции лица. И смуглость видится неброским загаром часто бывающего на природе горожанина. До тех пор, пока собеседник не пережмет, пусть даже невольно и малозаметно, в сторону европоцентризма, тут Восток взбрыкивает – проступают скулы, кожа натягивается и отликает глянцем, и насмешливый взгляд наездника, привыкшего видеть происходящее с высоты скакуна, определяет дистанцию разговора. С той же легкостью и грацией космополита, привыкшего к разноголосице своих кровей, щелкает по носу и азиатской гордыне – рафинированный европеец демонстрирует свой политес и прикалывает демократию, как черную бабочку, к застегнутому вороту рубашки. Своим протеизмом он борется за чувство меры.

Из глубины бухты начинается слабый ветер, залив пустынен, пограничный режим лишает нас удовольствия ло-

дочных прогулок после восьми часов вечера, а потому и никаких ночных затей на воде.

– На берегу теплее, чем на борту, – Борис откидывается на спинку стула. – Такое ощущение, что вы нежитесь в этом воздухе целыми сутками, и больше вам ничего и не нужно.

– А ничего и не нужно, – подтверждает Гильда, закуривая следующую сигарету.

– Ты хоть здесь подыши свежим воздухом, а не этой гадостью, – говорю я ей.

Она отмахивается.

– А что еще нужно? – возвращается она к Борису.

– Ничего, – соглашается Борис с улыбкой. – Мне сейчас тоже ничего не нужно.

– Твое обычное состояние, – пожимаю я плечами, – если верить твоим декларациям...

– Не задирайся, – он благодушен, как человек, обеими ягодицами сидящий на вершине успеха. – Я начал склоняться к твоей теории неторопливости.

– Это не моя теория.

– Неважно, в данном случае ты ее представляешь.

– Я просто не тороплюсь.

Он усмехается, еще одно интервью в тенистых садах Семирамиды, мы слишком давно знаем друг друга, чтобы препираться более двух минут.

Если хорошенько выспаться днем, в самую жару, зная, что вечером будет нечто интересное, спать в полной знойной свободе, ощущая бег времени в себя, как в мастерскую, где со знанием дела используют любую мелочь, спать не по необходимости, а с царской роскошью накопить, добыть – там же происходит столько всего, что не успеваешь влюбиться до беспамятства, как уже падаешь с лестницы и видишь розового паука, от кого-то убегаешь и помнишь что-то очень важное, а потом стреляешь из пистолета, и выясняется, что все хотят одного и того же, статуя поднимает руку, комнаты налезает одна на другую, и твой двойник действует не по поручению, и опять тебе сообщают что-то мучительно важ-

ное, свидание откладывается, как золотой век, ты едешь в троллейбусе, а потом в кадиллаке, не зная, как им управлять, но с грехом пополам едешь, и знаешь, что все будет хорошо, хотя тебе все равно, потому что нестерпимо, хочется положить голову на чье-то плечо – вот тут надо проснуться. Но не окончательно, а хорошенько встряхнуться во сне и пытаться угадать, чье это плечо, и идти по улице, совершенно безлюдной, бабочки в таком количестве попадают только в альбомах, одиночество такое просторное, что можно рехнуться от счастья, а по его краям голоса и путешествия, но кому-то нужно помочь, кто эти люди, скрывающие в своей толпе одного, а из-за угла делают знаки: быстрее, быстрее, и ты уже обгоняешь большинство, и фонари мелькают, как забор, а тебя ждут уже так давно, что перехватывает горло – тут уже просто просыпаешься, медленно смакуя реальность, как скользящее побережье и богатое подробностями медоносное дупло. Лицо отдохнуло и требует общения, а в теле запас сил на постройку Ноева ковчега. В таком состоянии надо выходить к близким.

Вот и сижу в кофейне. Рядом два подарка судьбы, и моя открытость, как дружеский сквозняк на веранде.

– Вы бывали в Москве? – спрашивает Борис.

Гильда кивает.

– Держу пари, что на вас везде обращают внимание.

– Обращают почему-то, – медленно соглашается она, – хотя я очень спокойная и чаще молчу.

– Наверное, поэтому, – опять улыбается он.

– А вы по крови кавказец?

– Немного есть. Прадед из Орджоникидзе.

Она закуривает четвертую сигарету:

– Осетины – горячий народ. Эта кровь загорбила вам нос и осела в плечах.

Борис молчит, он умелец мелкой пластики, из неответа собеседнику может выжать прогулку под луной или попытки самосовершенствования, упакованные по принципу ма-

трешки, но пространственный текст можно читать и вверх ногами, почему бы не порезвиться.

– Сзади тебя красивая женщина, – лениво замечаю я.

Оба машинально оборачиваются на соседний столик, за которым двое мужчин потрепанной наружности, наружность практически одна на двоих, белые сорочки не первой свежести, расстегнутые на три верхних пуговицы, волосатые груди, как визитная карточка мужественности, золотые перстни и громкая речь, как зеленоватые осколки бутылочного стекла на тротуаре.

– Ушла уже, – добавляю я.

Теперь Гильда хохочет, а Борис отдыхает в ее смехе. Хохочет она роскошно – целиком, могучий человеческий смех, в котором она живет и бросает камни, по-хорошему бросает, чтобы отвести душу и облегчить свою силу. Ее отец, когда-то побеждавший соперников на арене Армавирского цирка, передал свою силу борца и незаурядного пешехода всем пятерым детям. В детстве она хаживала с ним по 40 км в одну сторону. А кормил он детей козьим жиром с медом, абрикосами и домашней сметаной, от чего их кости и мышцы жили повадками вольного зверя, медведя или тура, которые берут кислород через пищу, через движение, не полагаясь только на легкие.

– А вы крепкая, – говорит Борис с уважением. – Чтобы так смеяться, надо иметь богатырские легкие. Хорошо смеется. Даже зависть берет, Как будто в водопад бросаетесь.

Собственно, она и есть водопад, только в человеческом варианте, это начало доходить до меня на третьем месяце знакомства. Полнокровный девятнадцатый век Кавказа – независимость до упора, темперамент стихии и рыцарский кодекс дружбы. Нужно будет прыгнуть вместо меня в пропасть, и она прыгнет быстрее, чем я успею остановить хотя бы жестом. Эта жертвенность дружбе так абсолютна и беспомощна, что стоишь перед нею, как цивилизованный дурак, умудренный рефлексией.

– На той неделе, – я даю Борису возможность прикоснуться к живому мифологическому существу, он один из немногих, кто способен оценить и откликнуться, как эхо как ландшафт, – она притащила из гумского ущелья двадцатидвухкилограммовый камень. Надо было полчаса подниматься с ним вверх по довольно крутой тропе, а она еще внизу поранила пятку об острый камень. Но камень действительно красивый, со дна древнего моря, ему не менее 80 млн. лет.

Большинству мужиков было бы неловко в присутствии дамы, прогуливающейся по горам с такой ношей, превосходство в физической силе до сих пор одна из благоуханнейших подземных рек джентельменства.

– Вы долго занимались спортом или это от природы такая мощь? – его интерес неподделен и чист как молодой чеснок; держу пари, он уже очарован и жаждет подробностей.

– Это от папы, – застенчиво говорит она, – он был очень сильный. И потом, когда я жила в Ленинграде, я два года занималась лыжами и метанием диска.

– Ну, спорт – это пустяки, здесь другое, – возражаю я. – Она уникально одарена на клеточном уровне. Она сидит на кофе и сигаретах, ни черта не ест, мало двигается, и тем не менее сильна, как тяжелоатлет. Однажды она поранила ногу, рана была глубокая, выше лодыжки, и кровь просто хлестала. Я никогда не видела такой красивой крови – здоровая, выпуклая, блестящего красного цвета, она просто играла, эта кровь.

– Да, мне всегда говорили, когда брали кровь, что кровь у меня красивая, – соглашается она с естественностью ребенка, для которого произнесение слов так же значимо, как хождение за три моря.

И рана затягивалась буквально у меня на глазах, как будто клетки тянулись друг к другу. У меня было ощущение, что я присутствую при живом физиологическом процессе. То есть плоть не скрывала своей энергии.

Борис хорош в эту минуту – он внимателен, словно идет по следу, и в то же время наслаждается скользящей непри-

метностью вечера, ему так комфортно, что он может позволить себе полузакрытые глаза без боязни, что его сочтут невежливым. А вечер зреет, как поздний виноград, без усилий и с той дразнящей зрачок лиловостью, которая мельтешит по глянцевої поверхности, как рассеянный солнечный свет.

– Интересно, – говорит он, – и неожиданно, словно современный слой срезали бритвой, и проступило что-то древнее, неукротимое, неподдающееся логической шлифовке.

Он прав, хотя и ощутил это из вторых рук, с моей эмоциональной подачи, но он достаточно опытен, чтобы выйти на основное даже по случайному отблеску.

– Наверное, это здорово, – ощущать в себе такое здоровье? – спрашивает он, любясь ею, как триумфальной аркой человеческого великолепия.

Она хмыкает:

– От здоровья остались одни мемуары. В десяти томах.

Она в черной, несмотря на жару, юбке и пестрой блузке без рукавов, остальной летний гардероб в течение последних лет рассредоточился по знакомым и квартирам. Из сопутствующих вещей в полной сохранности только чудики, так она называет свою «деревянную публику» – вырезанные из коряг животные, люди и абстрактные формы, превращающие ее нынешнюю однокомнатную квартиру в вольный закуток лесного начала.

Дерево она обрабатывает с кажущейся легкостью, даже самшит уступает ее напору с вязкостью плохо перемешанной глины. В такие минуты я завидую ее силе белой завистью, которая подобна распускающейся розе – она отдает аромат. Белая зависть – это признание заслуг. Хотелось бы хоть однажды познать сопротивление материала с такой же силой, обычно познаешь только первую ступень сопротивления, на которую и садишься в усталости.

– Во всяком случае, – осторожно говорит Борис, – вы похожи на человека, которому есть о чем писать мемуары.

– Да, – она в очередной паузе отрешения, – я же, как натуральное хозяйство, все при мне...

В смеющемся взгляде Бориса удовольствие напоминает обширный луг – броди, где хочешь. Времени мы даром не тратим, само время колыхается у наших носов, как подвижная линза, меняющая углы зрения – от анфаса к профилю и от сиюминутной прелести к тростниковым загулам прошлого.

– Легкая зарисовка из последнего тома, – с улыбкой начинаю я. – Это в нескольких кварталах отсюда. Тоже было под вечер, но малоллюдно. Идем мы с ней и видим, как какой-то мерзавец гоняется с ножом за женщиной вокруг «жигулей». Нож довольно солидный, запросто можно уложить им на месте. Мы к ним, он нас посылает подальше, женщина выскакивает на газон и петляет между деревьями, он за ней. Надо его как-то отвлечь, говорит Гильда, переключить его внимание. Хорошо бы перевернуть машину, предлагаю я, ему бы сразу полегчало. Гильда идет к машине, поворачивается к ней спиной и приседает на корточки. Тут я понимаю, что могу опоздать к такому замечательному делу, и подхожу. Но она с четвертой раскачки уже подняла ее настолько, что моя помощь была чисто символической – машина брякнулась набок в скромную канаву и закачалась.

– А этот мерзавец? – спрашивает Борис со смехом.

– Он так обалдел, что замер на месте. Потом бросил нож, подбежал к Гильде и начал хватать ее за руки. Мы сначала не поняли, чего он хочет. Оказалось, что он пришел в такой восторг, что хотел поцеловать ей руки.

– Ну и..?

А я ему сказала: «Целуйте руки той, за которой с ножом бегали». А потом мы ушли, но я все время оглядывалась, мало ли что ему в голову взбредет, он еще от ножа не остыл, – смущенно объясняет Гильда, и в ее глубоком звучном голосе отдаленный дружеский упрек, что я рассказываю подобную историю постороннему мужчине.

В кавказской системе воспитания мужчина – это все еще что-то особенное, и хотя жизнь давно подвела Гильду к равенству полов перед общим хаосом, усвоенное в детстве присутствует, как высокий гость, с которым неловко спорить.

Кстати, от мужской значимости – к женской внешности: с первого взгляда не скажешь, что эта черноволосая женщина с классическим ростом Венеры (164 см) способна перевернуть шикарные вишневые «жигули». Она производит впечатление крепкой, но на фоне нынешних спортсменов, не говоря уже о культуристках с их широкими плечами и гипертрофированной мускулатурой, она смотрится уютной задумчивой любительницей походного образа жизни.

Хотя в торжественных случаях, когда перед зеркалом проводится добрых полчаса, можно предположить и другое: респектабельная городская дама, явно из состоятельной семьи, оказывает вам честь своим чуть отстраненным вниманием, макияж естественен, и дворянская кровь строго смотрит издали, правда, при первом же проблеске улыбки из этого дамского оформления смущенно выходит человек, чья жизненная реальность, присутствие чрезвычайны – она умудряется принимать каждое мгновение с такой серьезностью и существовать в нем с такой степенью отдачи, что мое собственное нахождение в жизни временами кажется мне имитацией.

Я впервые сталкиваюсь с подобным, хотя и наслаждаюсь людьми с детства. Если следовать современной склонности к навешиванию наукоподобных ярлыков, то я хомоголик (по типу – уоркоголик). Что такое рюмка вина в сравнении с глотком человеческой прелести – человек человеку друг, исторический казус и начавшийся когда-нибудь дождь, ослепительно сильный, уходящий в пространство, как в монастырь. Сначала всегда лицо. Сначала лицо черт – потом лицо выражения, мимики. А мимика – это способ существования, вынесенный на вывеску, на сцену. Иногда в чьей-нибудь мимике проводишь медовый месяц и забираешься в глушь, где над геранью плавают тихий шепот и пахнет домотканой одеждой. Иногда же – метешь метлой, и рот раздирает лошадиная зевота. Самое же великолепное – когда лицо проработано, как страна, как иноземное государство, по законам которого ты учишься жить и путешествовать, где за углом

тебя может ожидать сюрприз или вызов, где ты бродишь в качестве карманного зеркала, а на самом деле занимаешься жизнеописанием.

И вся прелесть мимики в ее неуловимости – была и нет. Такой номер, как пусть роза сорвана, она еще цветет, с мимикой не проходит. И целовать мимику сложнее, чем человека. Зато человек основательнее, хотя заставить его цельность так же трудно, как сфотографировать внимание общества к личности.

Мое чувство прекрасного антропоцентрично. Все – от эпохальных открытий до жестяной урны – пронизано человеческими отношениями. И эта терраса кофейни – лишь рукопожатие двух завсегдатаев или небрежная походка бездельника, ошивающегося на набережной часами. Или то другое, как грипп, состояние, когда залив и город взаимно соскальзывают в тебя, и сидишь неотразимым перекрестком, по которому планируют во всех направлениях цивилизации и надменные профили цезарианцев и местных кикелок.

И эти двое напротив – обоим хорошо за сорок, крепкие, прошедшие огонь и воду, а из медных труб сделавшие сувениры, – сейчас явственны до ломоты в глазах; пока они обсуждают преимущества босой, дышащей ступни перед обутой, я предаюсь созерцанию: Борис богат расстоянием и точностью мотивировок, за его спиной живет фехтовальщик, ленивый и фатоватый мастер выпадов, который ждет, а не ищет достойного противника, а Гильда – это очень основательная вещь в себе, человек в себе, как вода в озере, то, как она существует, сам ее жизненный процесс человеческого в окружающей среде – завораживает монументальностью форм: каждая отдельная эмоция словно впервые, премьера с цветами и овациями, Рубикон, патент на настоящее, в которое она залезает с ногами. Природа создала ее для экстремальных случаев, когда человек должен быть задействован полностью, без остатка, а повседневная жизнь тесна ей, как дождевая лужа – глиссеру.

Темнота проступила, прогнулась вместе со вспыхнувшей над столиком лампой; окружающее чуть отодвинулось, хотя многоголосый фон по-прежнему съедал значительную часть пространства.

– Ты помнишь Шоколадного Леву? – спрашивает Борис. – Уехал этой весной. Вдруг заскучал, засуетился. Теперь осел в Канаде, там много наших. Еще ни одного письма, питаюсь слухами. Он единственный из уехавших, кого мне действительно не хватает. Так он был молчалив и в то же время открыт, без дураков гостеприимен нутром.

– Я уже лет восемь его не видела, – прикидываю я. – Он, наверное, и уехал так же молча, никого не предупредив?

– Да, почти так, – рассеянно подтверждает Борис. – Какие у вас вечера, так и тянет на сиропную лирику. Даже узкий лунный серп прорезался. Остается ждать незнакомку, или бегущую по волнам, или что-нибудь еще – трепетное, ускользающее...

– Незнакомку не надо, – говорит Гильда. – Слишком женщиноватая.

– Да уж, уволь, пожалуйста, – морщусь я, – и так от кичухи деваться некуда, а ты еще нагромождаешь. Скажи лучше, что просто хорошо, по-природному, а не по-курортному. И не надо делать из луны салонную деталь, луна естественная и дикая. Плевать на нас хотела.

– Сдаюсь, – Борис усмехается. – Какая рьяная защита своего. И все-таки, согласишься, южный курортный стереотип не упал сверху. Он лежит на поверхности, и не заметить его трудно.

Я пожимаю плечами:

– Ты же в Москве не ждешь от меня откровений типа «большой город порождает отчуждение между людьми». И с каких пор ты подбираешь то, что лежит на поверхности?

– Это наш гость, – кротко замечает Гильда. – Нельзя говорить гостю такие вещи.

– Хорошо, – соглашаюсь я. – Наш дорогой гость, прибывший по воде и скоро отбывающий тем же путем, чем тебя еще порадовать? Может быть, стакан соку?

Борис качает головой.

– Под вашей защитой, – обращается он к Гильде, – я чувствую себя неприкосновенным, как яблоки Гесперид.

Взрыв и раскат смеха с соседних столиков, на нас оглядываются.

– Нет, я балдею, – говорит Борис, распустив лицо как шнуровку. – Она смеется, как будто живет. Прямо особый гильдический смех.

Новый смеховой раскат, неудержимо утягивающий нас обоих за собой. Но на фоне ее природного дара наши жалкие потуги, как карикатура – сразу видны хилые городские жители с зажатым внутри голосом. Если она марафонец смеха, то мы спринтеры-новички, обессиливающие на первом же повороте.

– Ха-ха, – выдыхает последнюю порцию Борис, – это заменяет целое приключение. Вы можете заменить собою бюро путешествий и экскурсий. Десять минут смеха с Гильдой Абредж равны туристической поездке в горы.

Она отдыхает. Для нее вообще нет мелочей, даже руки она моет с серьезностью ученого и добросовестностью педанта. Поэтому сейчас она сосредоточенно отдыхает на нашем берегу, мы с Борисом та песчаная коса, на которой она уединилась.

Мы тоже нуждаемся в легкой передышке. Уже совсем стемнело. Темнота дышит вокруг слабоосвещенных столиков, дробит набережную и город на желтые многоточия и тире. Покачивающийся теплоход добавляет яркую кляксу праздничности и оживления.

Борис так и уедет. Лишь пригубив чужое своеобразие. Глоток колорита – и дальнейший вояж. Следующий португалеизированный Сочи, где когда-то жили убыхи, не подозревая о будущих курортных возможностях своих земель. Так же, как теперь раскованные, в минимуме одежды, отдыхающие не подозревают об исчезнувших племенах, сражавшихся против генерала Лазарева. У победы длинные мускулистые руки, которые поставили генералу памятник

на месте его военной удачи. А от убыхов осталась фраза в Брокгаузе, что убыхские женщины считались прекраснейшими одалисками султанского гарема.

Жестокий парадокс – бредившие Байроном русские лирики приняли завоевание Кавказа как приключение крупной нации, как барский жест империи, в котором было обаяние размаха. Даже смерть их кумира от лихорадки в общем потоке греческой крови, лившейся под турецкими ятаганами, не отрезвила их, и лишь к концу столетия мужиковатый прозаик с бородашкой устыдился видеть свое отражение в треснувшем кавказском зеркале.

– Я есть хочу, – тихо говорит Гильда.

– Ты опять не обедала? – укоризненно спрашиваю я.

– Нет. Для себя одной не хочется готовить, – она вздыхает.

– А ты представь, что к обеду придет ангел.

– Это то же самое. Нужен кто-то попредметнее.

Борис, отчужденно смотревший в глубь залива, где ни огонька, с улыбкой поворачивается:

– Вы не любите готовить?

– Иногда люблю. Когда гости и когда мясо есть. Я хищница и люблю мясо, – произносится это все застенчиво. – А так я забываю, что надо есть.

– А чем же вы заняты?

– Читаю, пишу рассказы, – еще застенчивее и тише.

– И что вы сейчас читаете?

– Борхеса, – взгляд в мою сторону, потому что книга взята у меня.

– Ну и как вам Борхес? Нравится?

– Да, я даже записала, – она достает из сумки записную книжку, листает и неожиданно окрепшим голосом медленно зачитывает: «Исторические факты достает со дна океана, как черные кораллы, и развешивает ожерелья на витринах художественной литературы. Почитатели его мастерства облизываются его прозой, как крепко выдержанной настойкой коньяка».

– Интересно, – протяжно говорит Борис.

– А еще у меня записано про Флоренскую, про каталог ее выставки, – читает: «Скромность и доброта ее не материальны, но их живую ткань и силу можно передать с автопортрета».

– А о чем ваши рассказы? – Борис мельком смотрит на часы и снова, не в упор, но внимательно, разглядывает Гильду.

– Обо всем, – она задумывается, словно готовится к долгой поездке, – мои рассказы зацеплены детством. У нас в Адыгее ничего половинками не делается. Я пишу медленно. Пока доберешься до колодезности человеческой души, все мозоли обдерешь.

– А на жизнь чем зарабатываете? – Борис становится одиозным, сплошь вопросы, видимо, он закружается внутренне, до отхода «Колхиды» осталось полчаса.

– Преподает английский, – говорю я, поскольку Гильда еще в задумчивости. – У нее оксфордское произношение, и с учениками она работает, как тореадор, мощно и напористо.

– Охотно верю, – смеется Борис...

Их диалог напоминает мне другой – как-то срединной весною, когда погода разгуливалась под летнюю, домой ко мне заглянул гагрский искатель приключений и, по собственной рекомендации, первый неоавангардист Советского Союза, Костя Гердов, в расхристанном быту – Соловьев. Автор нескольких книг прозы, сводящей с ума широкого читателя, был в пиджаке с евтушенковского плеча и благодушном настроении; расположившись в кресле, он оглядел Гильду, сразу застеснявшуюся незнакомого человека, и решительно изрек:

– У нее лицо оленя.

Я кивнула, попадание состоялось, – нервная живость губ и носа, грустный глаз, манера отводить голову в сторону.

Гильда просияла – олень ее любимое животное, и знакомство с ходу набрало глубину и скорость. Плод их разговора висел ненадкусанным, я помалкивала, почти не вслушиваясь, а идя по пятам – оба они неприкаянные, природа оста-

новилась в них, как в родном жилище, и потому им неустойчиво в плотногогородской среде.

Костя вынул из обшарпанного портфеля горсть грецких орехов и учтиво разделил между нами. Прочел ее рассказ о старушке, оставленной сыном на улице в новогоднюю ночь.

– Талант есть, но мозгом ты слабая, – сказал он, мотнув головой в ее сторону.

К моему удивлению, она не обиделась, как многие другие, тут же ключющие на Костину провокацию. Она сразу отсекала внешний выпендрож и приняла его уязвимость, как продрогшего родственника, с лаской и заботой. Они проговорили часа полтора. И квартирное время плутало меж их словами, как червяк в спелом яблоке.

Сейчас оба диалога балансируют на моем носу, передразнивая друг друга.

Кстати, мой дорогой Борис в соседстве с таким стихийным человеческим началом лишку рафине, он-то положил на весы только любопытство и симпатию, а для Гильды это очевидный кусок жизни, в котором собеседник – почитаемое лицо общения.

– Надо двигаться в сторону моего катамарана, – Борис искусно подавляет легкий зевок. – Нас убедительно просили не опаздывать.

Мы спускаемся на набережную и неспешным шагом, как образцовые фланеры, сопровождаем Бориса к пристани. Все так же многолюдно, летняя темнота не пугает, пожалуй, даже наоборот, это единственный вид гостеприимной тьмы, тем более что в курортный сезон не экономят на освещении улиц.

– Послушайте, Гильда, а вы когда-нибудь сердитесь? – Борис поворачивается к ней всем корпусом. – Вы кажетесь такой серьезной и спокойной.

– Я такая и есть, – убежденно говорит она. – Но иногда человеческая подлость вырывает из себя, тогда я расхожусь. Это все знают.

Насчет всех – это громко сказано, но те, кто один раз присутствовал, не забывают – в гневе она, как колесница на полном скаку, все сметает. Девятнадцатый век Кавказа оживает и мечет молнии. Все равно что попасть в грозу на открытой местности.

– Да, друг мой, – утешаю я, – смирись с тем, что тебе не увидеть такое грандиозное явление, как гнев Гильды.

У трапа Борис застывает в церемонном поклоне.

– Дорогие дамы! – и поднимается на борт.

Глядя на его интеллигентски-выразительную спину, я с ленцой размышляю, какой комментарий выдал бы мой искушенный друг, узнай он, что оставшиеся на берегу дамы, обе в очках, одна солидного, а другая хипповатого вида, несколько месяцев назад совершили древний обряд посестримства, который уже в прошлом столетии был на Кавказе такой же редкостью, как ныне николаевский золотой в нашем денежном обиходе.

Апрель, 1990

ТОЧКА ОТСЧЕТА

Рассказ

Мауриции Дженкинс

Эту крохотную гостиницу в окрестностях Генуи он обнаружил позавчера и на следующий же день переселился сюда, предвкушая тишину по утрам. Так и оказалось – его разбудили птицы, и, кроме легкого скрипа приоткрытой балконной двери, ни один звук не тревожил зеленоватый сумрак комнаты.

Владимир П., агроном из Таганрога, пробыв в Генуе две недели по приглашению местного общества садоводов-любителей – их прельстил выведенный им новый сорт ириса, который Владимир назвал «Тадж-Махалом» за белозолотистое марево лепестков.

Еще неделю он оставил для отдыха. Завтракая на деревянной террасе, где теснилось всего пять столиков, он рассеянно наблюдал за толстяком хозяином, гадая, досталась ли ему гостиница случайно или он сам напластовал эту уютную раковину в полтора этажа, откатившуюся от автострады.

Заимствовав у растений их обыкновение помалкивать, Владимир находил, что современники слишком шумны и бесцеремонны, и ловил каждый миг тишины с педантизмом натуралиста.

Хозяин подвел к соседнему столику мать с дочерью и, невинно сводничая, быстро закатил глаза в сторону Владимира. Уже вчера эта толстая шельма нашептал ему на смеси инглиша с итальянским, что дама из Бельгии скучает здесь почти месяц, о, это достойная мать и настоящая синьора, в ее присутствии даже мухи не позволяют себе вольничать, его мать была такой же, просто он видит, что молодой сеньор ценит в гостиницах и женщинах покой, это самый верный подход к делу.

Вчера в приглушенном освещении холла соседки промелькнули по лестнице загорелым всплеском беззаботности и прогулок, сегодня же пасмурное утро растягивало их движения и осыпало скользящими голубыми тенями фиолетовую ровность кожи.

Владимир погрузился в дрему подглядывания, ощущая, как мелкие женские жесты – пальцы ломают булочку, голова склоняется набок, трепещут запястья – плывут на него, подобно запаху, и увлекают в свое течение – соседки не смотрят на него, лишь дочь изредка прыснет взглядом, и это делает их сообщниками скорее, чем явное знакомство.

Волосы у обеих под молодой орех, но у матери темнее, будто она в тени, и вообще, в сравнении с дочерью мать присутствует под сурдинку – пропускает вперед чашку кофе, лоснящуюся поверхность сыра, шелест виноградных листьев по бокам террасы, а сама ищет уединения за ними.

Днем, отдохновенно шатаясь по прихоти ног и медля на перекрестках, Владимир иногда замечал соседок издали и улыбался расстоянию, которое, как поднесенный на миг бинокль, вдруг делало их выпукло-близкими.

Генуэзские пляжи их, видимо, уже не манили, они неспешно слонялись по окрестностям, лакомясь мороженым и сладостями, придавая ландшафту ускользящую пряность корицы, и Владимир поймал себя на желании следовать за ними языком – осязать остающуюся после них струю воздуха, следы на дорожках, отражения в стеклах и дрожащее, как тростник, кокетство плоти, возбуждающейся от ходьбы и пасмурного сияния дня.

Вечером он застиг их на ступенях у входа в гостиницу – они возвращались с моря, нега соленой воды круглила обнаженные плечи, и младшая расслабленно тулилась к старшей, терлась о нее как котенок и смеялась, путаясь в восклицаниях.

Так сладок был этот полусонный юный смех и так доверчиво была открыта ему мать, что у Владимира защекотало в

горле, и неожиданно для себя он поймал руку матери и поцеловал хрупкие замершие пальцы.

То, что он причинил ей боль, он понял сразу – серо-зеленые глаза ее потемнели, ее слегка качнуло. Из глубины лица проступил упрек, потом раскаяние, и он был захвачен врасплох тем, как неудержимо она молодела, словно выплеснулась перед ним девочкой, ударилась о него и покатилась назад – мгновенье, и женщина тридцати с хвостиком, потупившись и вырвав пальцы, убегала, спотыкаясь и торопя дочь, которая удивленно оглядывалась.

Владимир поужинал в Генуе, а на рассвете бросил на их балкон огромный букет ромашек и колокольчиков, которые бесстыдно надрал на чьем-то лугу.

Весь следующий день он старался быть незаметным.

Солнечный свет звенел, как цикады, и будоражил черепицу и автомобили. Высокая синева неба угадывалась даже под крышами, и Владимир готов был поклясться, что наверху просторнее обычного.

В самое пекло он пошел искупаться. пляж был почти пуст. Ослепнув от зноя и блеска воды, Владимир нырнул – безмолвие и прохлада оглушили его, и он застонал от наслаждения, тут же нахлебавшись до упора.

И в ряби волн таилась суетливая грация его соседок, их переключки и следование друг за другом. Владимир долго плавал, резвясь как дельфин, а вернувшись в гостиницу, уснул мгновенно и безмятежно, раскинув руки и едва успев смежить глаза.

На закате он сидел под каштаном, на каменной скамье, отдававшей дневное тепло. Сзади слышались торопливые шажки, и влажные липкие пальцы закрыли ему глаза.

Владимир замер и забыл дышать.

Детский смех щекотал ему уши, застревал в волосах. Сзади елозили, шумно вздыхали, потом тонко и сконфуженно прозвучал носовой всхлип, и кто-то умчался, присвистывая от хохота.

Владимир обернулся – младшая соседка удирала во всю прыть, заноса ноги вбок, а за кустом давно отцветшей сирени стояла старшая – лицо ее сквозило между концами веток, будто сирень вдруг стала зрячей на один бок.

Этот куст чего-то ожидал от него, и Владимир растерялся – сирень и женщина объединились и проникли в воздух мерцающим облаком, от которого сейчас зависела его жизнь – он вскочил и холодком позвоночника соприкоснулся с сумерками, удерживающими его от погони.

Ночью она пришла к нему, и в зыбкой темноте белоснежной постели он постиг, что ее женская опасность в откидывающемся движении к подушке, в невесомости, которая обычно проступает после смерти, а в ее случае заявлена с рождения и делает ее узкие бедра по-русалочьи влекущими.

Вечером Владимир пригласил их в рыбный ресторан, где недавно ужинал с местными садоводами.

Она позволила дочери пригубить белого вина. Румянец у обеих появился быстро, но неяркий, кочующий по скулам переливами от розового к малине. Старшая ела мелкими кусочками, и Владимир растроганно думал, что она надломлена сочностью фламандского быта и его протяженностью в поколениях, всеми этими окороками, попойками и похлопыванием женщин по заду.

В зале стояли декоративные вазы с камелиями и саговниками, и Владимир рассказал девочке, что сажать деревья в вазы начали еще при фараоне Рамзесе III, всего лишь за полвека до того, как греки стали выжигать окрестности Илиона.

Девочка слушала с живой гримаской, катала хлебные шарики по скатерти и сказала, что раньше греки были красивые и поэтому у них все получалось.

Несколько дней они почти не расставались, растягивая на три угла сладостный плен, доводящий до головокружения. Иногда Владимир встряхивал головой – мимолетно хотелось четкости, но воздушная кутерьма света и меняющихся дорогих лиц снова ослепляла, мать и дочь множились друг в друге, заставляя его блуждать в лабиринтах женской

прелести, крамольная оптика которой обнаруживала его собственные следы в самых неожиданных местах.

Ночные встречи колобродили на дне их полуденной суеты. Ступая босыми подошвами на землю, Владимир поражался ее плотности – сам он, от макушки до пяток, слоился и плавился, десятки Владимиров гостили и исчезали прочь, разнося его счастье и муку, он бы не удивился, узнав, что заполняет собою все побережье.

В пятницу, когда они шли у самой кромки воды, а девочка бежала впереди, швыряя гальку в море, старшая сказала, что завтра в половине восьмого утра они уезжают.

Владимир рывком поднял ее на руки, уткнулся лицом в ямочку у начала шеи и, не разбирая дороги, куда-то зашагал.

Опомнился он от смеха девочки, дергавшей его за локоть и кричавшей, что он уронит маму в море.

Они стояли по колено в воде. Владимир машинально опустил и старшую туда же и впервые за все время выговорил ее имя – Элизабет. Она поправляла волосы и неудержимо краснела. Зацепив краем глаза испанскую пару, сидевшую неподалеку в шезлонгах и откровенно пялившуюся на них, Владимир мысленно послал их к черту и тут заметил, что и девочка начала краснеть, затихнув и полуоткрыв рот.

Элизабет беззвучно плакала. Владимир смахнул тыльной стороной ладони большую блестящую слезу с ее щеки, лизнул соленую горечь. Девочка смотрела на него – она была испугана и смущена и у него же искала защиты, и он сдался ей навстречу, бросив к ее ногам свое смятение. Вырвавшийся у него стон испугал его самого. Сделав вид, что споткнулся, он рухнул в воду.

Отжимая на берегу джинсы и сорочку, он оглушенно следил, как девочка заслоняет мать от испанцев, выкручивает подол ее платья, украдкой целует ей руку выше локтя.

За ужином на террасе гостиницы Владимир заказал бутылку шампанского. Когда молчание становилось удушающим, он подзывал хозяина и заказывал то сладости, то

фрукты. Хозяин был в ударе, понимающе подмигивал ему и сыпал анекдотами из жизни постояльцев.

В половине двенадцатого, как обычно, Элизабет пришла к нему в номер.

Владимир склонился, чтобы схватить ее в охапку и унести в постель, и вдруг услышал, что она просит его провести эту ночь с дочерью.

Не веря своим ушам, он заглянул ей в лицо – она была поновому хороша, огромные чуткие глаза, готовые вспорхнуть на любой звук, танцующие с виноградной выпуклостью губы и вспыхивающие на всем пространстве, колеблющие воздух блуждающие огоньки любви.

Нет, ты не понял, прошептала она, не будь с нею до конца, но отдай, что можешь, она сегодня подсмотрела что-то, и я боюсь, что она забудет, ей всего тринадцать, а все так быстро ускользает...

Она прильнула к нему мелкими, сводящими с ума поцелуями, а потом вытолкнула из номера.

Девочка лежала, свернувшись калачиком, и грызла ноготь мизинца. Владимир устроился рядом, поверх покрывала, и заставил себя почти заснуть. Ночная свежесть с балкона увлажняла кожу, делая ее падкой на прикосновения и глубокой.

Сначала к нему в щеку ткнулась макушка, следом доверчиво обняла полная шалостей рука. И все равно он почти спал, бодрствовала лишь его юность, ошалевшая от счастья и стыда, это она бормотала восторженную чушь и робко целовала сквозь тонкую ткань набухавшую грудь, именно она превратила эту ночь в бесконечный взгляд оленя.

Его разбудила Элизабет, уже в дорожном костюме, причесанная и бледная. Они осторожно вышли в его номер.

– Не провожай нас, – твердо сказала она и тут же уткнулась ему в грудь, – боже мой, ревновать к своему ребенку, к своей плоти, я совсем спятила! Но мне хотелось, чтобы она узнала настоящую нежность. – И добавила крепнущим голосом: – Теперь у нее будет точка отсчета.

Июнь, 1998

«ИНТИМНЫЙ КАЙФ ЭВОЛЮЦИИ»

Рассказ

Станиславу Лакоба

В июльский полдень Андрей Быстров брел по узкой иерусалимской улочке, машинально обкусывая бутерброд с ветчиной, и пытался существовать вслух, отдаваясь во власть местного быта и истории. Попытка проартикулировать собою всю здешнюю глубину изматывала, но он удовлетворенно ощущал, насколько изощреннее и чище стала за эти годы его способность умножать жизнь, уклоняясь от ее любовных атак и зарываясь лицом в недавно задействованные человеком пространства.

Все началось лет пятнадцать назад с посмертной шутки московского бухгалтера Владимира Тишкина, оставившего на своей могильной плите лаконичную надпись: «Еще не вечер». Сын соседнего покойника оказался литературоведом и впечатлительным человеком – он пригласил лучшего гравера-каллиграфа и расщедрился на цитату из Маргарет Юрсенар: «В прошлом всегда больше жизни, чем в настоящем». Газеты тут же обыграли эту кладбищенскую хохму.

Известный специалист по античной истории откликнулся в «Московских новостях» статьей, изобилующей древнеримскими эпитафиями, – автор утверждал, что наше чувственное знание о Римской империи было бы вопиюще неполным, не сохранились надгробные надписи, отражающие весь спектр человеческих эмоций и свидетельствующие о здоровом восприятии смерти как собеседника, ценящего остроумие.

Его поддержала группа биологов и врачей, заявивших, что современное отмахивание от смерти, ее бюрократизация и вытеснение на задворки сознания есть яркий признак оскудения чувства жизни.

Тем временем на московских погостах развернулось соревнование остряков, использующих по большей части чужие могилы. Когда на мраморной плите, увенчавшей прыжок выдающейся балерины, появилась надпись: «Сара, почему же ты не сказала, что тебе хуже всех?», – общественность возмутилась, но было уже поздно – поветрие распространилось и в провинции.

Через полгода издательство «Вагриус» опубликовало сборник лучших надгробных шуток, который имел ошеломляющий успех и породил новое направление в фольклористике.

В Самаре задавало тон «Общество потустороннего юмора», члены которого готовили свои могильные плиты в строжайшем секрете. В дни их похорон кладбище становилось самым популярным местом гуляния, а снятие покрывала с надгробья, которое временно водружалось рядом с могилой, происходило под нетерпеливые возгласы публики – усопшие напоминали о бренности сущего, сводили политические и личные счеты, рушили чужие репутации, каялись в грехах и признавались в любви, предсказывали Апокалипсис на ближайший вторник, смаковали последний анекдот из Чистилища, раскрывали технические достижения внеземных цивилизаций, и сардоническая ухмылка отошедших в мир иной завораживала свежим опытом бессмертия.

По требованию самарцев был учрежден конкурс «Самый остроумный покойник года». Победитель становился почетным гражданином города и вознаграждался правом на бесплатный уход за могилой в ближайшие полвека.

В Санкт-Петербурге группа художников, опьяненных бывшим величием северной столицы, устроила ночные скачки Медного всадника вдоль Невы – самодвижущаяся копия из жести промчалась мимо зевак, пугая их топотом копыт и указательным перстом царя, а наутро весь центр был обклеен листовками, с которых Петр I возвещал, что сокровенная энергия прошлого связывает город и человека в головокружительное целое, в живую скульптуру-акт, что

надвигается время интимного пространства, вынуждающего к чувственно-интегральному покорению судьбы, начинающейся для каждого у самых истоков человечества.

Через неделю после скачки Медного всадника молодой честолюбивый социолог в одной из публицистических программ питерского ТВ заявил, что ночная эскапада проявила сущностную особенность Санкт-Петербурга – прошлое города до сих пор перевешивает его настоящее. Державная хватка и пьяный разгул Петра достовернее наших офисов и баночного пива. Наше коллективное бессознательное все еще во власти прошлого, которое завораживает своей мощью и более напряженными, цельными формами жизни. Город должен «отыграть» свое прошлое, зацеловать его насмерть, как русалка, чтобы освободиться и вернуть ценность происходящему сейчас.

Вскоре появилась компьютерная игра «Петр I», позволяющая прожить биографию пучеглазого царя в разных вариантах, – первый вариант соответствовал историческим фактам, остальные изменяли какой-нибудь эпизод его жизни, после чего события развивались по другому сценарию. Последняя версия была глобальной и включала постпетровское развитие России – юного Петра задавила лошадь хмельного стрельца, вместо окна в Европу прорубили просеку в Константинополь, Россия обошлась без декабристов и Октябрьской революции, достигла небывалого расцвета и стала в XX веке духовным и технократическим лидером человечества.

На защиту исторического прошлого и логики его развития бросился маститый профессор университета, который неожиданно для себя написал не академическую статью, а эссе, нежное и пронзительное, об одном мгновении из жизни Петра – ранним апрельским утром царь вышел из чухонской избы и замер перед колодцем, слабый туман скрадывал очертания деревни, и Петр зарыдал, на сухую, всхрипом, от безлюдья и нищеты, от фантомности государства, от того, что друзья не идут дальше горизонта, а женщины дальше

постели, от запаха влажного колодезного сруба, от метнувшегося зайцем желания отпустить свою силу в слабость, от ломоты в теле, вдруг ощутившем, что оно не вечно.

Вот, писал профессор, подлинное мгновение, чью доверчивость мы искушаем своими играми, оно дышит и живет, оно питает своими подземными водами нашу отечественную историю, его нельзя уничтожить или заменить, у него своя судьба, свое величие. Все мы вышли из этого мгновения и обязаны ему раскосой привычкой смотреть одновременно на восток и на запад, ощущая свою двурогость как дар и проклятье.

Студенты профессора отыскиали место, на котором ютилась когда-то чухонская деревушка, разбили палатки и использовали наступившее утро с телячьим восторгом первопроходцев – вживаясь в то давнее Петр-мгновение, в июньском холодке рассвета, взбудораженные почти бессонной ночью и присутствием друг друга, они нащупали чары трехсотлетней давности. «Ах!» – выдохнуло утро им в губы, и они невольно сделали шаг вперед – прошлое чувственно роилось в воздухе, осязая пространство и пригибая траву.

Их было шестеро – и небо было на их стороне, высокое, белесое, небо недели и конца второго тысячелетия, но то, что когда-то имело место и время, теперь обладало еще и их соучастием, их готовностью отдаться во власть. Невидимое выделяло плоть, его соблазн был свеж и дремуч.

И они подставили свои юные жизни, как ладонь под струю. А струя утянула их на дно – они осязали Петра-сверстника, дергающего плечом, в необузданном царе, они судорожно взрослели вместе с ним и преломляли его судьбу, как черствый хлеб, крошки которого склевывало воронье на трупах, устилавших обочину царской скачки к прогрессу.

Они сообща владели мгновением, в тесных объятиях которого полюбили себя за вонь и величественность прошлого и научились отставать от своей походки, навязанной эпохой биде и Интернета. Прошлое использовало их, как парус, чтобы поделиться одержимостью. Они получили свою долю и

потрясенно промолчали в ответ, как если бы утро покончило самоубийством у них на языке, обнажив немоту как беспредельность общения.

Позже, в ночь на Ивана Купалу, те же студенты, собрав уже весь курс и, вдохновившись знаменитым эпизодом из фильма «Андрей Рублев», устроили языческий праздник на берегу реки в шестидесяти километрах от Петербурга.

Нагота, белеющая между деревьями, делала разделение полов трогательным и беззащитным – и погружение в речную воду не смыло привкуса пикника, лишь придав гулкость голосам и смеху.

Обольщение оказалось слишком стремительным – они были только что рождены в эту ночь и не смогли освоить ее древнее содержание, ее темный логос остался на уровне вакхических криков, не соскользнув в плоть, не взбудоражив ее воинство. Несколько вспышек юношеской страсти в укромных уголках лишь продолжили цивилизацию, а не опрокинули ее в костер.

Но кожа впитала ночную свободу бега и прыжков в воду, колдовскую объемность леса, размножившего присутствие человека, – они увезли в город тела, поверхность которых чуралась одежды и требовала движения, ее память обособилась, кожа обрела самодовлеющее прошлое.

Из каникулярного озорства и бунта юношеской кожи родился студенческий «Манифест пассаистов» – настоящее изжило себя, оно стерильно и почти лишено вкуса и запаха, его нельзя потрогать руками, оно утекает меж пальцев, как вода в песок, современная цивилизация выхлостила жизнь, превратив ее в придаток к рынку товаров и услуг, мы все, как тень отца Гамлета, на обочине действительности.

Манифест заканчивался лозунгом: «Используем прошлое для прорыва к реальности!». Заброшенный в Интернет, манифест распространился среди студенчества со скоростью пожара и вызвал вспышку интервенций в прошлое.

Филологиня из Иркутска обнародовала встречу с Александром Невским, отдохавшим на опушке после охоты, –

двадцатилетняя девочка в джинсах подавала кольчугу древнерусскому князю, обстриженному «под горшок», и прикасалась к его душе, смущая ее раскованностью эмансипе и жадным интересом к дремучим инстинктам, казавшимся князю страшнее немецких рыцарей.

Калужские братья-близнецы присутствовали при том, как Цветаева писала стихотворение «Проста моя осанка» – в скудно убранной комнате сидела женщина с замкнутым лицом, поглощающим связи между предметами, скорость поглощения возрастала, и в какой-то момент братья утратили свои родственные отношения, а потом и свою принадлежность к биографии и прочим обстоятельствам.

Их человеческое поползло на клеточном уровне и устремилось вдогонку за страстью женщины, проглядевшей жизнь насквозь в поисках мужского отклика и встретившей на выходе темноту и опасность, – близнецы отразили друг в друге инерцию слова, оплодотворенного языком, и спустились в женскую плоть, как в Аид, где души смертных еще помнят о своих победах, и тень их скорбных криков подобна уносящейся стае птиц.

Каждый изощрялся как мог, но фаворитом сезона стал голубоглазый старшекурсник из Таганрога, написавший дипломную работу о русском XX веке, который мог бы вырасти из чеховского целомудрия.

История вдруг обернулась девушкой в цвету, чуткой к шепоту и избегающей толпы. Не социальные противоречия, а человеческое благоухание лежало в основе развития, и общественный договор поражал разнообразием индивидуальной мимики. Утонченная Россия, страна-личность, возвела чеховскую интонацию в ранг государственной политики – при встрече с человеком закон обретал свободу, ведущую к дисциплине брачного союза и уюту семейного ужина на веранде, когда сумерки растворяют общение, как жемчуг в вине.

Балетмейстер-дебютант поставил в Большом театре двухактный «Танец в зеркале» – Чаадаев вместо Кутузова

дал Бородинское сражение, стал патриархом славянофилов и написал «Антикартезианские размышления»; Хомяков и Аксаков-младший перешли в католицизм и выступали за отделение церкви от государства, чтобы очистить религиозное переживание от земной печати самодержавия. Рецензенты отмечали экспрессивность стилистических контрастов при единстве хореографического рисунка.

Несколько бомжей-интеллектуалов заявили, что с детства слышат в себе плач Ярославны, обрекающий их на бродячую жизнь, наконец они встретились и объединились в передвижной хор-музей великого плача. Теперь им нужна государственная поддержка, ибо они представляют собой национальное достояние.

Через Польшу и Финляндию пассеистический способ прикалываться к действительности проник в Европу и пал на благодатную почву – чинные фольклорные праздники уже поднадоели, а маскарадные битвы и игры в индейцев слишком отдавали нафталином.

Берлин, все еще интимно ощущающий восстановление своей целостности, отозвался новым течением на стыке психотерапии, истории и литературы – пациентам начали изменять их прошлое, прорабатывая параллельные биографии, позволяющие выйти за жесткие личностные рамки.

Очень быстро это стало светской модой. Все уважающие себя знаменитости обзавелись несколькими подробными биографиями из прошлых эпох и утверждали, что это чрезвычайно расширяет чувство жизни. Популярная порнозвезда, темногубая, с гибким змеиным телом, прочувствовав себя афинской гетерой и томной маркизой галантного века, сменила любовника-плейбоя на искусствоведа-эстета, и в ее игре появилась загадочная двусмысленность, сводящая с ума ее поклонников.

Депутат итальянского парламента, тучный жуир, обожающий танцульки, заказал себе целую серию биографий, выдержанных в рамках политико-административного жанра, – от племенного царька времен Нумы Помпилия до вы-

сокопоставленного чиновника муссолиниевского режима. Он гордился последовательностью, с которой переживал эволюцию политического самосознания, и как истинный гурман смаковал перипетии внутренней борьбы между властными позовами к диктаторской позе и акварельной прозрачностью нравственного импульса. Демократическая фаза его развития, растиражированная телевидением и газетами, уже казалась ему лишь очередной ступенью иаковской лестницы, ведущей к совершенству, и он тосковал по парламентским дебатам двадцать второго века, когда угрызения совести народных избранников будут демонстрироваться в виде красочных диаграмм на электронных табло огромных стадионов, куда тиффози будут стекаться не на футбол, а на зрелище нравственных мук.

В Книгу Гиннеса был внесен владелец английской страховой компании, респектабельный пофигист с трубкой в левом углу рта, решивший побывать в шкуре каждой национальности, в том числе и исчезнувшей с лица земли. Список его биографий перевалил за сотню, и это был не предел. Каждый боится по-своему, сказал он осаждавшим его репортерам и добавил, что подумывает ввести принципиально новый вид страхования – за возможные несчастные случаи в параллельных существованиях.

В начале третьего тысячелетия, когда на улицах Нью-Йорка появились люди с ветхозаветной улыбкой, а китайские коммунисты подражали походке Конфуция, пассажиризм стал стилем жизни и очередной формой протеста.

Быть единственным – вот что охватило человека.

И он устремился в прошлое, осязая его глубину как личностную перспективу. От историков требовали подробностей и атмосферы. Способность вживаться в чувственный контекст эпохи стала новым видом предприимчивости.

Искатели приключений участвовали в осаде Иерусалима, сражались со львами на арене римского Колизея, высаживались на американский берег вместо Колумба и Кортеса, соз-

давали империи и грабили города, сжигали Александрийскую библиотеку и возводили себе пирамиды.

Чувствительные души искали любовь во всех закоулках культур и складках цивилизаций. Возвышенная страсть Данте к Беатриче стала убежищем целомудренных юношей и стареющих холостяков. Женщины осваивали ювелирную пластику японских поэтесс, в которой воздух обретал глубину влюбленного взгляда, а хризантема отбрасывала тень к поцелую.

Игровое богатство мгновения и его разверзшийся в прошлое интим завораживали опытных жизнелюбцев, в ход шло все – первая брачная ночь индейцев навахо с неистовым сплетением тел и гортанными криками пирующих соплеменников рядом с вигвамом; нежность Платона к молодому любовнику, сочетающая восхищение бронзовым торсом атлета с интеллектуальной тягой к диалогу; орнаментальное кокетство креолок и пышность их смуглых бедер; сладострастие султана, днем сажающего на кол провинившегося визиря, а в сумерках ласкающего двенадцатилетнюю рабыню из Эпидавра; сладостная дрожь католической исповеди невидимому духовнику, когда истовое покаяние в грехах связывает прихожанина и священника сильнее, чем постель.

Как утверждал на страницах парижской «Монд» седеющий судовладелец с Мальты, ничто не сравнится с тем мгновением, когда вся мировая история вмещается в твой половой акт.

Верующие всех конфессий впадали в соблазн, вызывающий тревогу духовных наставников. Восторженные американские паломники заполняли катакомбные церкви Италии и Турции; в Голливуде состряпали боевик о массовых казнях христиан при Нероне в 64 году – крупный план высвечивал экстаз, в котором души мучеников, распятых на кресте и подожженных, чтобы эффектно освещать ночь, возносились на небо. Фильм потряс воображение десятков тысяч, и началась великая охота за откровением.

В Европе увлеклись сектами III века, барбелонистами, левитиками, циркумцеллионами и прочими, мистическое сумасбродство которых во многом подвигло церковь к утверждению догматов. Мрачная энергия пепузианских пророчеств клокотала в будних молитвах горожан и фермеров, обнажая первозданную мощь веры в Бога, возлюбившего человека и принявшего за него смерть.

Фанатики обрушивали в себя Гефсиманский сад и Голгофу – извержение души ставило их на грань психического распада, и раскрывающиеся бездны сулили немислимую щедрость слияния с Единым.

Последователи Мохаммеда воплощались в его саблю и его красноречие, в сияние Аллаха над головой пророка, а почтальон в Дамаске объявил себя человеческим воплощением Корана и утверждал, что мусульманскому сознанию свойственно безмолвно-отстраненное восприятие прошлого, ибо в глубине священных страниц и реликвий таится воля Всевышнего, поглощающего время для возвращения его праведникам, постигшим молитвенный огонь праха.

На берегу Ганга буддисты собрали многотысячную толпу и в полдень под слепящим солнцем промедитировали массовую реинкарнацию Будды – над поверхностью воды возник Гаутама в позе лотоса, рыбка величиной с ладонь выпрыгнула из реки и, трепеща, зависла у его левой стопы, каждый прошел путь Гаутамы от просветления до зачатия и в общем усилии проник еще глубже, достигнув освобождения в до-сущностном бытии, аромат которого колыхался над толпой, смешиваясь с потом и благовониями.

Иудаизм откликнулся неистовой вспышкой messiанства – почтенные отцы семейств в Техасе и Иерусалиме, отойдя от компьютера и факса, застывали у окна и созерцали небо, шепча пересохшими губами древние пылающие слова, которыми их предки тысячелетиями возвышали кровь и изгнание, призывая Яхве сойти к своему народу. Молодежь увлеклась каббалистикой, надеясь ритуальным порывом приблизить пришествие messiи, ибо вызревала смутная уве-

ренность, что создание еврейского государства и житейское благополучие могут оказаться более опасным испытанием, чем казни и рассеяние.

В Сорбонне на защите диссертации «О феноменологических различиях в самоощущении участницы мистерии Кибелы и сжигаемой на костре средневековой ведьмы» один из оппонентов, отдавая должное профессиональной проработке темы, поставил под сомнение адекватность современного восприятия исследуемого материала – даже наше непосредственное присутствие в этом зале, ехидно заметил он, не обладает безусловной интерпретацией, что же касается психических явлений прошлого, то они, скорее, не обнаруживают себя в нашем сознании, а флиртуют с нашими комплексами, смешивая родовое и индивидуальное, чтобы таскать каштаны из огня для прошлого, а не настоящего.

Психиатры начали фиксировать необычные проявления мании величия среди образованных пациентов – раздвоением личности страдал сорокалетний парижанин, считавший себя то египетским походом Наполеона, то битвой при Ватерлоо; много хлопот доставила элегантная варшавская дама в серебряных украшениях, прежде чем врач, занимавшийся диагностикой, с изумлением констатировал, что перед ним живой переход от античности к раннему средневековью; на конференции медиков в Буэнос-Айресе демонстрировали студента, утверждавшего, что он – великое переселение народов.

Временами раздавались трезвые предостерегающие голоса. Игры с прошлым лишь увеличивают поле субъективности, и человек, утопающий в потоке информации и отстающий от изменяющегося образа жизни, может оказаться игрушкой во власти собственного воображения, что приводит к поголовному солипсизму и разрушению общественных связей.

Но магия прошлого уже проникла в повседневную жизнь и кружила головы. Казалось естественным блуждать по

всей истории в поисках созвучной души, двойников, единомышленников, забираться в дебри времени, чтобы вдруг нащупать что-то свое, неуловимо родное в ином обличье. Любители родословных раскапывали самых экзотичных предков и ощущали, как в их жилах струится кровь всего человечества.

Официальная история уже рассматривалась как тоталитарная попытка кабинетных ученых навязать остальным жесткую схему в чисто профессиональных интересах, для удобства классификации и получения академических званий.

Реальная же история была интимной и непостижимой, она клубилась в глубинах настоящего. Она давала ошеломляющую свободу множиться, ветвиться, теряя себя в бесконечном круговороте времени, вдруг выносящем твое лицо на стены глухой пещеры.

Культурологи изощрались в изысканных провокациях – маркиз де Сад рассматривался как точка отсчета для монастырского безбрачия; детский крестовый поход средневековья – как первый коллективный протест против родительского деспотизма и попытка начать самостоятельную историю детей; конвейер Форда – как тоска по непрерывному оргазму, а курение – как легализованная и обретшая светский лоск потребность в минете.

Патриоты начали переписывать истории своих стран и народов. Священная албанская империя в VI веке простиралась от берегов Атлантики до Урала, оплодотворяла чужие культуры и внедряла прогрессивное законодательство, в XII веке случайные находки этрусских гробниц дали устойчивый всплеск интереса к этому древнему народу, и начался албанский ренессанс, уходящий корнями в невозможные улыбки этрусков.

Германия примеряла на себя швейцарский нейтралитет, а Великобритания отрабатывала имперский комплекс, оборачиваясь то колонией Индии, то островной общиной квакеров, совершивших промышленную революцию, чтобы уте-

реть слезы сироте и вдове. Ливия взяла в зубы оливковую ветвь и несла мир христианским народам, развязавшим две мировые войны. Китайское государство покачивалось в волнах недеяния, а императоры, следуя седой диалектике Лао-Цзы, щедрой рукой отдавали подданным, наблюдая сквозь шелковые занавески, как добро возвращается в казну.

Большой общественный резонанс вызвали вышедшие почти одновременно «Подлинная история Америки» и «Воспоминания о белой расе».

Автор первой, потомок вытесненных из Флориды индейцев-семинолов и выпускник Стэнфордского университета, высмеивал Соединенные Штаты как технократический мираж, который вскоре истощит свои ресурсы и рухнет под собственной тяжестью, демонстрируя коренным народам Америки гибельность этого пути. Вынужденные у себя дома уйти в подполье, вырождаться и ассимилироваться, индейцы прошли жестокий духовный и исторический искуc.

Но глубинная девственность индейской культуры, в которой одиночество дерева продолжается в одиночестве человека, а слияние с природным циклом и отражение в себе погоды обеспечивают подлинность естественного существования, сохранилась в подсознании ее носителей и в обэзображенном ландшафте.

Наступает период, когда индейцы должны прорасти сквозь цивилизацию белых с цепкостью евреев, через две тысячи лет воссоздавших свое государство, возродить свои духовные ценности и осознать единство великого индейского народа, который жил в гармонии с природой, пока не нахлынули в поисках золота бледнолицые авантюристы.

Цивилизации майя и ацтеков, уничтоженные конкистадорами, невидимо продолжают логику своего развития – настало время материализовать результаты этой деятельности, выведенной из внешней эмпирической истории в трансцендентную, облечь их в плоть общественной практики и в кровь личного усилия.

Тридцатishестимиллионный индейский народ, несущий в себе подлинную историю своего континента, должен наконец откликнуться на придушенный зов родной земли и восстановить ее истинный облик. Индейцы явят миру уже забытого человека, по-братски приветствующего луну и переносящего боль без наркоза.

«Воспоминания о белой расе» были выпущены в Иокогаме без имени автора, который в кратком предисловии сообщал, что ему диктовал дух эпохи, и потому он опускает себя как промежуточное звено.

Белые были объявлены могильщиками культурного и этнического разнообразия, саранчой, пожиравшей на своем пути другие народы и цивилизации. Они вырвали человечество из естественного ритма бытия, взвинтили темп и заставили человека выпасть из себя, как из окна.

Им недоступна вечность мгновения, они превратили время в деньги, а искусство беседы – в ток-шоу. Они не любят, а занимаются любовью в перерывах между офисом и телевизором, они опошлили преемственность поколений, передавая по наследству лишь традицию кока-колы.

Они истощили себя трудоголизмом и комфортом, они вымирают, Европа и Штаты держатся лишь за счет иммиграции, через сто лет белые будут занесены в Красную книгу, а сохранившиеся экземпляры будут показывать в этнографических музеях.

Белые выполнили свою историческую миссию – создали технократическую среду обитания для медитирующего Востока, и теперь медленно сходят со сцены. Восток, накапливавший энергию тысячелетиями, живущий сквозь суету и погруженный в бессмертие выдоха, освоил, благодаря японцам, достижения белых и превзошел их, начинается эра виртуального самосозерцания в сакура-абсолюте. Над миром восходит духовное солнце Востока.

Мгновенно став бестселлерами, обе книги оказали опьяняющее воздействие на молодежь — индейские юноши и девушки втягивали воздух трепещущими от гордости ноз-

драми и организовывали межплеменные союзы, возникло многотысячное движение «Индийская Америка», объявившее Мехико столицей паниндийского государства и собирающее средства на открытие своего университета; в Сингапуре прошел фестиваль «Восток – дело тонкое», на котором в перерывах между выступлениями певцов и танцоров молодые интеллектуалы Азии рассуждали об особом призвании своих народов, и восторженная толпа отвечала им криком, сотрясающим городское небо.

Мексиканцы запустили телесериал «Открытие Европы» – корабли, посланные Монтесумой ощупать безбрежность мира, после изнурительного плавания пристали к плоским берегам, заселенным племенами белокожих иберов. Исследуя их обычаи и двигаясь к югу вдоль побережья, экспедиция обнаружила город Мадрид, где проживал верховный правитель иберов, король Фердинанд, подданные которого ходили по узким улицам, завернувшись в плащи и блестя глазами и кинжалами.

Приключения ацтеков при мадридском дворе начались с посещения церкви, а потом корриды – потрясенные варварскими обычаями вкушать плоть бога и убивать быков перед празднично разряженной толпой ради пустой потехи, ацтеки начали утверждаться в мысли, что открыли цивилизацию, в основе которой лежит абсурд, трогательно, но неумело сакрализированный.

Когда же к ним привели жреца в черном, поведавшего, что иберы поклоняются богу, который позволил себя распять и проткнуть копьем и который является одновременно собственным отцом и загадочным святым духом, не имеющим имени, члены экспедиции глубокой ночью тайно вышли за пределы города и под высоким деревом принесли в жертву схваченного ими по дороге городского сумасшедшего по имени Христофор Колумб, чтобы вернуть себе нормальное мироощущение.

Вернувшись в родной Теночтитлан, ацтеки сдержанно рассказывали о далеком народе, который еще не обрел ис-

тинных богов и не знает даже маиса и пульке. Единственными достижениями открытой цивилизации члены экспедиции признали лишь вызывающую красоту королевы Изабеллы, береты и эротические танцы, которые можно трактовать как первые проблески зарождающегося культа.

Начались морские экскурсии латиноамериканцев в Европу. Пересекая океан, туристы под руководством специализированных гидов перевоплощались в первопроходцев и, высаживаясь где-нибудь в Ла-Рошели или Плимуте, испытывали восхитительный культурный шок при встрече с современной цивилизацией, от которой они упорно отвыкали, сидя на палубе и вглядываясь в атлантические просторы.

Бразильский журналист, влившийся в одну из экскурсионных групп по заданию своей газеты, писал, что, рассматривая хорошо знакомую ему Европу под увеличительным стеклом исторического отчуждения, он вдруг ощутил хрупкость культуры, невесомой, как пыльца на крыльях бабочки. Нам нужны такие экзерсисы, заканчивал он статью, чтобы стряхнуть привычный быт и открыть не Америку и Европу, а самих себя в потоке непрерывных изменений.

В Африке расцвел неонегритюд, сквозивший в молодых душах, как раскаленный черный ветер. История Африки, возглашали лидеры движения, это не история народов и государств, это история космического ритма, воплощенного в танцующих племенах. Негр рождается, как свинг материнского лона, как бросок отца, метнувшего свой детородный орган вперед под бой барабанов. Угнанные в рабство черные откликнулись джазом, чтобы вовлечь белых в интимную связь с миром, но остались не услышанными. Носители магического шарма, черные призваны оплодотворить увядающую земную историю, придав ей звездное измерение.

На конец августа 2002 года была назначена Всеобщая ночь черного единства, и негры всего мира упоенно отплясывали под открытым небом, ощущая, как плоть истории трепещет в их объятиях. Всю ночь Африка была освещена, как огромный корабль, рассекающий воды времени.

«Совокуплением с историей» назвал эту исступленную ночь сомалийский поэт, описывая, как континент сладострастно вздрагивал, вовлекая океаны в страсть и мощь черного секса, – «Непостижимое рефлексировало в нашем единстве, сдирая завесы с прошлого и будущего, история отдавалась нам с хрипом восторга и расчетливостью зрелой женщины, длящей наслаждение за тактом, ибо впервые она прочувствовала космическую властность мужского начала, и перед нею забрезжил новый день».

Общественное сознание не успевало усваивать — история переписывалась с точки зрения порядочных людей, господства женщины, влияния одиночества или чувства юмора на тип цивилизации; австрийский историк, известный своей эксцентричностью, поменял местами Сократа и Ницше: афиняне заставили белокурую бестию выпить чашу с цекутой за жесткое разграничение в человеке оргиастически-дионисийского и созерцательно-аполлоновского начал, платоновские «Диалоги» пестрели цитатами из «Заратустры», а Сократ, порвав с Вагнером, бродил по немецким рынкам, подрывая своими поисками истины основы кайзеровской Германии, и его базарно-диалогический способ общения оказал впоследствии такое влияние на мюнхенского художника Адольфа Шикльгрубера, что тот основал мистическое общество, члены которого боролись за духовную чистоту своей крови, усаживаясь в темной комнате по двое и обзывая друг друга еврейской свиньей; американская миллиардерша, которую в детстве тиранили религиозные родители, назначила премию в два миллиона долларов тому, кто напишет историю Запада без христианства; бешеным успехом пользовалась книга «Новые исторические открытия», выпущенная цюрихским «Кружком любителей истины» и сообщавшая, что языком средневековых ученых была не латынь, а диалект одной из китайских провинций, автором шекспировских трагедий является беглая монахиня, тайная возлюбленная Шекспира, которую он держал взаперти и поколачивал, если она писала меньше страницы в день; Александр

Македонский, разбив Дария, потерял вкус к военным победам, занялся поисками Атлантиды, нашел ее к юго-западу от Гибралтара и успел поднять со дна более десятка мраморных статуй, но погиб от руки наемного убийцы, подосланного спартанским торговцем предметами роскоши, который в суматохе по дешевке скупил найденное, и т.д.

В Риме для гурманов устраивали пиры Тримальхиона, любителям острых ощущений предлагали спасти обнаженную христианскую девственницу от не очень голодного льва, дамы могли купить ласки разгоряченного схваткой гладиатора, клиенты с манией величия произносили речь Цезаря перед сенатом, проводили ночь Антония с Клеопатрой, в лавровом венке и брэнча на кифаре, любовались подожженным по их приказу Римом.

На Генисаретском озере подпольная турфирма за огромные деньги и под завесой полной секретности предоставляла возможность повторить путь Христа по воде, используя последние достижения техники и привлекая лучших актеров для воссоздания евангельской атмосферы.

В Афинах с трудом удалось замять скандал, когда была обнаружена попытка захоронить на окраинном кладбище Керамик тело известного политика, пожелавшего лежать под мраморным надгробьем IV века до н.э., чтобы придать посмертному бытию благородство античных пропорций.

Возникло международное общество «Past world», выступившее с лозунгом «Прошлого на всех не хватит». Активисты общества развернули широкую кампанию, призывая покончить с профанацией прошлого и его размыванием в бесконечных вариациях, ибо может наступить то, что предсказывал Лем, – исходное прошлое не выдержит безграмотного натиска масс и начнет видоизменяться, задним числом искажая реальность наших дней, или, согласно ослепшему от собственной догадки Борхесу, фиктивная история приведет к фиктивному существованию.

В ответ парижские литературные снобы создали клуб «Proust's world», выгравировали над входом цитату из Пру-

ста “Никогда не надо бояться зайти слишком далеко, потому что истина – еще дальше” и оповестили мир, что фикция – это оборотная сторона реальности, нераздельная с нею и жаждущая своей достоверности, и человек просто обязан пойти ей навстречу, чтобы дать ей возможность реализоваться. Пруст был первым, в ком прошлое прорвалось к настоящему и разделило с ним ложе, человек не мера всех вещей, а место встречи времен. Другие измерения, которые мы высокомерно обзываем фикцией, стучатся в наше сознание, и от нашей способности открыться им зависит дальнейшее выживание человечества.

Их поддержала новая нью-йоркская газета «Possible News», добавившая, что иммиграция прошлого в современность есть повторение подвига первых белых переселенцев в Америку и в национальных интересах Соединенных Штатов стать лидерами в освоении поливариантной реальности, ибо это стратегически важный ресурс ближайшего будущего.

Уже перестали вызывать улыбку брачные объявления типа: «Ищу спутника жизни не старше 35 лет, некурящего, живущего в эллинистическую эпоху, способного оценить сочетание современной деловитости и вакхического темперамента. Финансово независима».

Молодежь рассылала по Интернету во все концы приглашения: «С 20 по 22 июля тусуемся под Льежем. В программе: 1. Ужас безоружного кроманьонца перед разъяренным мамонтом. 2. Экстаз Эхнатона, встречающего восходящее солнце. 3. Возбуждение толпы, берущей приступом Бастилию. 4. Вечерняя молитва отшельника в Фиваиде. 5. Восторг самурая во время харакири. По ходу принимаются дополнения к программе». Молодые дурачились на природе, воскрешая глубинные переживания прошлого и наполняя их своей юной энергией – время молодело в ответ и курчавилось, как золотое руно, раскрывая под каждым завитком дикое, не прирученное человеком время, не обжитое историей и хронологией.

Появилась новая, высокооплачиваемая профессия «pastor» – специалист по погружению в прошлое, сочетающий доскональное знание эпохи с навыками гипнотизера. За час, проведенный под его руководством, клиент проживал бурную, полную приключений и опасностей жизнь конника в войске Тамерлана или золотоискателя в Клондайке и умиротворенно возвращался в свой размеренный быт.

После того как группа чикагских бизнесменов-трудоголиков выписала колдуна с одного из полинезийских островов и вместо традиционной карточной игры в загородном клубе стала по субботам отплясывать у костра в набедренных повязках под пологом леса, что существенно повысило их работоспособность и благотворно повлияло на отношения с подчиненными, начались серьезные научные исследования о возможном использовании эмоциональных резервов прошлого для дальнейшей интенсификации труда.

Профессор пражского университета, любящая жена и мать троих детей, несколько лет прожила двойной жизнью, осуществляя в тени своего супружеского счастья любовь Элоизы к Абельяру – трагическая страсть французских любовников XII века, вынужденных расстаться и уйти в монастырь, полыхала в ее буднях, и, отдаваясь ласкам мужа, она страдала от разлуки и средневекового обскурантизма. Результатом явилась книга «Одухотворение оргазма с помощью прошлого», в которой она описала свой опыт и проследила роль несчастной любви в формировании европейского рационализма. Этот трехсотстраничный труд стал настольным руководством миллионов женщин и послужил толчком к всплеску феминистского движения «За одухотворенный секс».

Некоторые начали ставить себе памятники при жизни, чтобы придать своему недавнему прошлому монументальность, другие, наоборот, отрицали всякое прошлое, и собственное, и общечеловеческое, утверждая, что актуально только будущее, которое наступает ежесекундно и поглощает человека целиком.

Но ревнители будущего безнадежно проигрывали пассеистам в богатстве знаний и ощущений.

Прошлое продолжало обогащаться за счет притока свежих сил из настоящего — люди, не испытывающие творческого порыва в привычной повседневности, смещая свой внутренний фокус в другие эпохи, создавали величайшие произведения античности и средневековья: новые трагедии и статуи наживую вписывались в резонирующее пространство, углубляя прошлое и раскрывая его неистощимость.

Мы живем в огромной тени несбывшегося, писал 82-летний фермер-филателист из-под Эйндохвена, только в нашем роду, домашняя летопись которого ведется с 1642 года, двое из-за бедности не смогли учиться живописи, еще один, погибший на войне, обещал развиваться в незаурядного музыканта, а по крайней мере трое из-за разных жизненных препон не стали учеными. Наша семья всегда отличалась склонностью к созерцанию и глубокому труду, роющему колодезь с любовью и вдохновением, и только жестокость обстоятельств помешала нам подарить миру выдающихся людей. Но ведь каждый род прошел через свои взлеты и падения, в каждом роду войны, эпидемии и неблагоклонность судьбы выкашивали невинных и лучших, каждый род недодал человечеству свою благую часть. Мы в долгу перед нашими предками, ибо живем во времена, более открытые и чуткие к человеку.

Правнук фермера-филателиста, безусый студент-биолог, организовал среди молодых голландцев общество «Дадим шанс нашим предкам!» и призвал восстановить историческую справедливость — если история была мачехой нашим предкам, то мы станем их любящими родителями, пойдем им навстречу и извлечем их из забвения. Молодые отыскивали в прошлом семьи яркого неудачника или сгинувшего бунтаря и параллельно своей проживали его жизнь, ощущая, как кровь подсказывает и направляет — хранящаяся в ней информация обретала судьбу и благоухание, заполняя своей неведомой свободой, лучезарно-темной и с шелестом

крыльев, внутреннее пространство смельчака, делящего настоящее на двоих.

Игра довольно быстро переросла в рискованное единоборство с чужой неповторимостью. Многие отступили, ибо не хватало сил и на собственное «я», вдруг ставшее хрупким и ускользающим, – сравнение оказалось не в его пользу, и надо было спасать его, родное, выросшее из недр собственного существа. Собственная хрупкость пронзала молодое сознание и плоть. Настоящее перестало быть гарантией личной значимости и превратилось в ловушку, куда ты ринулся добровольно, в азарте великодушия и скуки – ты сам подверг сомнению свою единственность и царское достоинство, распахнув свою жизнь перед другим, доверив ему свой вздох и взгляд, вернув ему радость походки и прыжка через лужу, ввергнув его в свободу выбора и поступка.

Другой пришел во всеоружии прошлого, облагороженно-го поражением.

Поражение мерцало, как тайна, в его мощном поле цвели возможности, скрещивая аромат эпохи и смятой постели с тяжеловесной грацией истории, уже потерявшей голову от натиска интерпретаций.

Некоторые отдались во власть чужого поражения, отказавшись от себя, и плутали в сокровенных глубинах, куда не было доступа баловням Фортуны; в этом плодоносном Элизиуме их тени отбрасывали бесконечное множество теней на внутреннюю поверхность времени и провоцировали его – время становилось беззащитным и податливым, не было четкой границы между ним и человеческой судьбой, оно принимало форму и протяженность индивидуального жребия и вступало в диалог с его носителем – поражение оборачивалось вечностью, творящей со скоростью, которая исключала победу как остановку, грозящую обрушить мироздание.

Те же, кто выстоял и смог удвоить свое существование, чувствовали, как энергия рода течет в них, нанося духовный опыт на случайный дневной орнамент; предки пре-

вращались в непрерывный ряд метафор, на дне которого просвечивала первобытная юность семьи, свирепая и полигамная, – умножение становилось принципом внутренней жизни, и уже начали говорить о новом поколении «я», которое позволит человечеству усваивать прошлое через родовое нисхождение, углубляющее личность до теряющегося в антропогенезе следа.

И тут активисты «Past world» сделали сенсационное заявление – финансируемая ими группа ученых пришла к выводу, что прошлое стало наступать быстрее, отбирая время у настоящего.

«Прошлое обретает вкус к власти!» – с таким грозным предупреждением выступил по Интерньюс бразильский профессор Оскар Диас, утверждая, что своим безответственным вторжением в прошлое человечество развязывает руки неведомым силам, которые могут необратимо изменить и самого человека, и созданную им цивилизацию.

Страсти начали накаляться, кое-где даже правительства забили тревогу, ибо уже выпускались учебники и открывались частные школы, трактующие историю столь свободно, что ученики теряли ощущение традиционного культурного контекста, и государство получало не гражданина, знающего свои права и обязанности, а гедониста, развертывающего себя в бесконечных вариациях прошлого и ценящего реальность лишь как физиологический трамплин.

Наконец решено было провести конференцию в Иерусалиме, в самом центре арабо-еврейского конфликта, на священной земле мировых религий, где прошлое клубилось в повседневном ритме, превращая кухонную утварь и одежды в ревнителей веры, а миллионы людей – в пламя любви и ненависти, оплавлявшее воздух до марева.

Быстров приехал за несколько дней до начала конференции и поселился на окраине, чтобы проникнуть в местную разновидность прошлого с черного хода.

Он без усталости кружил по улицам, терпеливо пропуская толпы паломников и туристов, сухой раскаленный воздух

обжигал даже белки глаз, и ему казалось, что не он глаза по сторонам, а плотно утрамбованное иерусалимское прошлое использует его как зрачок, сужающийся от нестерпимого блеска солнца, – глубь тысячелетий подглядывала сквозь него за суматошным городом, проявляя плотоядный, уходящий спиралью вниз интерес к каждому прохожему, к той суете сует, которая овеществлялась ежесекундно в соразмерной человеку пластике и завешивала ужас жизни.

Но ужас присутствовал, как пыль. Невидимая уличная пыль, растворенная в воздухе и крови, пыль сотворения мира и мелких ослиных шагов.

Подлинность ужаса свидетельствовало не только сердце, но и холодевшие кончики пальцев, не чувствительные к жаре. То же самое Быстров ощущал, посещая советские концлагеря, историю которых изучал последние несколько лет, – даже в заброшенных лагерях земля и строения излучали пронзительный личностный ужас, исторгавший прошлое в неповторимой гримасе.

Здесьний ужас был роскошнее – как висячие сады Семирамиды в сравнении с кривой березой у ограды из колючей проволоки. Народы утопали в его фундаментальных наслоениях, он притягивал вечность, как молнию, и она ударяла в сознание одиночки, испепеляя инстинкт самосохранения.

Даже государство здесь было замешано на сладострастии библейского падения вверх, в бездну любви-страха – это сквозило в жестах полицейского, в открытости улиц небу, в бесчисленных смысловых рефлексах, пронизывающих камни и живую плоть до общего трепета, который кровосмешением закона и молитвы задавал темп и созревал в гроздьях судеб.

Иногда Быстров брал тайм-аут и уходил в толпу, как в горы, где одиночество парит в воздухе и меняет форму, как облако; на такой высоте дышалось полной грудью, и народы пасли жизнь, совершая возлияния у вечернего костра.

Конференция началась в четверг, душным пасмурным утром, бросающим на кожу слабый перламутровый отсвет.

Председателем был избран боснийский хирург Али Жугович, сын католика и мусульманки, страстный почитатель Франциска Ассизского. Начинал он как яростный обличитель современного человека, погрязшего в тотальном постмодернизме, когда кишечник, цитируя мозг, смешивает эпохи и стили, а обмен веществ, как пылесос, засасывает все отбросы цивилизации, превращая хомо сапиенса в дурную бесконечность мусорно-музейного конвейера. Но последнее время в его выступлениях сияла тихая нежность Франциска и возлагались надежды, что ему удастся утихомирить страсти и выудить рациональное зерно.

Мощный лысый череп и живые глаза Жуговича появились над кафедрой. Он окинул зал взглядом орла и мягко вибрирующим голосом заявил, что, может быть, впервые с добиблейских времен в воздухе веет онтологической свежестью. С человеком явно что-то происходит. Но если зарождение человечества мы еще могли списать на креационную волюность Бога, от нас не зависящую, то сейчас, в период осознания коллективной ответственности человечества за самого себя и подвластную ему среду обитания, мы должны с беспощадной трезвостью заглянуть в самую суть происходящих перемен.

– Здесь, в этом зале, – Жугович сделал округлый жест, – собрались особи, наиболее чуткие к происходящему. Раскроем же сердца перед неведомым, которое мы сами обрушили на свою голову. Только любовь способна вместить и усвоить его сложность.

Жугович замолчал и открыл свое молчание для других – в нем струились невинность рая и чистота братского сердца; молчание случилось и произошло в каждом, внезапно, как влюбленность, как ослепительная молния, его головокружительная выразительность пронизывала насквозь и уходила дальше, заставляя ощущать спиной и затылком неостановимое движение, в котором был встречный поток – вздох, доносящийся из глубин вечности.

Молчание достигло совершеннолетия, и Жутович улыбнулся.

Быстров подхватил эту улыбку непроизвольно, не только лицом, но и всем телом, откликнулись даже мужское естество и пальцы ног; эффект толпы, сидящей полукругом и устремленной к оратору, сработал избыточно, и существование вместе, оптом, обрело столь нежную очевидность, что многие даже смутились. Началось покашливание, мелькали носовые платки.

На трибуну ворвался лидер «Past world», рыжеволосый, немного женственный красавец с черной бабочкой под кадыком, и тут же вздыбил атмосферу.

– Прекрасно, что Жутович ткнул нас мордой друг в друга, – выкрикнул он звенящим тенором, — может быть, так мы быстрее осознаем опасность.

Он предсказал модернизированный апокалипсис, перед которым ужасы канонического лишь детский лепет. Прошлое начало прорасти в настоящее, оно может стать самодостаточным и просто утратить потребность в переходе в настоящее. Равновесие времен нарушено, и могут прорезаться самые изощренные варианты, например, прошлое и будущее будут соприкасаться непосредственно, напрямую, и настоящее уйдет из жизни. «Past world» приняло решение переименоваться в «Present world» и будет драться за настоящее до последнего!

В зале раздался смех, а затем аплодисменты.

Быстров мельком взглянул в окно – облачность рассеивалась, и проступающая голубизна неба обещала зной. Город Библии и туризма своей дневной суетой перекликался с женственным красавцем на трибуне, их диалог был явственен, как погода, и так же непереводим.

– Можем ли мы гарантировать, что это мгновение обладает подлинностью настоящего? – вкрадчиво спросил рыжеволосый, на секунду его лицо потухло и вспыхнуло снова. – Что мы выявлены в нем полностью? Что его грандиозность актуализирована?

Он неожиданно спрыгнул с кафедры и галантно по-мог взойти на нее молодой даме в бело-зеленом, подчерки-вающим ее узкое смуглое лицо. Жугович представил ее как Мари-Луизу К., доктора философии из Монтевидео, и звяк-нул колокольчиком, хотя быстрая смена ораторов уже вы-звала тишину – из приоткрытых окон явственно пахло лу-летом, оно поплыло по рядам, оседая на губах и ресницах и смягчая мимику налетом полуденной неги, в которой мерца-ли ночные звезды.

Мы отсутствуем в своей жизни и отсутствуем сейчас, за-думчиво сказала доктор К., это отсутствие началось давно, с первых шагов человечества, и проходит через все эпохи, меняя лишь пластику выражения – если древние мигри-ровали от себя в мифы, пирамиды, мраморные статуи, от-шельничество и т.д., то сейчас мы мигрируем в потребление, виртуальность и изобретаем все новые формы, ибо вынести настоящее очень трудно.

Быстров кивнул в свое бытие, изрядно потрепанное борь-бой с настоящим, и высоко поднятыми руками изобразил бесшумный хлопок, чтобы подбодрить доктора К.

То, что мы почти всегда отсутствуем в настоящем, про-должала она, используя его как сырье для будущего или спа-саясь бегством в прошлое, то, что мы платим за предска-зания и антиквариат деньги, украденные у настоящего, лишь подтверждает нашу изначальную неукорененность в нем. Очевидно, что изгнание из рая нужно трактовать как выпа-дение из настоящего.

Доктор К. сделала глоток воды из отпотевшего бокала. Ее задумчивость возрастала, словно она сидела на террасе в кресле-качалке и смотрела вдаль – Быстрову казалось, что он слышит ее дыхание на этой террасе, легкое поверхностное дыхание человека наедине с собственным зрением, расфоку-сированным до метафизической всеядности; он машиналь-но подстроился под этот дыхательный ритм, и чужое зрение накрыло его волной, затопив его собственный взгляд, — зря-

честь двоилась, порождая свой свет, и Быстров наслаждался ее двусмысленной четкостью.

Вероятно, непредсказуемость и опасность первобытного существования, продолжала доктор К., делали настоящее столь невыносимым, что сознание удрало в кусты прошлого и будущего, оставив тело лицом к лицу с непереваренным хаосом мгновения. Мировая история, которую мы культивируем, есть история отсутствия, история дезертирства сознания. А то, что происходит в последние годы, – это вакханалия, развязанная сознанием, чтобы придать своему бегству масштабность, очередной выверт глобализации.

Доктор К. вздохнула, порывисто и сладостно, как влюбленная девочка.

Некое праздничное легкомыслие попробовало на язык присутствующих – по залу прошел слабый шумок оживления, день отступал вглубь, освобождая место для свободы, в которой предметы и желания отбрасывали тень в противоположную сторону и любая катастрофа имела на выходе победителя, имя которого принадлежало каждому в зале — общность имени, как утренняя дымка над озером, возвращала лицам свежесть.

– Я пытаюсь открыться настоящему прямо сейчас, у вас на глазах, – молодая женщина на кафедре вслушивалась в себя, – но удастся ли мне это?

Быстров обнаружил, что его собственное присутствие в нем самом слабо плеснулось через край и обрело тяжесть воды в ведре; окружающие, здание и Иерусалим погружались в эти воды, расходясь кругами и смывая границы в слепящее пространство, где он был еще незнакомцем и гостем, хотя и догадывался, что все это принадлежит ему по праву рождения.

– Выносимо ли настоящее в принципе? – на мгновение доктор К. раскрыла выражение лица, как веер, и ее нагота, цивилизованная, смущающаяся своей властью, не знающая бега по холмам и хмельного упоения пляской под луной, проступила сквозь ткань, рефлексируя с утонченностью

японского ландшафта. – Вот главный вопрос, на который мы должны найти ответ, чтобы иметь реальную точку отсчета.

Следующие два часа зал был подобен Колизею — ораторы сражались как львы, и редкие паузы ошеломяли.

Одни с пеной у рта утверждали, что все игры с прошлым — это профанация индивидуального и отказ от собственной личности, от сократовского “познай самого себя” в пользу паразитизма на чужой жизни, поверхностное обжорство чужими эмоциями, уводящее человека все дальше от самого себя.

Другие доказывали, что это продолжение сократовской установки, что за два с половиной тысячелетия в человеческом сознании кое-что изменилось, но уважаемые оппоненты умудрились не заметить этого, хотя еще Тейяр постулировал, что мы не просто изменение степени, а изменение природы как результат изменения состояния.

Слушая и готовясь к своему выступлению, Быстров пытался удерживать невесомую пыльцу настоящего, навеянного доктором К.; зритель зала, включивший кондиционеры и принеший еще несколько бутылок минеральной воды, выглядел аборигеном, обслуживающим понаехавших крикливых археологов, которые раскапывают могилы его предков, чтобы придать историчность его заскорузлым рукам и привычке шмыгать носом.

Тучный бельгиец, сразу опорожнивший два стакана, до тошно описал методику, по которой его группа исследовала реакцию прошлого на массовые вторжения. Прошлое Запада толерантнее к интервенциям и активнее вступает в контакт, в некоторых случаях зафиксировано явное стремление модернизировать ближний контекст в ответ на регулярное проникновение. В этой части исследование скорее подтвердило выводы Оскара Диаса о том, что прошлое обладает некоей потенцией к разворачиванию вперед, вдогонку настоящему, но вряд ли имеет смысл однозначно интерпретировать это как вкус к власти, не исключено, что это всего лишь не из-

вестное ранее свойство времени, своего рода инерционный след линейного движения.

Бельгиец промокнул лоб красным платком, тяжело переступил с ноги на ногу.

Его слушали внимательно, многие делали записи, но само внимание, окольцовывая, уже претендовало на самостоятельность и неожиданную эксцентричность, как если бы содержимое камня вдруг выбросилось из окна, протестуя против диктата формы и предназначения.

Прошное Востока, продолжил бельгиец, почти непроницаемо и держит дистанцию, более того, с увеличением антропологической нагрузки оно как бы становится еще более прошлым, размывает хронологию вглубь, в доисторическое измерение; складывается впечатление, что восточное прошлое блефует с иновременцами, отстаивая свою девственность.

По залу прошло несколько смешков, но бельгиец был серьезен – мимика утяжеляла его лицо до значительности пирамиды, надвигающейся на путника с каждым шагом.

Тем самым, сказал он с усилием, мы оказываемся перед угрозой того, что в общем прошлом наступит перекося – прошлое Запада будет накапливать изменения, а прошлое Востока сохранять свою замкнутость. Временная однородность прошлого, если таковая вообще когда-либо существовала, а не является очередной иллюзией, будет нарушена, и может наступить коллапс.

В зале вызрела новая тишина, смешанная с гулом прошлого.

Жугович нечаянно звякнул колокольчиком, и тревога его пальцев поплыла прозрачным звоном, отбрасывая слабые блики.

Члены “Present world” высказались за конструктивный компромисс между прошлым и настоящим и показали пятиминутную пантомиму, прокомментированную доктором К., – прошлое должно быть любовно втянуто в настоящее, и все человечество, начиная с пралюдей, с трудом выговариваю-

щих первые слова, должно участвовать в непосредственном творческом усилии, созидающем настоящее, – никто не забыт, ничто не забыто, когда в дело будет пущена каждая мысль, каждое ощущение, каждый поцелуй, история обретет подлинно человеческое измерение – каждый будет носить в себе всю историю от сотворения мира до настоящего момента, индивидуальные мировые истории будут существовать параллельно, образуя полифоническое звучание Истории, вдыхающей личностный аромат каждого и подробности его жизни.

Перерыв прошел бурно. Даже те, кто уединялся с чашкой кофе, легким поворотом головы обозначая дистанцию, лишь оттеняли возбуждение — споры и смех перекидывались от одной группки к другой с быстротой эпидемии, но Быстров готов был поклясться, что эпицентр нервного подъема лукаво устроился сбоку, как если бы водоворот, покусывая травинку, созерцал с берега, как в его воронку затягивает листья.

Оксфордский физик Уильямс, суховато-элегантный, с блестящими розовыми ногтями, иронично поздравил мировую общественность с тем, что она так основательно занялась проблемами времени, и подтвердил, что старое узкое понимание реальности должно уступить место расширенному.

Все, созданное человеком, от техники до завоеваний духа, уже давно начало обособляться, претендуя на независимость и самостоятельность дальнейшего развития, — казалось, что Уильямс с удовлетворением позволяет обособляться своей речи и жестам, своему английскому, осознающему себя средством международного общения и дерзко помышляющему об ином – стать языком-аутсайдером, чтобы вкушать свободу, хипсовать, нарисовав цветок на глаголе, курить травку в компании мертвых языков, тоскующих об ушедших в небытие народах, но наслаждающихся досугом: ах, как сладостна беседа непроизносимых слов, пирующих в садах забвения!

Только теперь стало заметно, что Жугович ведет двойную игру – председательствуя с кошачьей гибкостью, он, как незримый столп, возвышается над собой.

Интенсификация жизни нарастает, говорил Уильямс, абстрактное и искусственное пытается перехватить инициативу у органики, самое сокровенное переживание имеет привкус гамбургера и норовит улизнуть в дансинг, человек мечется, размывая старое естество, уже не вмещающее сложность мира, и отдает свою подлинность.

Да, существует опасность, Уильямс наклонился вперед и положил стиснутые кулаки на кафедру, опасность, что человек уступит свою творческую роль культуре и цивилизации. Но он же выиграет безмерно, если поможет окружающей среде одухотворяться, ибо идет поиск новых способов существования, адекватных ускорению разбегающейся Вселенной.

Быстров по-охотничьи сузил глаза – поведение Уильямса дистанцировалось от розовоперстого физика и теперь проделывало путь западноевропейской скульптуры от поликетовского реализма к лаконичной обтекаемости Мура, использующей пустоту в интересах диалога.

Жугович оповестил, что заявленный в программе докладчик откладывает свое выступление, и кивнул Быстрову.

Взойдя на кафедру, Быстров ощутил тоску и волнение, как перед свиданием, и, поморщившись, сказал в микрофон, что главный герой нашего времени – это эволюция, пытающаяся одновременно вочеловечиться и углубить человека до собственной безграничности.

Подготовленный текст ушел из-под ног, и, падая, Быстров ринулся вперед на ощупь.

– Я стою на месте коллеги Уильямса, который ушел, не уходя, ибо его присутствие здесь живет полноценной жизнью. Я как гость в этом присутствии, но и наследник, умножающий достояние. Эволюция жаждет катарсиса, который всегда был нашей привилегией, и наращивает присутствие всего во всем, рискуя утратить чувство меры.

Быстров встретился глазами с Жуговичем – Али блаженствовал, выбегая толпой навстречу и с грацией сирени отдавая аромат; зал был полон ответвлений, и в каждом кресле личность поглощала народ, чтобы встретиться с собой при свидетелях, которые удостоверят, что жизнь лишь повод к свободе, выворачивающей обладание в магию поиска.

Передернув плечами, Быстров ощутил, что эволюция охвачена нестерпимой страстью к нему, 35-летнему холостяку-историку, страдающему колитом, и замер от страха – можно удовлетворить женщину, но быть любовником существа, вождеющего к тебе в полноте реальности...

Он растерянно оглянулся, но томные, загадочные выражения лиц, плывущие кувшинками по воде, вернули ему мужество, и, обожженный приступом ревности, он рухнул в поток соучастников, пытающихся в любовном поединке решить, кто сущностнее — человек или реальность.

17 сентября 2001

ТРИПТИХ ДЛЯ СУББОТНЕГО ВЕЧЕРА

Лу Саломе

Она была одной из первых женщин, позволивших себе немислимую по тем временам роскошь – авторский способ существования.

Ее жизнь, обсосанная биографами и любопытными до бестселлера, образец неповторимости – и неувовимости.

Лу не хотела принадлежать кому-либо, кроме нее самой, хотя обладание собою – мираж, правда, ведущий за горизонты, и отвергала банальность со страстью фанатика.

Окружающие и исследователи рылись в ее отношениях с выдающимися людьми, забывая, что единственный неутомимый партнер страстолюбцев – сама жизнь, поглощающая и ежесекундно выходящая за рамки твоего восприятия.

В интимнейшем из сражений, фронты которого постоянно раздвигаются, Лу участвовала с поднятым забралом – ее тяжеловесно-хрупкая красота была всего лишь пейзажем перед битвой, и ангелы, парящие над кровопролитием, не всегда были на ее стороне, но она не жаловалась – изнанку бытия она принимала с тем же нетерпением, с которым всегда вырывалась первой из любовных объятий.

Не зря сразу же после ее смерти в 37-м нацисты сожгли ее библиотеку в очередной попытке уничтожить дух – она была святой атеистического мира со всеми достоинствами и пороками этой разновидности.

Российское прошлое давало ей преимущество перед западными психоаналитиками, знающими лишь свой контекст – загадочная славянская душа была одним из щупальцев Лу, которыми она жадно ощупывала жизнь.

Впечатляет перекличка ее личных дат с российской историей: родилась в 1861 – отмена крепостного права, умерла в

37 – по comment, уехала на Запад в год рождения Блока; но она никогда не была влюблена в русского, даже когда жила в Петербурге – даже девочкой она тяготела к более четкой личностной структуре, замешанной на европейской тяге кодифицировать.

Интеллектуально-целомудренный треугольник с Паулем Ре и Ницше позволил ей ощутить силу и ценность раздвоенности вовне, и она всю жизнь царила, как двурогаая луна – любовники часто жили в доме ее мужа, которому она 43 года, до самой его смерти, отказывала в постельной близости, хотя сразу после свадьбы готова была уехать с ним в Армению, родину его матери. Загадка их жизни, точнее ее отношения к мужу – полу-армянину с горячей кровью, столь контрастирует с обилием ее любовников, что зарождается подозрение о принципиальной двойственности – монахиня в супружеской жизни и свободная белая женщина в дружбе. Видимо, этот иронический дуализм возбуждал ее и осво-бождал – в нашумевшей книге «Эротика» Лу демонстрирует холодный ум и чувствительную, под стать Эмилии Бронте, проницательность: «... люди с истинной душевной силой и глубиной знают о любви еще до того, как полюбили».

Поразителен диапазон ее возлюбленных – от нежного Рильке, на котором она в первые месяцы близости играла, как на свирели, до неистового Фрейда – единственного, кто не пытался присвоить ее и честно, временами даже насмешливо, держал дистанцию, позволявшую ей дышать полной грудью. Отсутствие детей ставит выразительную точку в ее эксперименте, делая его законченным.

Умереть на руках дочери мужа от служанки, пережив многих близких – утраты были новыми завоеваниями, – не исключено, что на смертном одре Лу стала поистине неотразимой, касаясь поблекшими губами последней чаши мудрости – возможно, ее забавляла мысль, что этот опыт она уже не сможет осознать, и улыбка человека, бывшего по со-вместительству прелестной женщиной, еще долго витала над Геттингеном, иронизируя над посмертной известностью, в

которой истина всегда мимикрирует под опыт последующих поколений.

Белая зависть

Временами интенсивность чьей-то жизни настолько заворачивает, что очередной приступ белой зависти окунает в чужую реальность с головой.

Пару лет назад на холмах Агридженто, где в развалинах 12 античных – древнегреческих и древнеримских – храмов бродят толпы туристов, меня вдруг пробило – магия этого выжженного сицилийским солнцем места властно овладела всем существом, и зависть к англичанину, потратившему жизнь и состояние на раскопки, осушила рот.

Строившие первый храм выбрали место с точностью хирурга – с одной стороны Средиземное море, с противоположной – более высокие холмы, где жили, чтобы с высоты созерцать храм на фоне моря.

Сушь и скудная растительность подчеркивают выразительную наготу холмов, завожожившую древних греков – храм напрашивался как вздох после выдоха, и колонны взметнулись почти сами собой, торопя руки строителей – осязать единство формы и содержания под синим небом, на земле, еще не знавшей человеческого пота и мастерства, было наслаждением, последствия которого мы расхлебываем до сих пор.

Я даже пятками чувствую, почему Александер Хардкастл был сражен наповал – погребенные под толщей тысячелетий храмы вошли в его жизнь, как корабли в гавань, невидимые, но явственные, многоустый стон из-под земли, в котором нельзя было разобрать, где людской шепот, а где молчание богов.

Потрясение Хардкастла врезано в ландшафт и соперничает с развалинами – античность, осовремененная страстью англичанина, стала живой, повседневной, ее можно унести, как запах розы, она остается на лице.

Жизнь, напоенная азартом раскопок, одиночество археолога в раскаленном прошлом – и все это на вершине холмов, продуваемых морским ветром, под пристальным взглядом вечности.

Белая зависть цвела во мне как сирень и ошеломляла подробностями, раскапывая их на каждом шагу, мое наслаждение чужим наслаждением удваивало эффект присутствия – Хардкастл был ощутим как зной.

Он позволил себе восхитительное, головокружительное безумство – воскрешать прошлое ценой собственной жизни.

Интересно, сколько жителей современного Агридженто застывают в полнолуние у распахнутых окон, чтобы созерцать античные развалины на фоне серебрящегося моря – видит ли кто-нибудь из них тень англичанина, продолжающего воскрешать прошлое уже ценою смерти.

Неувиденное мною полнолуние в Агридженто всплыло через полтора года в Венеции, когда, любуясь панорамой с башни Кампанелла, я обнаружила уже обвевшимся взором террасу на крыше – небольшой диванчик, пара кадок с апельсинами, цветы в горшках и вид на лагуну в окружении прочей венецианской роскоши.

От этого веяло обжитым ночным уединением – терраса была пуста, октябрьский полдень никого не выманил, но происходящее здесь лунной ночью читалось явственно, как букварь.

Торжественная тишина опустевшего города, полная луна над лагуной, металлические рыцари – европеец и мавр – на башне с часами, призраки прошлого в плащах и масках, личная вязь сидящего – наедине с луной, этим внеисторическим спутником нашей безумной планеты, превращающим отраженный свет солнца в чарующее мистическое сияние.

Возможность недвижно плыть над Венецией в потоках лунного света, отражая и отражаясь, исчезая в толще нахлынувшего и появляясь на его гребне, обмениваясь с Селеной любовными историями и постыдными тайнами – для нее

это сеанс психоанализа, рассеивая человеческое до звездной пыли и встречая свой след в закоулках будущего, в Книге Бытия и йоговских позах, молчать с таким упоением и глубиной, что вынудить к болтливости звезды – от плодотворного приступа зависти этот некто, проводящий ночные часы на террасе, стал зеркалом, в которое удалось войти для невозможной встречи.

Но самая благоуханная зависть пришла ко мне во Владикавказе и заставила парить над гостиничной кроватью – шел 2000-й год, на Кавказе были смутные времена, и Люся П. рассказывала мне о своем помешательстве на Чечне.

Она приехала в Грозный несколько лет назад, угодив в месиво, из которого торчали руины и искалеченные судьбы. Война меняла маски, но все они были одна отвратительнее другой, и люди плавилась в них, обжигая воздух жестокостью и точечными выстрелами добра.

Вернувшись домой, в Ростов-на-Дону, она три месяца плакала непрерывно и рассказывала все встречным и поперечным о том, что она там увидела. От нее шарахались, муж и дочь отошли в сторону, даже самые близкие устали от ее отчаяния, и репутация чокнутой стала ее белыми одеждами.

Она возвращалась туда снова и снова, занимаясь психологической реабилитацией российских военнослужащих и чеченских беженцев.

У Люси редкий дар – рассказываемое ею всегда трагикомично, она и сама не понимает, как это выходит, но, слушая ее, невозможно удержаться от смеха и слез. После нее ощущаешь себя как выкрученное полотенце – такова амплитуда вызываемых ею чувств.

Ей было уже за сорок, не красавица, бессеребреница, маляхольная тетка, проникающая в чужую душу как радиация.

Тесная горская культура, заставляющая поведение струиться по желобам традиций, ошеломила ее, выросшую в просторах Дальнего Востока – сама она широка, как гоголевский Днепр, и разливы ее способны затопить любую даль.

Ее приглашали на обед чеченки, из глаз которых глядела любовь-ненависть, и она корчилась, поедая суп, приготовленный рукой, насыпавшей уже несколько могильных холмов.

От рассказываемых ею ужасов мне стало плохо, а она все говорила – козлица отпущения, не осознающая свою роль

А потом в ее лице появилась нежность, раскrojившая меня пополам – в этой кровавой неразберихе она обрела дружбу с одним из полевых командиров, имя которого она скрывала, называя его Русланом. Он был моложе нее, и интимных отношений между ними не было – банальность не коснулась их даже крылом. Встречались они в перерывах между боями, когда Руслан навещал своих родственников и выполнял тайные поручения. Оба ужасались происходящему, ощущая его кощунственность – их встречи были местом нормально-го, передышкой, позволяющей расти вверх и вниз, скрепляя разлагающуюся реальность. Однажды, прощаясь, он устало бросил: «До свиданья, я пошел убивать твоих братьев». И они застыли, рухнув в пропасть этих слов.

Им открылось редчайшее – человеческое не только вырвалось из объятий нации и пола, оно опалило их до неразличимости добра и зла – окружающие давно стерли эту грань, но не срослись сердцевинами, а этим двоим повезло по-страшному, ибо выдержать такое трудно – легче спятить, что многие и делали.

Кусая мокрое от слез полотенце, я видела Люсю подлобным зрением – она была прекрасна.

Чистильщик

Скука была одноногой, как пират из приключенческого романа, и он созерцал ее в печали и растерянности, навалившихся полтора месяца назад – его соавтор Сергей умер на рыбалке у одного из притоков Оки. Удили они с пониманием, вдвоем, окуньки и плотва плескались в ведре за спиной, будни дачного поселка источали тишину, в которой запах

водорослей казался событием – сорокалетние мужики, чуть не выспавшиеся, но бодрые, только что отославшие в издательство очередной забойный опус и простившие друг другу за рюмкой водки тягомотину совместной писанины.

Им было хорошо – по одиночке, но вместе, под утренним небом с прочерком стрижей, и когда Сергей вдруг мягко упал на спину, он подумал, что это баловство, мужик решил поваляться на траве, вспомнив юность.

Но, сорвав с крючка плотвичку, он зацепил краем глаза неподвижность – человеческое тело отставало от плеска воды и роения комаров.

Теперь он торчал на черногорском побережье, в осеннем малолюдье Улциня, захудалого курорта с двухтысячелетней историей – вид на море из ресторанчика, где он сидел в полуденной истоме, навевал не только скуку, но и размышления о Чингисхане, который в 1214 году осадил мощную крепость Улциня, но скоро отступил назад – трепетавшая от ужаса Европа вздохнула с облегчением. Черт ли он не пошел дальше, непонятно, можно было обогнуть крепость и разграбить хотя бы Южную Европу, видимо, уже не хватало ресурсов, как у него самого, очутившегося со смертью Сергея у разбитого корыта.

Писательский дуэт неплохо кормил их, Сергей разрабатывал сюжеты, а он прописывал остальное – они резвились, поставляя читателю средневековые страсти в современной, динамичной упаковке. Печаль, навалившаяся со смертью друга, подтверждала загадочное утверждение Аристотеля, что двойка – это абсолютное число, он ощущал себя ущербным.

Он лениво оглянулся по сторонам, прополаскивая взгляд характерным для Черногории смещением веков, эпох и культур. Особенно хороша панорама города с холма, где он таскался вчера: грозная крепость, черепичные крыши, кресты колоколен и пики минаретов. Правда, этот ресторанчик не тянул на местный колорит – удобно, но безлико, обычная едальня для средневропейского туриста.

Его таланты – лаконичность и умение вживаться в атмосферу – работали даже в поверхностном наблюдении, он от-

сек лишнее от дамы бальзаковского возраста, занимавшей соседний столик: убрал второй подбородок, суетливость левой ноги, привычку прикусывать носовой платок, верхний слой помады с губ и вслед за нею нырнул в «Красную лилию» Франса, которую она читала на языке оригинала.

Дама тоже заказала местное молодое вино, пятидневное вино-ребенок из ближней деревни, и осушала мелкими глотками уже второй бокал, закусывая сухим печеньем – внимание соседа делало ее чтение выразительным поступком, и она погрузилась в него еще глубже, оставив на поверхности лишь блеск глаз и перелистывание страниц безымянным пальцем в перстне с аметистом.

Занятно, что эта тетка до самозабвения погрузилась в устаревшую занудь – возможно, ее ласкают подробности, усеявшие роман, как ракушки – днище корабля. В сущности, в формате рассказа сюжет был бы неплох, хотя и не бог весть что. Полужакрыв глаза и смакуя вино – гранат неявно соперничал в нем с виноградом, он машинально начал переписывать «Красную лилию», нещадно расправляясь с диалогами и политическим контекстом, загромаждавшим любовную историю.

С моря потянуло свежестью, городские часы дважды долбанули по макушке, он заказал черный кофе и достал из рюкзака ноутбук. Выудив из Интернета русский перевод романа, он осушил чашку и помчался по тексту, как дворник по улице.

К ночи – он даже не заметил, как ушла дама с книгой и опустел ресторан, вещичка была готова – стремительный рассказ о ревности скульптора, который не смог простить возлюбленной старую связь, ибо его пылкое воображение слишком ярко рисовало любовные сцены с предыдущим партнером.

Его раздражал эгоизм Дешартра, и он с трудом удержался от соблазна изменить концовку, помирив любовников – из влажной мглы адриатической ночи высветился взгляд Анатоля Франса с понимающим прищуром, и общий соавторский смешок осел сумеречной росой на ворс пиджака и пылающий лоб.

Вернувшись к началу текста, он написал Франс-Краснов – получилось нечто вроде Бизе-Щедрин, правда, музыкальный мутант превосходил литературную стряпню темпераментом. Хохмы ради он тут же мыльнул омоложенную «Красную лилию» в журнал «Домовой», приписав приятелю, работавшему в редакции, пару строк об осенней неге и пешеходных прогулках, уводящих от самого себя.

На следующее утро его снова потянуло к компьютеру, но он выдержал характер и до обеда гулял за городом, ощущая погоду как продолжение тока крови, вдруг начавшей усиленно усваивать кислород и разгонять по телу азарт.

До конца октября с наслаждением, граничащим с оргазмом, он работал над «Очарованным странником» и «Запечатленным ангелом» – сжимать лесковскую прозу было равносильно совокуплению, и две недели прошли в чувственном угаре, позлащенном средиземноморским теплом, – по утрам он ловил в зеркале блаженную улыбку бездельника, которому богиня оставляет в саду кувшин с амброзией и отпечаток ступни.

Вернувшись в Москву, он пристроил обе вещички в гламурные журналы, уверив редакции, что это последний писк литературной моды, и укатил с женою в Ригу – поздняя осень в Прибалтике была их тайным шифром, скрывавшим от посторонних глаз возвращение к первой встрече, уронившей их в страсть, опередившую влюбленность. То, что их тела узнали друг друга раньше, чем души, породило домашний фольклор, ставший охотничьим сакральным языком на рижских улочках.

Несколько месяцев он подрабатывал журналистикой, приглядываясь в поисках соавтора к своим противоположностям – в их числе гонозилась автор детективов, бойкая, быстрая на брудершафт дама с умелым макияжем, сюжеты которой были крепко сколочены, но повисали в безвоздушном пространстве – ей не давалась даже майская гроза, превращающаяся под ее пером в унылый дождь над бетонным двором.

Почти одновременно вышли все три его переделки, к которым он испытывал нежность незаконного отца – успех был оглушительным, и обвинения в литературном хулиганстве утонули в потоке заказов, хлынувшем не только из глянцевого гламура, но даже из парочки продвинутых издательств – одно заказало ему освежить несколько романов Бальзака, второе же посягнуло на Гончарова и Тургенева, предложив ужать каждого из них в средних размеров томик.

С Бальзаком он расправился быстро – от текста летели пух и перья, бальзаковские описания одежды и внешности персонажей доводили его до бешенства, иногда от 5-6 страниц оставалась одна фраза, жизнерадостный толстяк, претендовавший на аристократизм, наверное, вращался в гробу как веретено от столь бесцеремонного налета. Зато теперь из текста перла энергия, которая сделала бы честь небольшому паровому катку.

С Тургеневым пришлось повозиться, но к этому времени он уже привык сокращать второстепенных персонажей без зазрения совести – дух эпохи позволял растворять их в общей атмосфере без ущерба для сюжета. Сложнее было с описаниями природы, сопротивлявшимися до конца, – их способность к выживанию изумляла и заводила слишком далеко в глубинную потребность Ивана Сергеевича бродить с ружьем по окрестностям; временами казалось, что он непристойно близко подходит к Тургеневу, нарушая естественную для живых существ дистанцию.

Гончаров дался с меньшей кровью, потому что сам подсказывал, что можно опустить – текст как бы вздыхал в нужных местах и съезживался, освобождая пространство вокруг персонажей, которые оживали на глазах, правда, они тоже начинали тянуть одеяло на себя, но были сговорчивее, чем многие.

Искать соавтора уже не было нужды, заказы сыпались со всех сторон, а гонорары росли астрономически, да и сам он увлекся работой. Молодые и зрелые годы короля Генриха IV уместились на 62 страницах и засверкали – пожалуй, сейчас эта любимая вещичка Генриха Манна напоминала версаль-

ский паркет с его блеском и дотошной пригнанностью деталей, персонажи уверенно скользили в отраженном сиянии, придававшем шарм законченности даже ненависти и предательству.

Очищая тексты от лишнего, модернизируя чужой стиль для большей емкости, он отслеживал усложнение сознания, которому уже требовался намек вместо лобовой атаки, абзац вместо главы – художественное сжатие информации шло по нарастающей, и он сожалел, что не может проснуться через 100–200 лет, чтобы узнать, как далеко зашел этот процесс.

Отшлифовав основные романы Стендаля – здесь работы было не так много, он подступился было к Борхесу, но его лучшие рассказы были неприступны, как крепость Ульциня, и Краснов отступил по-чингисхановски, сделав вид, что ему в другую сторону.

За полтора года Краснов открыл второе дыхание шедеврам Толстого, Мопассана, Ремарка, Роллана, Сервантеса («Дон-Кихот» прикинулся новеллой, выдержанный аромат которой ударял в голову как коньяк), Рабле, а также превратил «Тысячу и одну ночь» в стремительную повесть, которая вдвое увеличила поток туристов на Ближний Восток.

Жадность, с которой читатели кинулись на освеженные варианты классики, удивила не только его – критики с жаром обсуждали новый феномен, а питерский литературовед Аркадий Шеин придумал и название новому жанру по аналогии с киношным римейком – рипис.

Не меньший успех имели и переводы красновских подделок на основные европейские языки – публика зачитывалась ими, как детективами и женскими романами, ему присылали восторженные письма, благодаря за возвращение классики массовому читателю.

Снимая сливки с мировой литературы – это было сплошное цветение бытия – Краснов чувствовал себя пчелой, перепархивающей с одного роскошного цветка на другой, их благоухание наполняло его силой и радостью, он воскрешал чужой опыт, начинавший бродить и пениться.

Нередко зарождалось ощущение, что многие авторы были благодарны за то, что он избавлял их от балласта – они явно хотели идти в ногу с литературной техникой и читательским восприятием. Некоторые даже подзуживали его на более радикальные изменения, но он не хотел бежать впереди паровоза, пытаясь сохранить резерв для будущих реВИЗИЙ.

Очень скоро у него появились последователи по всему миру, хищно кинувшиеся на литературные кладовые народов – освежали не только прозу, кое-кто уже переписывал поэмы и даже целые стихотворные циклы. В Шанхае литературный цех «Сто тысяч цветов», собравший таланты по всему Китаю, методично выбрасывал на рынок серии типа «Французская литература от Рабле до Камю» и «Томас Манн для продвинутых домохозяек».

Задав любой поисковой системе имя известного автора, пользователь обнаруживал с десятков риписов, отличавшихся друг от друга не только соавторским углом зрения и степенью сжатия, но и уловимой национальной спецификой. Английская литература в исполнении китайских подценщиков была сентиментальнее, чем ее аналог датского розлива, и беззвучно шуршала отсутствующими бамбуковыми рощами.

Старая гвардия вышла на сцену и оттеснила современных авторов – ее герои были ярче, их страсти накаляли страницу, подлинность чувств контрастировала с привычным глянцем и отчужденностью.

Почти неприступной кастой оказались драматурги – можно было осовременить язык и сократить монологи, но хоть немного сжать пружину действия удавалось лишь самым крутым умельцам, чаще пьеса рассыпалась при неосторожном нажиме. Наиболее чувствительные современные авторы, обнаружив этот феномен, ринулись в драматургию, пытаясь обезопасить себя от будущих пиратских действий. Драматурги посмеивались, наблюдая, как множатся их ряды, и тихо злорадствовали, когда очередная вымученная пьеса проваливалась.

Вообще авторы запаниковали и начали метаться между попытками консолидировать ряды против риписников и стремлением максимально ужимать свои тексты, резко возросла метафоричность и другие способы сделать текст художественно неприступным.

Когда бостонский борзописец Энтони Крэг опубликовал свой вариант стихотворения известного американского поэта Чарльза Блейтона, написанного три года назад, разразился скандал – авторы восстали и потребовали ужесточить закон об интеллектуальной собственности, введя статью, запрещающую переписывать произведения живых авторов. Но почему, тут же задалась вопросом литературный обозреватель «The New-York Times» Элеонор Максвелл, если произведения устаревают быстрее, чем их авторы, почему их нельзя реанимировать для дальнейшего использования.

Критики заговорили о новом явлении, сопоставимом по размаху и последствиям с Ренессансом, вздыбившим средневековую Европу.

Постмодернизм поблек и треснул под напором обновленного прошлого, а потом начал переваривать и эту вздымающуюся волну – один из теоретиков afterпостмодернизма Отто Глейсер предположил, что это один из тайных закулисных ходов постмодерна, спровоцированный почти сознательно, чтобы впрыснуть свежую кровь в застоявшееся цитирование.

Через 5–6 лет были переписаны все лучшие вещи мировой литературы, появилась ежегодная премия за лучший рипис, дерзкие щенки начали переписывать уже переписанное, сжимая тексты до минимализма, от которого разило общественной баней.

Уже сложно было привлечь внимание к такого рода вещам, как вдруг бестселлером стал изящный томик Пруста, каждые полторы-две страницы которого были ужаты до абзаца – знатоки сходились в том, что потери минимальны, и отдавали должное полупарализованной Пилар Мендосе, коротающей дни в швейцарском пансионате, адрес которого держался в тайне – почитательница Пруста, дерзнувшая осо-

временить своего кумира, избегала публичности. Ей первой присудили Нобелевскую премию за рипис, что раскололо литературный мир на два непримиримых лагеря – противники признавали конгениальность вышедшего из рук Пилар Мендосы опуса, но настаивали на необходимости жесткой разделительной линии между оригинальной литературой и, как они ее окрестили, паразитической. Уже есть премия за лучший паразитический результат, горячились они, пусть же это направление развивается параллельно, не посягая на ресурсы подлинной литературы.

Краснов, уже давно освоившийся в роли мэтра, держался в стороне от баталий, но, когда вышел рипис Библии, выпущенный анонимно на английском и мгновенно растиражированный на других языках, он все-таки дал интервью, в котором утверждал, что сакральность текста не может служить охранной грамотой – человеческое сознание не знает границ в своих поисках.

Отправив журналистов, он спустился по лестнице своей дачи под Смоленском и подошел к жене, как раз читавшей в гамаке только что присланный друзьями библейский рипис – вспыхнувшее по всему миру возмущение сплотило христиан сильнее экуменизма и сделало освеженную Библию популярнее Гарри Потера. Им зачитывались повсеместно, молодежь хлынула в церкви и на лоно природы, стремясь к евангельской простоте, чуть не каждый день возникали новые романтические ереси, от которых веяло нежностью богочеловека, объединявшего небо и землю глубоким вздохом любви.

Сосны шумели, июльское солнце подчеркивало игольчатую тень на лице жены, Краснов вобрал типичную дачную картинку и ощутил желание сжать содержание взгляда – возможно, тогда чувство к жене, перерастающее в привычку, вновь опалит его невидимым огнем и превратит жизнь в сражение.

Июнь, 2010

СУХУМСКИЙ ОТШЕЛЬНИК

Роман в яблоках

Жизнь – это сложная организация,
открытая для нападения со всех сторон.

Джозеф Конрад

Я всегда был меланхоликом, которому хотелось смеяться, в первую очередь над самим собой и не в последнюю – над способностью жизни оболящать нас как бы между прочим.

За нежную улыбку, с которой я насмешничаю и подставляюсь изощренным ласкам действительности, меня прозвали маргариткой, daisy, под этим прозвищем я известен от Байкала до Лиссабона среди тех, кто, подобно мне, наслаждается непредсказуемым и на каждом перекрестке настораживается как пес – вдруг именно это распутье чревато выбором, отрезающим даже видимость свободы.

Я родился и вырос на Кавказе, деля привязанность между солнцем и луной. Плотная соль моря, неистовый звон цикад и одуряющие запахи субтропиков, нашествие женщин, появляющихся с теплом, захлестывали меня с головой, но к двадцати семи я затосковал.

К этому времени умер отец, быстро, молча, сразу устав и отъединившись от домашних. Его смерть толкнула меня в спину.

И я решил тихо слинять, никого не обременяя, даже наше государство, слишком рьяно пасущее своих граждан.

Как-то в компании мне рассказали о старике-абхазе, который до середины 30-х годов ходил контрабандными тропами в Турцию навестить высланных в прошлом веке родственников. Я разыскал его под Сухумом, где он плел изгородь для кур на заднем дворе каштанового дома. Мои намерения он одобрил сразу, но предупредил, что турки, если поймут, будут бить палками по пяткам.

Его цепкая память хранила маршрут с точностью до километра, особенно живо он вспоминал малозаметную возвышенность в тридцати километрах от Бакуриани, позволявшую маневрировать под самым носом у обеих пограничных сторон.

В мае 71-го, закрыв свое фотоателье и оповестив мать с сестрой, что я отбываю на север, в геологическую экспедицию, я направился на юго-восток, предвкушая жизнь, полную приключений и опасностей. Как слюнтявый романтик, я полагал, что в местах, пропитанных древним мистицизмом, легче прикоснуться к сущему.

Для начала я решил посетить Египет, порыться, как свинья, в развалинах, вывалиться в запахах прошлых эпох, погреться на солнце под Сфинксом, чтобы заразиться выражением его лица, как лихорадкой. Я хотел просто перекачаться, как мусор, по задворкам, чтобы вляпаться в интимное, остающееся в окрестностях после крушения империй.

Безлунной ночью я пересек на брюхе советско-турецкую границу, имея при себе несколько долларов, бритву и обмылок. В окрестностях Карса я украл ветхий молитвенный коврик, чтобы спать не на голой земле, а заодно приспособиться к намазу, пятиразовость которого позволяла обходиться без часов. Там же я впервые наголо выбрил голову, маскируясь под образцового мусульманина, которому аллах послал нищету и сделал глухонемым, дабы испытать его смирение.

С легкомыслием неофита тащился я по дорогам Турции; у пожилых женщин кланчил еду, мыча и свирепо вращая глазами яблоками. Пару раз удалось подработать носильщиком, но в основном я жил милостыней. К сирийской границе я уже с трудом узнавал себя в редких водоемах – выбритая голова загорела до бурой красноты, временами я бывал недалеко от солнечного удара, привычка изображать недоумка укоренилась в чертах лица, как венгры в центре Европы. Я даже научился вполне сносно изображать правоверного, стоя на коленях посреди пыльной улицы.

В Иордании мне повезло. Компания молодых хиппующих французов, кочевавшая на двух машинах, подобрала меня

как жертву восточного деспотизма, во всяком случае так я понял, сопоставляя их веселые возгласы со своим скудным английским. Разложив походную карту, они поинтересовались, куда я намылился. Я ткнул пальцем в Каир. Они восторженно заорали и запихали меня в красный «рено».

Ехали мы весело, под музыку, питались всухомятку, оставившись в самых неожиданных местах. Уже на второй день я забылся, размяк и начал покачиваться в такт шлягеру. Черноглазая Рене схватила меня за ухо. Пришлось рассказать им мою историю, подпирая английский жестикующей. Я стал героем дня, а панибратство девушек сменилось кокетством, вечером мне даже нагрели горячую воду, чтобы смыть грязь странствий. Для посторонних я оставался глухонемым, что подбивало моих спутников на рискованные шутки. Под самым Каиром, во время короткой стоянки, я улизнул не попрощавшись, что было вполне в духе этой компании, по-братски относящейся к остальному миру.

Оставив пирамиды на закуску, я направился в Фивы, рассчитывая осесть в окрестностях Карнакского храма, чтобы осмотреться основательно и со вкусом. Я неторопливо брел вверх вдоль Нила, поглядывая левым глазом на Аравийскую пустыню и вновь прополаскивая себя молчанием, прелесть и силу которого я только-только начал постигать. За четырех часов с лишним километров я восстановил форму бродяги, опять подсох от недоедания и нехватки воды, жажда мучала меня почти постоянно.

Карнак на первых порах раздражал многолюдством, эти непрерывно снующие туристы в шортах и с фотоаппаратами вызывали у меня морскую болезнь, и аллея сфинксов напоминала вход в торговую лавочку. Я бездарно терся среди богов и фараонов, отхвативших себе по большому куску территории и расположившихся там с удобством. Бесчисленные колонны без крыши вымывали мое нутро, как Нил. Небо голубело с пронзительностью пастушеского рожка. К тому же я столкнулся с жесткой конкуренцией опытных местных нищих и перебивался лишь сушеными финиками.

В получасе ходьбы от храма я облюбовал пальмовую рощицу и ночевал там, привыкая к египетским звездам и пытаюсь настроиться на здешнее ощущение смерти.

Еще в юности меня поразило, как серьезно древние египтяне относились к смерти, не жалея сил и средств для ее реального воплощения. Эта серьезность всегда провоцировала меня – не мог я поверить, чтобы в пустыне не хотелось хотеть, хотя бы от слишком явного напоминания о быстротечности. Пустыня слишком подлинна, и человек должен оттолкнуться от нее, отпрыгнуть в усмешку, иначе его засосет.

Пирамиды и мумии – если это не игра со смертью, изощренная, плотски-насмешливая, значит, я глупец. Я валялся под пальмами и старался ощутить Карнак как чувственный призыв к игре, брошенный сквозь толщу времен. Вытряхнуть свою современную суету я был не в состоянии, но настроиться на изгиб древнего рта – к этому я должен был продаться во что бы то ни стало.

Как-то днем, измотанный жарой и бестолковым мельтешением среди толпы, я притулился во дворе Рамзеса 11, недалеко от рельефа с изображением царицы Нефертари, которая выглядывала из-под огромной ноги этого фараона. Сейчас я отдал бы свою бритву и молитвенный коврик за глоток холодного нарзана, бьющего из-под земли в абхазских горах, 20-ю километрами выше горного озера Рица. От местной воды у меня уже началось несварение желудка, а прохладительные напитки, которые навязчиво предлагались туристам, были для меня невыносимой роскошью.

Вдруг рядом вместе с протяжным вздохом послышалось хриплое: «Эх, кваску бы...».

Решив, что у меня галлюцинации, я на всякий случай оглянулся – пятидесятилетний, плешивый проходимец, которого я несколько раз встречал в окрестностях, бесцеремонно разглядывал приближающуюся группу американских туристов и ладонью стирал пот со лба. Попрошайничать в храме запрещалось, на это отваживались самые прокуренные.

Заметив мой взгляд, он подмигнул мне и сказал:

– Ну, что смотришь, мусульманский пятак? Учись у мастера, как облапошивать буржуазную шусеру.

Тут я по-настоящему онемел. Пока я приходил в себя, а потом долго облизывал губы и разминал их, так как за эти недели отвык разговаривать, этот проходимец скользнул за колонну и присоединился к концу группы, ловко скрываясь от гида.

Я незаметно следовал за группой, изредка слыша, как он бойко тараторит по-английски. Трое молоденьких американцев, две девушки, видимо, сестры, и их светловолосый спутник в джинсовой кепочке, увлеченно смотрели в рот моему проходимцу и время от времени кивали ему.

В аллее сфинксов юноша нерешительно протянул ему десять долларов. Проходимец поблагодарил его небрежным кивком и что-то сказал девушкам, которые смутились и взяли за руки.

Я догнал его через минуту, когда он остановился и начал на арабском торговаться с продавцом кока-колы. Торговался он ожесточенно, не уступая продавцу в обилии слов и жестов. Наконец он сунул одну банку в карман лохмотьев, а вторую вскрыл и стал жадно пить на ходу.

– Послушай, батя, – внятно сказал я ему на ухо, – не будь гнидой, поделись с другом.

Он поперхнулся и уставился на меня.

Еще через несколько секунд мы начали ржать, как сумасшедшие, сгибаясь пополам...

В тот вечер я ужинал по-царски. Проходимец, которого звали Семен, тут же пустил меня в оборот, добавив, что сантименты подождут до ужина. Под его руководством я выгулял пуделя немецкой семьи, путешествующей на машине, выклянчил у пожилой пары пачку «Мальборо» и обменял ее на кусок жареной рыбы, стибрил плохо лежавшую гроздь бананов и т.д. Дел у меня было невпроворот. Семен режиссировал, туманно намекая клиентам на мое высокое происхождение и семейную трагедию, окончившуюся для меня

увечьем и нищетой. Мою добычу он складывал в неопрятный мешок.

Наконец он отвел меня на берег Нила, подальше от шума, и ушел в Луксор. Вернулся он с горкой теплых пшеничных лепешек и банкой пальмового вина.

Мы возлежали на нашем тряпье и смаковали каждый глоток. Семен морщил дочерна загорелое лицо с косым шрамом у левого виска и выуживал из меня подробности моих странствий, поощрительно хмыкая, потягиваясь, временами он подвигал ко мне лучший кусок, похлопывая по плечу.

– Тебе повезло, парень, – сказал он наконец, вытирая пальцы после рыбы о свою подстилку. – Ты быстро наткнулся на своего. А мог бы пропасть ни за что. Здесь с нашим братом особо не чикаются.

Он посмотрел мне прямо в лицо и расхохотался:

– Ты так же похож на мусульманина, как я на китайца. Просто всем на все положить, они видят лишь то, что ты хочешь им всучить. Во всяком случае, у тебя хватило пороху выползти за кордон, это уже кое-что. Что ты собираешься делать дальше?

Я пробормотал о нечаянности прикосновения к прошлому, о своем желании впитать иронию, которая неуловимо присутствует и испаряется с каждой поверхности, проработанной смуглой рукой древних...

Превосходно, заметил Семен, пряча усмешку и сбрасывая объедки в пластиковый пакет, он дает мне еще неделю на личные сборы, потом заберет меня с собой и покажет безопасный переход через границу, заодно я по дороге кое-чему научусь. Он скрючился на подстилке и тут же уснул.

Утром мы расстались. Семен ушел вверх по Нилу, а я продолжал рыскать в окрестностях, подчиняясь беспощадному солнцу. Я снова был один, я вернулся в вынужденное молчание, почти как к себе домой. Мне даже помогало, что окружающие считают меня глухонемым, их взгляды, жалостливые или убегающе-брезгливые, подталкивали меня в

нужном направлении, потому что в тысячелетних развалинах я искал иронию не силы, а уязвимости.

Отец мой умер в пасмурные мартовские сумерки, когда я занимался любовью всего в двух кварталах от него. Мы несколько часов не вылезали из постели, это было наше второе свидание, она, гибкая крепкая брюнетка, чуть старше меня, со свежим ртом, приехавшая навестить родителей и сама нашедшая квартиру для наших встреч, была неутомима и играла со мной как кошка. Я был еще в горячке от ее кожи и бедер, от розовых сосков, которыми она щекотала меня, когда увидел сухой профиль отца и подвязанный бинтом подбородок. Я не принял его смерть, отделенную от меня поцелуями и бесстыдством женской плоти, и его уход застрял во мне, дверь не закрылась, и оттуда сквозило.

А еще через несколько дней брюнетка, лежа на мне и поглаживая пальцами мои брови, сказала, что сходит с ума по человеку, который любит другую. И коротко разрыдалась на моей груди. Когда она одевалась, у меня было ощущение, что в комнате, кроме нее, никого нет. Больше мы не виделись, она уехала, обронив меня как эпизод.

Я был уязвлен – отец умирал, пока я трахался с женщиной, сходявшей с ума по другому, хотя она стонала от моих ласк. Во всем этом была бессмыслица, полнокровная и сочная, как отбивная из свинины.

Больше всего меня поражало, что из этой бессмыслицы была энергия – смерть отца была событием, потрясшим семью; наша любовная схватка сотрясала квартиру, я изнемогал и безумствовал, брюнетка убегала со мной от другого, март подходил к концу, все двигалось, переплеталось, но каждый из нас был сам по себе. А всеобщее переливало из одного в другое, перебрасывая меня мячиком.

Потом ощущение бессмыслицы стерлось, и проступила жестокость, я был заморожен ее простодушием и свежей силой – впервые ее присутствие было пронзительнее, чем мое упоение сумасшедшей прелестью жизни.

Жестокость была внове, она манила и искушала. И я решил поддаться ей, открыться, я смутно подозревал, что молодая готовность пойти ей навстречу смягчит ее удары, собьет с толку, приручит, как женщину, я решил перехватить инициативу и подставить себя.

Здесь, в фиванских окрестностях, где даже пыль имеет привкус вечности, я бродил до изнурения, чтобы забыться и соскользнуть в тот ужас повседневности, который иногда охватывает посреди обычного дня. Мне казалось, что этот ужас знаком всем цивилизациям. Через него, сквозь него я хотел дотронуться, раствориться в суете и томлении, которые тысячелетиями откладывались в этих песках. Я добрался сюда пешком, без документов, я бедствовал и рисковал, я считал, что открылся уже достаточно – теперь местность должна была дрогнуть мне в ответ.

За день до возвращения Семена, рассеянный и голодный, я полулежал в семи километрах от Луксора и мечтал о дожде. Небо было белесым, все застыло в неподвижности, которая тревожит уже в пирамидах и дохлых животных.

Я лениво иронизировал над своими дилетантскими попытками медитировать в поисках мужества, которое позволяло древним выносить пустыню, безысходность, деспотов, болезни; возможно, размышлял я, мне нужно спятить, это придаст достоверность происходящему. Я не знал тогда, что усмешка уязвимого мне еще не по зубам – я был слишком цветущ и нетронут, хотя и казался себе искушенным, почти пиратом жизненных перекрестков.

Древние не пустили меня к себе, констатировал я, тем хуже для них, они лишились соратника. Я встал и потащился на добычу жратвы. В брюхе у меня урчало, и белые люди в шортах, топтавшиеся на туристских тропах, обходили меня стороной. Свесив язык в углу рта и закатив глаза, я пристроился на видном месте и за полтора часа заработал на скудный ужин.

Семен встретил меня насмешливым взглядом, поделился финиками и спросил, как у меня обстоит с сексом. Я расска-

зал, что на днях проститутка, вылезшая из машины толстяка, направилась прямо ко мне и молча увела с собой. У меня сложилось впечатление, добавил я задумчиво, что она воспользовалась мною в гигиенических целях. Семен хмыкнул и сказал, что за эту неделю я заметно набрался опыта.

В тот же день, ближе к сумеркам, мы отправились в обратный путь. Семен шел ровно, цепко, лишь в многолюдных местах он вновь обретал расхлябанную походку бездельника и успевал стрелкнуть мелкую монету. Через час он подсказал мне, как ставить стопу, чтобы снять напряжение с икроножной мышцы, как дышать, чтобы меньше испарялось влаги. К полуночи он загнал меня; когда мы остановились на ночлег, я едва успел проглотить кусок и повалился прямо на землю. Он разбудил меня в пять утра, напоил и снова погнал вперед. К одиннадцати часам он заставил меня вызубрить пятьдесят арабских слов и в награду сказал, что я не так глуп, как привык притворяться.

В самый зной мы отдыхали под замызганным тентом, где несколько арабов с семьями стояли уже несколько дней, судя по отбросам и экскрементам. Было это в получасе ходьбы от дороги, Семена они встретили как старого знакомого, но он предупредил меня, чтобы я продолжал придуряться глухонемым. Они накормили нас, потом женщины с детьми удалились на солнцепек, а мужчины долго горланили с Семеном, обменялись с ним какими-то маленькими мешочками, после чего смеялись и хлопали друг друга по спине. Я несколько раз засыпал и просыпался от этого гомона и наконец совсем одурел. Поодаль были стреножены верблюды, временами они тоже кричали, и я с раздражением думал, что напрасно связался с Семеном.

Когда мы вернулись к дороге, Семен взял прежний темп и развлек меня египетской историей об обезьяне, которой удалось обмануть крокодила. И весело заметил, что если я хочу слинять, то он меня не держит. Я искоса взглянул на этого проходимца, который чувствовал себя в чужой стране как дома, и проворчал, что если мне повезло наткнуться на

такую жилистую колючку чертополоха, то я уж постараюсь выжать из нее максимум пользы. Семен совсем развеселился, скорчил плутовскую рожу и, пританцовывая, произнес речь о сокровищах Али-Бабы, которые находятся вовсе не в пещере, а в сером веществе некоторых двуногих.

И тут до меня дошло. Я резко развернулся к нему.

– Ты наш разведчик!

Семен на миг оцепенел, потом упал и начал кататься по земле. Он так хохотал, вытирая слезы и хватаясь за живот, что я от зависти дурачки похикикивал. Обессиленный, он посмотрел на меня влюбленными глазами и прохрипел, что благодаря мне помолодел на десять лет.

Когда мы двинулись дальше, я с удивлением чувствовал, что этот приступ смеха чрезвычайно расположил меня к Семену – он смеялся явно не надо мной, а над ситуацией, может быть, даже над чем-то большим, и так наслаждался смехом, позволял ему завладеть всем лицом, всем телом и потрохами, во время смеха он был щедр к себе и всему окружающему, так не мог смеяться босяк или проходимец, занимающийся темными делишками. Теперь я отдавал себе отчет в том, что бессознательно смущало меня раньше, – он был слишком спокоен и независим.

Припомнив, что он свободно владеет несколькими языками, я предположил, что он ориенталист, точнее арабист, бродяжничающий с научными целями, а все эти приколы с попрошайничаньем лишь прихоть артистического темперамента. Если ему хочется побыть босяком, это его проблемы, придуряюсь же я глухонемым, получая от этого удовольствие. И, поймав его взгляд, я заговорщицки подмигнул Семену. Остановись, сын мой, сказал он, прибавляя шаг, иначе ты уморишь меня раньше времени.

В таком темпе мы шли почти две недели, и Семен муштровал меня, как новобранца. Я учился засыпать в любом положении, жевать финик по полдню, чтобы заглушить голод, создавать перепад температур для получения несколь-

ких капель влаги, притворяться мертвым или припадочным, вплоть до пены на губах. Семен показал мне грязные приемы в драке, с отрешенной улыбкой пояснив, что иногда это единственный способ выжить. Я уже свободно объяснялся по-арабски на бытовые темы и теперь заучивал общеупотребительные выражения из Корана – в случае опасности ты прикроешься именем Аллаха, как щитом, говорил Семен, это придаст твоему скудоумию оттенок святости.

В Каире мы жили у его знакомого англичанина, женатого на египтянке. Я по-прежнему был глухонемым, и когда Семен заставил меня переодеться в более приличную одежду, знаками выразил свое изумление. Семен нетерпеливо махнул рукой и отвел меня к фотографу, у которого меня еще заставили нацепить галстук. Через день он принес потертый югославский паспорт, в котором значилось, что мне на два года больше, чем на самом деле, и зовут меня Митко Вукелич. Мы были вдвоем в комнате, я с недоумением рассматривал паспорт и себя в галстук. Привыкай, сказал Семен, ты дуриком проскочил через несколько границ, у тебя на морде такая наивность идиота, уверенного в собственной безгрешности, что до сих пор тебе везло. Заруби на носу, что всегда везти не может. С этим паспортом у тебя хоть какая-то гарантия безопасности на Ближнем Востоке. К человеку, который делает фальшивые визы, я отведу тебя позже.

Я предположил, что фальшивый паспорт стоит больших денег. Он не фальшивый, терпеливо сказал Семен, его обладатель погиб два месяца назад в автомобильной катастрофе, до прихода полиции бумажник, часы и документы исчезли. К счастью для тебя, паспорт обнаружился у моего знакомого, который любезно присобачил твою фотографию так, что комар носа не подточит. Его любезность обойдется нам в триста долларов, и то по старой дружбе.

Следующий месяц мы оба работали в одной из каирских строительных компаний. У Семена тоже оказался югославский паспорт, и в этой компании он подрабатывал регулярно. Выяснилось, что он профессиональный строитель,

работал и на сибирских стройках, а к этой каирской фирме пристрастился, потому что на документы иностранцев здесь смотрят сквозь пальцы, хотя и платят меньше. Семена взяли кем-то вроде прораба, а я ломался чернорабочим и на побегушках. Зато я утвердился в разговорном арабском и при случае мог послать подальше на сочном каирском жаргоне, который отличается от русского мата приторной восточной чувственностью.

Однажды мы возвращались поздно, после сверхурочных. Семен, видимо, тоже устал, и мы помалкивали. За несколько переулков до нашей хибары, куда мы переехали, как только устроились на работу, навстречу нам вышли двое. «Деньги», на ломаном английском отрывисто бросил первый. Семен ударил его ногой в пах, но тот был наготове и, перехватив ногу, свалил Семена и добавил ему по голове. Я кинулся на бандита, сцепленными руками долбанул его по шее и, визжа от злости как кабан, прыгнул на второго. Передо мной мелькнул нож, я прижал колени к груди, рухнул всей массой на противника и, притянув его голову, впился зубами в ухо. Раздался жуткий вопль. Потом рядом со мной очутился Семен, который тряс меня за плечи и твердил: «Отпусти его, Женя, отпусти! Это свои!». Он перекрыв пальцами мои ноздри, и я постепенно пришел в себя. Семен помог мне разжать челюсти, и я, отплевывая чужую кровь, поднялся с земли, ничего не понимая.

Второй бандит сидел, раскачиваясь, и глухо стонал, а Семен с первым бандитом хлопотали вокруг него. Семен куда-то сбежал и принес мокрую тряпку, которой обмотали рваное ухо. Потом Семен отправил меня домой, добавив, что вернется, как только обработает рану.

Когда он пришел, я лежал в своем углу, уткнувшись в стену. Семен сел на кровать, подкатил к моему лицу апельсин и попросил не обижаться, мы хотели немного припугнуть тебя, говорил он вполголоса, я же должен знать, с кем я имею дело, на что могу рассчитывать, если бы ты оказался рохлей или трусом, я бы просто помог тебе вернуться в Союз

и отпустил, как божью коровку, а теперь я знаю, что ты не сдрейфишь, он тихо рассмеялся, правда, я не думал, что ты бросишься как бешеный на двух интеллигентных англичан, которые только из дружбы ко мне согласились на дурацкий маскарад. Постарайся заснуть, он немного помассировал мне плечи и шлепнул по затылку, завтра тебе придется извиняться за разорванное ухо...

Назавтра был выходной, мы сходили в баню и медленно направились к центру. Семена окликнули из уличного кафе, в югославском варианте его звали Анте, к чему я привык с большим трудом. За столиком сидел сухощавый джентльмен в шортах цвета хаки и белой тенниске. Тщательно выбритое лицо и короткий бобр с седыми висками слегка не вязались с шортами, хотя одежда отличалась безукоризненной чистотой и отглаженностью. Джентльмен встал нам навстречу, и Семен представил нас друг другу. Мистер Кортни пожал мне руку и сказал по-арабски, что счастлив познакомиться с отважным воином. Я не совсем понял его высокопарную речь, Семен перевел и пояснил, что это тот самый бандит, которому я вчера чуть не сломал шею.

Я уже сам догадывался об этом, поэтому ограничился сдержанным полупоклоном. Мы сели, и потекла беседа по-арабски, из которой я понимал едва ли треть. Они вспоминали старых знакомых, потом перемыли кости Гольдману, который не то сделал бегство от реальности своей профессией, не то отвергал кismet как бегство от реальности, все равно тяготеющей к дешевой символике. Нам подали черный кофе, отдающий жженной пробкой, мистер Кортни попробовал и сделал легкую гримасу. Беседа разгорелась с новой силой, на этот раз по-английски, оба очень оживились. Семен-Анте нежно кружил вокруг Псевдо-Дионисия Ареопагита, англичанин же качал головой и пришептывал в пользу Николая Кузанского. Я скучал и рассматривал двух укутанных женщин, покупавших посуду в лавчочке напротив.

Прощаясь с нами, мистер Кортни позволил себе быструю детскую улыбку и сказал, что впервые на его памяти белый

человек искушал сотрудника Британского музея. Да, меланхолично добавил Семен после его ухода, милейший Уильямс лежит с высокой температурой и поэтому лишен удовольствия присутствовать при сегодняшней встрече.

– Своими молодыми зубами, – сказал Семен, – ты чуть не отправил на тот свет кроткого деликатного человека, который краснеет перед тем, как сделать невинный комплимент даме. Этим ножом, при виде которого ты потерял последние признаки цивилизованности, Уильямс обычно вскрывает письма от обожаемой жены и детей. Я, конечно, свалил дурака, обратившись к европейцам, но они первые попались мне под руку.

Эта дурацкая история быстро переросла в анекдот и со временем вышла за пределы нашей среды уже в малоузнаваемом виде. Последний раз я слышал ее в конце 80-х в Пирее, работая на погрузке маслин. Хозяин баржи, стоя на палубе и наблюдая, как мы перебрасываем бочонки, вдруг затрясся в утробном смехе и сказал, что югославы опасный народ. И мне в очередной раз пришлось выслушать, как двое путешествующих англичан решили пошутить над своими попутчиками-югославами. Дело происходило в Гизе, среди пирамид, где спутники гуляли ночью при луне. Англичане, вооружившись, консервными ножами и замотав головы, выскочили из-за пирамиды навстречу югославам и требовали кошелек. Югославы набросились на них, одному разбили голову, другому откусили ухо, и тут выяснилось, что они приняли муху за слона. На лечение телесных повреждений югославы отдали все имеющиеся деньги, обогатившись лишь житейской мудростью, что дешевле отдать кошелек по первому требованию. Живучесть этой дурацкой истории долго приводила меня в недоумение, сейчас меня забавляет мысль, что я не узнаваем даже в средиземном фольклоре последней четверти XX века.

Семен заботливо спросил, не было ли мне скучно. Да, ответил я безмятежно.

– Если ты хочешь наслаждаться жизнью, – сказал он, поднимаясь, – ты должен овладеть хотя бы английским и арабским. Это тот минимум, без которого тебе нечего делать в нашей компании.

Весь день мы шлялись по Каиру, Семен произносил «Эль-Кахира», как бы отстраняясь, поглядывая на него издали, как на блудного отца; он говорил, что город долго не принимал его, лишь в четвертый приезд, когда они с португальцем Мариу, который подцепил триппер, рыскали по окраинам в поисках знахаря, Семен ощутил залитую солнцем улицу как свое, оглянулся, и голубое небо с минаретами упало в него – я понял, что происходит с озером, когда оно возвращает отражение, усмехнулся Семен, его глубина захватывает так много, что оно отплеивается отражением.

Эль-Кахира жесток и гостеприимен, говорил Семен, это спелый гранат, который могут рассечь ударом кинжала у тебя на губах. Город кишит авантюристами всех мастей, мелкий жулик за пять минут ослепит щедростью шейха, агент Моссада блеснет изощренным красноречием муллы, из любви к искусству тебя обведут вокруг пальца и накормят пахлавой, чтобы ты ценил великодушные Востока. У мечети Ибн-Тулуна Семен хихикнул почти женским голосом, задумчиво осмотрел пеструю толпу и сказал, что на впечатлительных Эль-Кахира действует, как слабительное, чем откровеннее профанирует местность свое прошлое, тем больше у нее клиентов, история всегда благосклонна к проституткам высшего пошиба.

К вечеру я уже обалдел от Каира и многолюдства, от Семена, который перестал пичкать меня местным колоритом и теперь объяснял, как проще добраться из одного конца города в другой, как спрятать в общественном туалете записку для приятеля, что наболтать полицейскому, проявляющему к тебе чрезмерный интерес. Сейчас он был деловит и лаконичен. Он затащил меня в лавчонку, где торговали табаком и фруктами, шепнул продавцу, и тот провел нас сквозь не-

сколько комнат. В последней лежал на диване плотный мужчина в розовой чалме. Его пальцы были сцеплены на животе, полузакрытые веки дрогнули, и он цветисто приветствовал нас, извинившись, что недомогание мешает ему принять столь уважаемых гостей как подобает.

Мы уселись на ковер, поджав ноги, нам принесли кофе и сладости. Выразив долгое и объемное сочувствие уважаемому Салиму, Семен сказал, что привел с собой молодого верблюда, который нуждается в хорошей выучке. Я поперхнулся, пролил на себя горячий кофе и с проклятьями вскочил. Салим хлопнул в ладоши, и появился старик с полотенцем, который тщательно промакнул мои бедра, едва слышно отпустив непристойность в адрес моей мужской снасти, оказавшейся в воде без рыбы.

Семен попросил уважаемого Салима, чье мужество и преданность друзьям не уступают высоким образцам древности, взять под свое крыло его молодого друга, который на свой страх и риск пришел к дверям Востока и смиренно стучится в них. Салим на мгновенье воздел руки кверху и ответил, что все в воле Аллаха, что он видит звезду молодого кяфыра, которая совершает свой путь беспрепятственно.

Когда мы очутились на улице, я пробормотал, что мне показалось, будто Семен решил отдать меня в услужение этому Салиму, Семен сухо сказал, что это только пошло бы мне на пользу. Через минуту он фыркнул и обычным голосом добавил, что я смотрю, но не вижу, ибо не умею считывать человека по его внешним проявлениям. Салим отличный мужик, в котором продувная бестия сочетается с трезвостью и великодушием, он не образован в европейском понимании, но знает людей как свои пять пальцев и обладает связями, которым может позавидовать любой делец панарабского уровня. Он влиятелен и в чиновничьем, и в уголовном мире, его слово надежнее государственных поручительств, а его врагом осмеливается стать лишь глупец, которому надоела жизнь.

Я ехидно спросил, не предстоит ли мне завтра знакомство с президентом Египта.

Семен бросил мелочь беззубому нищему, который схватил его за штанину, и зевнул, усталость проступила в его лице и поникших плечах.

– Ох, – сказал он и потянулся во весь разворот рук, – как мы с тобой покайфует на днях... Пора уже отдохнуть, я слишком много таскался этим летом... Дурачок ты еще, – продолжил он с мягкими ласкающими интонациями, – ты еще только открыл глаза, твой взгляд еще юноша, который ищет чувственного обольщения и принимает внешний блеск за суть. Если бы твой взгляд был зрелым опытным скептиком, он уже по мимике и немногословию Салима ухватил бы его незаурядность. Перед тобой с приступом холецистита лежал прирожденный повелитель, который выбился из нищеты только благодаря самому себе. Салим находит нужную пружину в человеке с той же легкостью, с какой ты растягиваешь ширинку. Чтобы добиться своего, ему не нужна официальная власть, президентский дворец, эскорты и прочая мишура. Он ищет в глубине событий необходимость и впрягает в нее людей. Он жесток, терпелив, мудр, неразборчив в средствах. Он живет по принципу «око за око». Я был полезен ему в нескольких делах. Он ценит во мне глупость европейца и живучесть азиата. Я для него любопытный пример хамелеона, мимикрирующего под чужие культуры. Он не понимает, зачем мне все это, иногда исподволь он задает мне вопросы, как кошка пробует лапой незнакомый предмет. Мы доставляем друг другу удовольствие, это главное, – заключил Семен, улыбаясь, – у нас настолько разный жизненный опыт, что вместе мы образуем что-то типа психологической головоломки-лабиринта, войти в который можно с двух сторон, а вот выйти – это уже из другой оперы.

В начале августа мы наконец расплатились за мой югославский паспорт. Фальшивыми визами занимался тощий юркий левантинец, зять того, кто промышлял паспортами и еще кое-чем, семейный бизнес был организован на западный манер, каждый специализировался в своей области. Семен пригласил левантинца с женой и тремя маленькими

детьми на пыльный пикник, дети верещали, Семен с левантинцем пили джин и предавались воспоминаниям о каком-то Юсуфе, который мог подделать подпись самого Мохаммеда, закутанная с головы до ног жена лукаво блестела глазами и обслуживала нас, иногда перехватывая кусок в стороне. Я еще не привык пить в такой жар, разве лишь холодное виноградное вино, поэтому томился. Семен пытался втянуть меня в разговор. Памятуя его фразу перед пикником, что надо интимизировать среду – это лучший способ выживания, я вглядывался в левантинца – густобровое, изжелта-смуглое лицо с подвижным ртом, резок, болтлив, внезапные переходы от надменности к подчеркнутому смирению, явно неумы, но боек, натаскан, к Семену уважителен как к старшему, но вряд ли более, слишком он скалит зубы в вежливой гримасе.

Семен держался, как всегда, ровно и весело, но не было в нем изюминки, как в беседах с Кортни и Салимом. Когда я сообразил это, то стал припоминать, как обращается Семен со мной. Пожалуй, я развлекаю его больше, чем левантинец, потому что я благодарный материал, как он выразился однажды, я сам кручусь под его пальцами. Он обольщает меня для пользы дела, но я для него не крупная дичь. У костра моей мудрости он не греется, как сказал погонщик верблюдов в двух днях пути от Каира, показывая другим арабам на клиента, который был навеселе и старался заставить верблюда опуститься на землю.

Вечером я поделился с Семеном своим наблюдением. Примерно так, кивнул он, укладывая свои скудные пожитки в мешок. Закончив сборы, он растянулся на своем утлом диване и заговорил:

– Этот пикник я устроил для тебя. Я хотел, чтобы ты ощутил этого мошенника, чтобы у тебя не было иллюзий. Я боюсь, что у тебя сложилась слишком благостная картина бродячей жизни в Египте. На самом деле все гораздо сложнее и опаснее. Мои связи – это наработки многих лет. Если бы мы не встретились, ты мог бы кончить тюрьмой, рабством в

самой примитивной форме, или тебя бы замочили, попытавшись использовать в каком-нибудь грязном деле.

Ты не смотри на Салима. Это мой подарок тебе. У него выразительное нутро, он чуток ко многим проявлениям жизни. Он видел столько крови и грязи, что способен проявить благородство в самых неожиданных случаях – ему интересно, что из этого выйдет. Даже непонятное и неизвестное он пытается использовать к собственной выгоде, вдруг Аллах повернет это нужной Салиму стороной.

А это обычный мошенник, его мозгов хватает только на деньги и семью. Ни на какую помощь сверх оплаченной здесь рассчитывать нельзя. Ты поделил с ним пищу, обменивался любезностями, но должен был ощущать, что он непроницаем, что твое соскальзывает с него. Ему достаточно его самого.

Семен испытующе смотрел на меня. Я подумал и сказал, что от левантинца у меня осталось ощущение скользкой опасности, чего-то неясного, липкого, хотя все вроде бы было пристойно, но он слишком суетился.

Семен одобрительно гукнул, ты на правильном пути, сказал он, у бродяги должно быть звериное ощущение опасности, иначе не выжить, каждого нового человека ты должен просчитывать сначала на это, а потом уже работать с ним дальше, прощупывая его сознание.

Из Каира мы выехали в Порт-Саид, а там сели на ободранное каботажное судно, воняющее рыбой и бензином. Хозяином его был пухлый пакистанец с серьгой в левом ухе и в красной головной повязке. При виде Семена он заклекотал от тихого восторга, и его масляная рожа расплылась как пятно. Я удивленно скосил глазом на Семена, а он скромно ответил, что предпочитает, чтобы его любили. Причина любви разъяснилась при первой же трапезе. Семена взяли вторым коком специально для хозяина. В команде было всего восемь человек, включая нас, питались все вместе на палубе, под промасленным тентом. Хозяину подали плов, в котором каждая рисинка лежала отдельно, блестяще-желтоватая, рас-

паренная, запах плова стелился над столом как туман. После обеда Семен дал мне попробовать остатки, и я понял, почему хозяин, доев последнюю горсть, застонал и воскликнул, что гурии в раю едят именно такой плов.

Пожав плечами, Семен бросил мне, что пользуется женским правилом – путь к сердцу мужчины лежит через желудок. Ты не ошибешься, сказал он, хитро щурясь, если прихватишь кое-что из женского арсенала, надо быть разнообразным, не упираться только в мужское, заимствуй у дружественного пола. Он послал мне воздушный поцелуй и добавил, что неизъяснимое выражение моего лица способно доставить знатоку такое же наслаждение, как созерцание редкостной орхидеи.

Меня опять взяли чернорабочим, я драил палубу, посуду, стирал экипажу за дополнительные гроши. Все равно свободного времени было навалом, никто из экипажа не убивался, хозяин считал, что чрезмерное усердие от шайтана, и мирно спал всю полуденную жару.

Мы с Семеном валялись на палубе и лениво рассматривали побережье. В отрочестве Средиземноморье представлялось мне многокрасочным, сверкающим, в нем преобладали Греция и Рим, персы были где-то на задворках, олимпийские боги властвовали над всем этим пространством, заражая его энергией, любовным пылом и чисто человеческим озорством. Позже прорезался Александр со своей конницей, но я не понимал тогда, как он мог оторваться от чарующей неги Средиземноморья и потащиться по пустыням в Индию. Его ранняя смерть казалась мне возмездием за его пренебрежение сияющим воздухом и оливковыми рощами гомеровских окрестностей.

Меня возмущала цicerоновская фраза, что греки расселились по краям Средиземного моря, как лягушки по краям болота. Блеск эллинистических городов завораживал меня – портики, колонны, статуи, о, эти мраморные статуи, стоящие на улице просто так, как прохожие в задумчивости, философы, беседующие на рынках, образованные гетеры,

красота которых равнялась их уму, обнаженные атлеты, мистерии, театры под открытым небом – все это сливалось с кипарисами и цикадами моего детства и казалось близким и достижимым.

Эта часть Средиземноморья, по которой мы сейчас плыли, интересовала меня меньше, хотя Семен утверждал, что я не прав, и перечислял христиан, арабов, крестоносцев, он дразнил меня и ставил в тупик вопросами, на которые я не знал ответа, мое невежество изумляло меня самого, я словно падал в колодец без дна и беспомощно помахивал руками.

Израильское побережье мы прошли довольно быстро, с кратковременным заходом лишь в Хайфу, зато в Бейруте стояли дней пять, разгрузив итальянские удобрения, загружая мелкими партиями табак и шерсть. Сходя на берег, Семен навещал знакомых, а я осматривал остатки финикийских и византийских построек, отдыхая от общительности Семена.

С первых же дней плавания Семен вновь начал заниматься со мной арабским, но уже не муштруя меня, а заставляя рыскать по лингвистическим кустам. Он произносил сложное выражение, и я должен был перевести его, догадываясь и варьируя смысловые оттенки уже известных мне слов. После этого я должен был еще растолковать, что сие означает. Особенно много хлопот доставило мне истолкование выражения, очень нравившегося Семену, – свет Мохаммеда в образе павлина из белой жемчужины. В течение часа я трактовал это с разных сторон, пока не выбился из сил. Семен отверг все мои измышления и сказал, что мой метафизический багаж, как у кролика, что, впрочем, встречается часто. Кстати, заметил он, насмешливо растягивая рот, самое глубокое, на грани фолы, истолкование, какое он когда – либо слышал, принадлежит Салиму, от которого я хотел бежать как от чумы; почтенный Салим, по сути дела, мусульманин–модернист, хотя и не подозревает об этом.

Временами Семен пускался в воспоминания, это всегда было неожиданно и не имело отношения к предыдущему

разговору. Он рассказывал забавные эпизоды, точнее рассказывал их как забавные, хотя зачастую они кончались трагически. Я ощущал, что о многом он умалчивает. В ночные часы он говорил медленнее, с емкими паузами, которые затягивали его и мое молчание.

В Бейруте он притащил большой пакет с мелкими шафранными яблоками, и теперь мы грызли их, особенно ночами, с нежным скользким хрустом. Вкус у них был неуловимо горьковатый, отдающий костром, они освежали рот и были неотвязны, как семечки или жвачка. Как-то, проводив взглядом сразу две сорвавшиеся звезды, я вспомнил об Уильямсе, пострадавшем от моих зубов, и сказал, что мне самому надо было навестить его, а то получилось неловко – я напал как дикарь и даже не принес извинений. Не волнуйся, отозвался Семен, у тебя еще будет такая возможность, скоро мы их увидим. Я поинтересовался, работает ли Кортни тоже в Британском музее. Нет, ответил Семен, он медиевист и преподает в Кембридже, но они с Уильямсом закадычные друзья, когда-то они гребли в одной «восьмерке», оба они истинные джентльмены, и с точки зрения их благовоспитанности он, Семен, слишком эксцентричен в своем бродяжничестве.

Под тихий плеск воды за бортом Семен потянулся за яблоком и добавил, что ценит человечество за возможность смотреть на себя с этих непрерывно меняющихся точек зрения...

В Латакии мы высадили нечесаного субъекта с фальшивым бриллиантом на правой руке, который сел в Бейруте и всю дорогу играл с хозяином в карты. Вместе с ним исчез хронометр английской работы из хозяйской каюты. Когда пропажа обнаружилась, мы были уже в открытом море, и хозяин потерял дар речи от негодования.

Семен незаметно пнул меня ногой и пробормотал, смотри, он искренне возмущен, хотя сам мошенник до мозга костей, ему ничего не стоит подсунуть гнилой товар или подставить конкурента, но сейчас он в роли жертвы и на-

слаждается этим, этот толстобрюхий бизон сейчас агнец, и в этой роли он выложится до конца.

Хозяин качал головой, его крупные черные глаза скорбно удерживали удалявшийся берег. Человек неистощим, шелестел над моим ухом Семен, любуйся, если бы он удержался в этом качестве более пяти минут, у него появился бы шанс стать святым. Но человек не может удержаться в одном состоянии, он перетекает, пузырится, испаряется, вновь выпадает и т.д., никакого постоянства, черт возьми, лукаво шептал Семен. Хозяин уже сыпал ругательствами. Гнев сотрясал его тело.

Но я смотрел не столько на него, сколько на Семена. Меня поражало его неотступное внимание к окружающим – каждая мелочь падала в него, как камешек в воду, и порождала круги. Даже я уставал от этого, внимание Семена «проявляло» ненужных мне людей, сваливало их на меня, я и так не успевал разгрести избыток впечатлений. Как только мы остались вдвоем, я сказал ему об этом. Он понял с полуслова и молча кивнул. По его усмешке чувствовалось, что внутренне он отскочил в сторону.

Я ушел на корму подремать.

Дневной сон, рыщущий у поверхности, обжег меня ярким резким наплывом – Семен-кентавр, заросший шерстью, припадающий на заднее левое копыто, гарцевал по кипарисовой аллее среди курортной публики. Я висел в воздухе рядом с ним и жужжал. Не жужжи, бросил мне Семен, изгибая мохнатый торс, распугаешь всю публику. Но никто не обращал на нас внимания – мужчины и женщины флиртовали, ели мороженое и прохаживались под музыку.

Вдруг молодая дама с красным зонтиком оседлала Семена, и они усаkali. Я попытался догнать их, но не смог сдвинуться с места. Я висел, извиваясь как червяк, а вокруг безумствовало солнце, заполняя светом каждую впадину, забиваясь в поры. Наконец широкоплечий мужчина с палевой бабочкой на шее заметил меня и за ногу стянул на землю.

Я шел в нарядной мельтешащей толпе, женские лица и плечи кружили мне голову, я уже сорвал несколько ищущих

взглядов. С пересохшим горлом я направился к продавщице шипучки и остолбенел – среди подсохших пирожных, на выщербленной тарелке, лежала голова Семена. Кровавая корка запеклась на его шее, но глаза жили и меланхолично блуждали по кипарисам.

Ценник лежал на краю тарелки, стоила голова чуть дороже эклера. Денег у меня не оказалось.

Я отвлек продавщицу пустым вопросом, схватил голову и бросился бежать.

Никто меня не преследовал. Я бежал и с ужасом думал, что же делать с головой. А голова начала кряхтеть, ей было неудобно у меня под мышкой.

Я споткнулся о чью-то ногу и упал. Голова покатилась, остановилась в метре от меня. Лежа на щеке, она несколько раз сморгнула и хрипло выговорила:

– Зачем тебе понадобилось бежать? Последнее дело – терять голову в экстремальной ситуации...

Одурев от сна и жары, я опрокинул на себя ведро морской воды и отправился чистить галльон. В этот день Семен приготовил плов из рыбы, для всей команды, кок и механик помогали ему вынимать кости, он проверял за ними и тыкал их носом в мягкие, почти невидимые косточки. Рис был острым и жгучим от специй, жажда охватила нас всех уже в первые минуты обеда. В ход пошли все напитки, какие только были на судне, но спас нас в конце концов лишь зеленый чай, который мы дули в невообразимом количестве.

К моему удивлению, огромный котел из-под плова оказался пуст, и мне тут же пришлось драить его, чтобы уничтожить запах рыбы. Остальные в изнеможении развалились прямо на палубе, изредка доползая до поручня, чтобы отлить за борт.

Я уже заканчивал, последний раз проходясь песком по дну котла, и сдавленно мычал себе под нос мелодию «сиртаки». Семен принес мне шланг и, прикручивая его к палубному крану, сказал, не жужжи, а то всю публику распугаешь.

Я замер задом кверху. Когда я вынырнул над котлом, Семен бросил конец шланга к моим ногам и, сдерживая зевок, пробормотал, не пугайся, это старый затасканный трюк, гипнокомпенсация называется. И ушел, расслабленно поводя плечами и рыгая.

К этому времени биография Семена уже прорисовывалась, но пока это были наброски, которым не хватало основного. Однажды мимоходом он заметил, что ценит мою сдержанность, обычно люди сразу начинают намазываться друг на друга. Поэтому я не задавал вопросов даже по пустякам и помалкивал, шевеля мозгами, в собственной тишине.

Я уже знал, что он старше, чем мне казалось, – ему было пятьдесят шесть, но его выносливость и подвижность, озорство глаз скидывали десяток лет, он производил впечатление зрелого человека, еще полного сил и любопытства, его зрелость звенела, как металл в сухом воздухе. Он родился и вырос Воронеже, оттуда ушел воевать, дошел до Праги, получил два ранения и несколько медалей. На фронте он был весельчаком и любимцем роты, опасность всегда поднимала его на гребень духа и придавала окружающему стремительность и четкую глубину, в которой он был своим, посвященным, знающим, как броситься в пропасть, чтобы выплыть живым и осведомленным. Война научила его думать всем телом и сделала смерть осязаемой и обыденной. Он даже обмолвился как-то, что война стала вторым детством по яркости и неистощимости воспоминаний. Потом он уехал на Дальний Восток, потянуло к океану, три года ходил на рыбачьих сейнерах, там же подружился с корейцем, который обучил его колдовству с рисом, подарил ему 17 рецептов из приготовления плова. Вернулся в Воронеж, женился, шабашил на окрестных стройках. В 60-х на одной из сибирскихстроек быстро пошел в гору, но уволился, чтобы не привлекать лишнего внимания. В 57-м впервые нелегально пересек границу, добрался до Бельгии, почти полгода шатался по Европе. На следующий год сунулся в Алжир, решив прогуляться по макушке Северной Африки, но там шли военные действия, его

заметил французский патруль – Семен выдал себя за шведа, у которого по пьянке увели документы, и попросился в Иностраннный легион, это был единственный выход. Его взяли поваром, на место умершего от лихорадки провансальца, и дезертировать ему удалось только через три недели, когда арабы неожиданно напали на их лагерь и вырезали половину. Несколько дней он скитался по пескам и наконец попал в плен к арабам.

От расстрела на месте его спасла склонность к юродству, подстегнутая страхом, – он остекленел. Это была своего рода импровизация каталепсии, он успел подобрать ноги и застыл в сидячей позе лицом к востоку. У него была полная иллюзия, что он прозрачен. Арабы рассматривали его с расстояния 10 метров, а он мысленно внушал им, что сквозь него можно видеть линию барханов.

Выждав минут двадцать, арабы окружили его, самый молодой нагнулся, обнюхал Семена ниже спины и отрицательно качнул головой. Когда они убедились, что он не обделался от страха, их интерес возрос. Их было всего трое, парнишка лет шестнадцати и два вдумчивых бедуина под тридцать.

Семен был в одних кальсонах, сведя к минимуму возможность опознать его по белью, к голове прилип носовой платок с завязанными концами. Шестым чувством он понял, что его не убьют. Наслаждение распустилось в нем как ширазская роза, и он начал декламировать лермонтовское «Бородино». Когда он кончил читать, на глазах у него были слезы.

Четыре месяца арабы держали его у себя в становище как белого марабута и даже оказывали ему свое образное почтение. Семену пришлось изобрести собственный ритуал, пять раз в день он молился Востоку, распевая протяжные русские песни. Обычно вокруг него собирались дети и женщины, а незанятые мужчины слонялись неподалеку. Особенно слушателям нравилась «Вот мчится тройка почтовая», которую Семен исполнял вечером, когда жутко хотелось домой. Пел он ее почти басом и уверял, что в пустыне она звучит с ред-

кой проникновенностью. В конце концов, миссия Красного Креста выменяла его на две канистры бензина и вывезла во Францию, где сообразительному человеку затеряться так же просто, как иголке в стоге сена.

Постепенно он освоил почти весь средиземноморский ареал, странствуя каждое лето, попадая в передряги и набираясь опыта. Конечно, я отдавал должное его умению использовать любую ситуацию в своих интересах, здесь он был по-обезьяньи ловок, но за всем этим стояло еще что-то, пока неясное мне, но ощутимое при самом пустяковом столкновении с ним.

В Мерсинском заливе нас застиг небольшой шторм, и я сутки не ел, меня выворачивало как кошку. В Мерсине мы покинули судно, и хозяин, прибавивший за наше плавание еще пару килограммов, попрощался с Семеном, как с родственником, надоедливо повторяя, что всегда счастлив видеть его у себя на борту.

Мы тащились вдоль шоссе в Тарсус, глотая пыль от машин. На судне я успел выпить только чашку чая и теперь поглядывал по сторонам в надежде поживиться чем-нибудь вегетарианским.

Семен был в тонусе и жизнерадостно поносил современную цивилизацию, отучившую человечество ходить пешком.

Посмотри на этих идиотов, говорил он, провожая взглядом автомобили, большую часть своей жизни они проводят на заднице, именно задница с застоявшейся кровью приведет человечество к вырождению, прогресс, действующий в ущерб заднице, аморален, хотя и неотразим.

Я спросил, испытывал ли он во время своей тирады чувство превосходства над автомобилистами?

– Ради этого я и распинался, – ответил Семен и сморкнулся на обочину.

Мы отшагали еще с километр, прежде чем я осторожно заметил, что его мания величия, должно быть, всегда в боевой готовности.

– Ты ломишься в открытую дверь, – усмехнулся Семен, – тебе не пришло в голову, что я просто проветриваю твое настроение?

– Разве в этом есть необходимость? – спросил я, невинно округляя глаза.

Семен промолчал мне навстречу чувственно и вызывающе, его тело, как раковина, резонировало витками, и я поразился чуткости, с которой он призывает плоть к соучастию, вообще он не прятал плоть на задворках, а держал ее за партнера, с которым можно перемигнуться в карточных плутнях или поменяться местами в час опасности.

Тарсус оказался чистеньким и довольно унылого вида. Мы сняли сарайчик у вдовца с пятью детьми, и Семен тут же ушел, поручив мне сообразить что-нибудь на ужин. Я устроил два ложа из брошенных нам мешков. Было уже девять вечера, я подошел к дому и окликнул хозяина. Его усабая меланхоличная рожа высунулась в окно. Я жестом показал, что хочу есть, и протянул доллар. Хозяин вздохнул и вынес мне большую миску тыквенной каши и два огурца.

Семен вернулся через час, помолодевший, с насмешливыми глазами, и бросил мне на колени плитку шоколада. Все в сборе, таинственно объявил он и жадно уничтожил свою порцию каши.

В шесть утра Семен уже тормозил меня. Наскоро умывшись и выпив по глотку воды, мы вышли на улицу – с утра Тарсус выглядел более оживленным. На выходе из города нас уже ждали двое. У ног их лежали рюкзаки. Буквально в течение двух-трех минут подошли еще человек пятнадцать, я только успевал крутить головой на их приветствия.

Семен бросил мне на спину один из лежащих рюкзаков, второй подхватил молодой, коротко стриженный парень, и вся группа двинулась за теми двумя, что пришли первыми.

Так же, как и мы, все они были в шортах, но в большинстве своем выглядели более ухоженными. Говорили на английском. Парня, который нес второй рюкзак, звали Луи, мы с ним были самые молодые и тянулись сзади.

Я поглядывал на Кортни, который шел в середине группы. Рядом с ним семенил невысокий, заметно косолапый мужчина с забинтованным ухом. Семен мелькал в первых рядах, там чаще раздавался смех, в целом все это напоминало увеселительную туристическую прогулку.

Отшагав пять-семь километров, мы расположились в тутовой рощице. Из рюкзаков были извлечены легкие подстилки, термосы, пластиковые пакеты, и скоро все устроились полукругом, кто лежа, кто сидя, общий настрой был как нельзя более непринужденным. Семен примостился рядом со мной, продолжая переговариваться с другими.

Один из тех, кто ждал нас с рюкзаками, плотный, с жесткими чертами лица, Семен шепнул мне, что это Рышард из Лодзи, вынул из кармана маленький колокольчик и слабо звякнул. Установилась тишина, зыбкая, как пауза.

Напомнив, что компания собралась здесь в честь Павлатарсянина, который тоже активно бродяжничал, хотя и с другими целями, Рышард предложил посоперничать с прославленным апостолом в красноречии.

Раздался дружный смех, Семен пробурчал, что Рышард всегда подзуживает к проделкам, после которых остаешься в дураках.

Бросили жребий, и Рышард сделал легкий полупоклон в сторону белокурого гиганта, возлежавшего на подстилке мышиного цвета.

Я понимал едва ли десятую часть того, что говорилось, и Семен шепотом переводил мне, называя каждого, кто попал в центр внимания.

Швед Эрик бросался в глаза с первых же минут: платиновый блондин с тонким носом и черными бровями, мощная фигура атлета, длинные ноги и пружинистые движения – такого изысканного красавца я видел впервые. В упрек ему можно было поставить лишь красноватый оттенок загара, особенно на лице, и слишком густую поросль на конечностях.

Эрик сел на корточки и начал слегка раскачиваться. Звучно, с нажимом, он процитировал знаменитые строки Павла

о любви, потом сменил тональность и голосом баловня судьбы и женщин исследовал возможность человека возлюбить ближнего как самого себя. Сначала он разнес в пух и прах то, что называется естественной любовью к себе – более благодарного и безграмотного чувства я еще не встречал, томно цедил Эрик, откинув точеную пепельную голову, это чувство так замусорено эгоизмом, глупостью и полным незнанием того, что делать с собой, так беззаботно пущено на самотек, что создается впечатление – любовь к себе несущественна для человечества. Оно вполне обходится элементарным инстинктом самосохранения.

По снисходительным усмешкам окружающих я видел, что Эрик пока не сказал ничего нового. Солнце, пробивающееся сквозь листья, начинало припекать. Мы с Семеном полулежали голова к голове, как две рыбы на бумаге...

В чем человечество хотя бы минимально преуспело, это в любви к другому, голос Эрика обретал глубину и мягкость. Я сам участник и свидетель. Лет двадцать с лишним назад я любил и бредил любовью. Однажды я ушел за город на лыжах, чтобы отдышаться от этого чувства. Я свернул с накатанной лыжни, съехал в овраг и свалился, зацепившись за кустарник. Я лежал на снегу и умирал от любви – небо отзывалось на каждый мой вздох, в воздухе жила ее походка и привычка склонять голову на бок, я растекался по хвойным верхушкам и плыл над оврагом. Это была другая реальность, насыщенная и нежная. И вход в нее был только через девочку с темно-русым затылком и обкусанными губами. Как-то мы ехали в автобусе, и она сунула холодные пальцы мне под шарф. От этой случайной ласки действительность дрогнула и захлестнула меня. Эта молодая любовь обнажила жизнь, как девственницу, и она трепетала передо мной.

Потом я любил зрелую женщину, которая ускользала, отдаваясь. Ее душа странствовала отдельно от тела, и каким бы изнурительным ласкам она со мной не предавалась, в ней отражался не я, а ее бегство, эхо моей погони, я терял себя,

преследуя ее, как безумный. Эта любовь сняла с меня скальп и бросила на съедение муравьям. Я прошел сквозь ревность к существу, это худший вид ревности, который унижает тебя недостижимостью соперника.

Эта любовь обратила жизнь в пустыню, я и сам был пустыней на двух ногах, выжженной и мечущейся. А где-то рядом существовало мое прошлое, благоухавшее снегом и поцелуями в парках, и я не мог вернуться в него. Я не мог вернуться в свое же. Я стоял перед собственной жизнью как баран перед воротами. Двуногая пустыня стучалась в сад.

Я уже не говорю о других чувствах, в которых любовь меняла обличья, как Протей. Любовь служила отмычкой к другим реальностям. В этих разных чувствах я реализовался с большей силой и полнотой, чем в том вялом интересе, который называют естественной любовью к себе.

Эрик смолк, обвел нас взглядом, и ответная усмешка блеснула в его глазах, скользнула по лицу вниз и юркнула ящерицей в ямочку на подбородке. Я поймал себя на мимолетной зависти, которая отложила в память покосившийся ствол шелковицы, желтоватую тень ее кроны и загорелое, изменчивое лицо, которое дразнило нас, как струя фонтана.

Тем самым евангельское предложение возлюбить ближнего своего как самого себя, лениво продолжил Эрик, представляется мне наивным и лишенным смысла. Оно обретает смысл лишь в том случае, если поставить его с головы на ноги. То есть, возлюби самого себя, как ближнего своего, как невесту и жену, как друга и врага, возлюби себя, как последнее убежище, как древнее лоно мифа, стань тем, кто ты есть, возлюбленным своих глаз и души, петухом и лилией раннего утра. Переводя последний пассаж, Семен несколько раз запнулся. Необходимость переводить, видимо, слегка раздражала его, хотя Эрик говорил медленно, явно соображаясь с нашими затруднениями.

Изначальный евангельский вариант можно понять лишь в том случае, продолжал Эрик, если допустить, что Иисус обладал полнотой любви к себе и предполагал, что другие

обладают тем же. Возможно, именно здесь кроется разгадка двойственности Павла. Савл, дыша угрозами и убийством, прозрел и не стал переть против рожна – любви, которая в это мгновение-встречу пронзила его истинной страстью к самому себе. Он впервые полюбил в себе человека. Человек открылся в нем как универсум, брызнул во все стороны и напоил песок его гневливой души. Результат превзошел все ожидания.

– Таким образом, заключил Эрик, соскользнув с корточек и растянувшись в позе римского патриция за пиршественным столом, – христианством мы обязаны людям, которые любили себя – один с естественностью от рождения, второму это глубокое чувство подарил припадок эпилепсии.

Все зашевелились, несколько человек заговорили одновременно. Рышард звякнул колокольчиком и кивнул Патрику, рыжему ирландцу с красными ресницами, который уже давно ерзал и поводил плечами.

М-милый мой, начал Патрик, слегка заикаясь, все это очень красиво, но ты не хуже других знаешь, что евангельская любовь по сути предполагает полное забвение самого себя. Чушь, фыркнул Эрик, очередной стереотип. Эта ч-чушь дала высокие образцы жертвенности и смирения, напирал Патрик, а ты упустил этот момент, для тебя эта область слишком горяча...

Семен засмеялся и, шепнув, что эти двое всегда видят разные стороны одной монеты, бесшумно встал. Вместе с бритоголовым пожилым человеком, профиль которого напоминал собирающегося чихнуть Будду, они отошли к большому камню. Еще трое по одиночке удалились за деревья.

Отчаявшись понять что-либо без переводчика, я гусиным шагом подтянулся к Кортни и Уильямсу, которые тихо переговаривались. У Уильямса оказались круглые глаза и беспомощная складка у губ, неожиданно розовых и блестящих. Он так радушно принял мои извинения, словно я был долгожданным гостем. Мой английский доставил им удовольствие, они сделали мне комплимент, если я правильно

их понял, что мое произношение подобно негритянскому танцу под барабаны.

Спор разгорался, Патрик стоял уже в полный рост и гвоздил Эрика невидимым копьём, как святой Георгий дракона.

Я вернулся на нашу подстилку, скинул майку. Так было солнечно и хорошо, воздух сухой, прозрачный, день просматривался на многие километры вокруг.

Тутшибанул такой аромат кофе, что я внутренне ахнул. Луи подкрался сзади и откупорил у моего плеча термос. Рышард укоризненно повел бровью, потом его ноздри затрепетали, и он повелительно взмахнул колокольчиком.

Все повскакивали и резко двинулись к еде. Я уже жевал бутерброд с консервированной ветчиной, благодарно кивая Луи, который ловко разливал кофе в пластиковые стаканы. Позже я узнал, что Луи наполовину француз, наполовину итальянец, но это и так было видно – рожа озорная, с изюминкой, одна бровь выше другой, глаз миндалевидный, стреляющий, темные короткие кудри и бледно-смуглая кожа, в сумерках казавшаяся оливковой. Он прихватил и банку ананасов в собственном соку, правда, после ветчины их вкус был неестественным.

Семен перекусывал в компании с бритоголовым и еще каким-то сутулым мужичком в очках. Кофе был превосходный, я давно не пил такого и теперь наслаждался, смакуя каждый глоток. В заднем кармане шорт я нашел кусок вчерашнего шоколада и поделился с Луи.

Рышард опять звякнул колокольчиком, и все разбрелись по местам. Семен принес мне странную восточную сладость, которую я проглотил, так и не поняв, что это, во рту осталось ощущение вязкого, охлаждающего.

В середину нашего полукруга вышел тощий португалец Диас с карими косящими глазами; он еще утром произвел на меня неприятное впечатление своим хищным свистящим смехом, хотя Семен уверял, что это чистая физиология, а на деле Диас добродушнейшее существо, в которое, как в проточную воду, можно поставить розу, и она неделю не завянет.

Диас остановился, глаза его плавали, он дважды причмокнул, так приманивают собаку, и гнусаво затянул монотонный, без слов, мотив.

Вытянул вперед руку с поднятым вверх указательным пальцем, конец которого ярко блестел под солнцем. Я, прищурясь, взгляделся, это походило на серебряный наперсток, который я видел в детстве у старухи-соседки.

Я незаметно огляделся – все смотрели на этот наперсток с видом подростков, предвкушающих развлечение. Я тоже уставился на наперсток и скоро ощутил приятную сонливость.

Вдруг из наперстка поднялась кобра, чешуя которой тоже переливалась на солнце. Она раскачивалась и исполнила несколько па на кончике хвоста. Потом кончиком хвоста подцепила из воздуха флейту и поднесла ее ко рту. Ее мелодия тут же перекрыла мелодию Диаса и взвинтила темп. Вокруг кобры проросли гороховые стручки, зеленые, лоснящиеся, они раскачивались в такт. Их верхние концы с треском лопнули, и оттуда вылезли человеческие головы. Я узнал всю нашу компанию, включая Диаса и себя.

Продолжая раскачиваться, они влюбленно смотрели на кобру. «Ха-ха» – сказала кобра, вынув флейту из пасти, и вся компания послушно повторила: «Ха-ха».

Я чувствовал, как мои внутренности начал раздирать смех, но моя настоящая голова раскачивалась в такт той, что торчала из стручка.

«Да здравствуют кобры, повелительницы людей!» – провещала кобра, и наш хор откликнулся с удвоенной силой, теперь и мы кричали наравне с гороховыми стручками.

Тело мое корчилося от смеха, я сжимал кулаками живот, а голова участвовала в общем спектакле. Я ощущал себя, как полотенце, один конец которого выкручивают, а другим размахивают, как флагом.

«Лучше быть дохлой коброй, чем живым человеком!» – возгласила наша повелительница, и на голове у нее появились очки-зеркалка, а на шее фотоаппарат. Пока мы повто-

ряли ее последнюю сентенцию, она молниеносно отщелкала нас «кодаком». Послала нам хвостом воздушный поцелуй и исчезла.

Я медленно приходил в себя, ощущая, как болят мышцы живота и грудной клетки. Вокруг стояло одобрителное ржание, а Диас раздавал фотографии. На моей я увидел цветное изображение роскошного горохового стручка, из которого торчала моя задумчивая физиономия. Под стручком, уютно сложив кольца, лежала кобра.

Не покупайся так дешево, сказал Семен, заметив мое ошеломленное лицо, обычный монтаж. Но он видит меня впервые в жизни, возразил я. Значит, зацепил нас где-нибудь по дороге, может быть, даже вчера, усмехнулся Семен, ради хорошего розыгрыша Диас способен сутки провисеть вниз головой, не говоря уже о таких пустяках.

Он что, гипнотизер, осторожно спросил я. Вроде того, кивнул Семен, свободный художник в этой области, он, подлец, умудряется работать, оставляя в тебе кусок свободного сознания. Именно это он и проделал сейчас нам. Но это опасные штучки. Лет шесть назад он довел до инсульта одного клиента в Аддис-Абебе, который много позволял себе. Ну, Диас и показал, что внешняя власть над другими не гарантирует власти над собой. Он заставил его увидеть, как жена изменяет ему с личным шофером, но оставил ему способность частью сознания рефлексировать по этому поводу. Как ему это удастся, никто из нас понять не может. Это раздвоение и долбануло того типа по мозгам, инсульт, обморок, скандал. Диас с трудом выпутался из этого дела. С нами он допускает лишь невинные шутки типа этой, а в основном развлекает традиционным гипнозом, жутко сюжетным, ему бы в мультипликации работать. Да ты сам сейчас увидишь.

Все опять уставились на наперсток, а Диас снова завел свою монотонную песнь.

Ночь опустилась так незаметно, что я сначала ощутил влажность на плечах, а потом глаза привыкли к темноте, различая густые заросли и стволы. Зазвучал девичий смех,

за ним шепотом на незнакомом языке. Проступил лунный свет, две девичьи фигуры выбрались на поляну, у обеих волосы до пояса, короткие белые туники, босые ноги.

Они смеются и шепчутся, показывают на поднимающуюся луну, пытаются взлететь, подпрыгивая и взмахивая руками. Вдруг у одной получается, она зависает в воздухе и издает такой удивленно-восторженный писк, что у меня перехватывает в горле. Вторая столбенеет, потом отчаянно подпрыгивает, поджав коленки к животу, ее заносит и начинает кувыркать в воздухе. Обе хохочут как сумасшедшие, наконец первая помогает второй обрести равновесие.

Они медленно взлетают, лес остается внизу, неподалеку блестит река, по обоим берегам ее дома, но электрического освещения нет. Над всем властвует луна, круглая как щит.

Девушки с детским восторгом разглядывают окрестности и вдруг замечают, что к ним приближается темный квадратный ковер, а на нем, скрестив ноги, сидит юноша в белой чалме. Девушки испуганно прижимаются друг к другу, явно, что подобное они видят впервые...

Юноша складывает ладони на груди и на арабском приветствует их. Девушки поражены, что существуют слова, которых они не понимают, они переглядываются и с недоумением пытаются повторить арабское приветствие.

Юноша жестами приглашает их на ковер. Они осторожно, готовые тут же сорваться с места, ножкой трогают ковер, пробуют его прочность, наконец ступают и усаживаются. Юноша открывает лаковую шкатулку и достает три чашки дымящегося кофе. Глаза девушек блестят от любопытства, грациозно, как кошки они манипулируют с чашками, обнюхивают их, обжигаются, вскрикивают, обмениваются впечатлениями.

Появляется конец узкой лестницы, который приставляют к коврику. Верхняя перекладина возвышается над ковром, и все трое застывают от настороженного изумления. Юноша дотягивается до перекладины и пытается заглянуть вниз.

По лестнице поднимается почтенный человек с пейсами и седой бородой, он пыхтит и отдувается, до меня доносится запах его пота. Когда его голова появляется над ковром, усталость и взволнованное ожидание на его лице сменяются оторопью. С минуту он тупо смотрит, а потом гримаса дикого разочарования перекашивает его благообразное лицо.

Юноша открывает свою шкатулку и достает еще одну чашку с дымящимся кофе. Он с поклоном протягивает ее бородатому, но тот качает головой и с тоской смотрит вверх, обшаривая небо взглядом. Потом с угасшим взглядом, крих-тия и сдерживая стоны, начинает спускаться по лестнице.

Юноша ставит чашку на поднос, где стоят три пустые, и по-арабски объясняет девушкам, что это старый, уставший от жизни джинн, который утратил большую часть своего могущества и теперь ищет эликсир бессмертия. Девушки щебечут по-своему и разглядывают жемчужное ожерелье на шее юноши.

Снова появляется бородатый, молча берет свою чашку и спускается, держась за лестницу левой рукой, а в правой, как реликвию, несет чашку, всхлипывая и жалобно шепча себе под нос.

Луна увеличивается в размерах и вдруг оказывается подо мной – я начинаю падать в нее, остро осознавая, что других людей, кроме меня, не существует, все это был сон, а на самом деле я один, и мое одиночество – единственная разновидность человечества.

А луна играет со мной – то притягивает со скоростью падения, то подбрасывает, то позволяет нежиться, как пушинке, я единственный любимец луны, ее игрушка, с которой она коротает вечность, она приучает меня к вечности, чтобы я не задохнулся от ужаса в объятиях времени, но я не лунатик, я не сплю, я спокоен, так как понял, что вернулся домой, что луна искала меня, и вся история человечества не более чем ее беспокойство обо мне, ее измышления по поводу моих возможных приключений, она придумывала одну цивилизацию за другой, выпускала на сцену многочислен-

ные народы, чтобы нащупать меня, мою тоску и нежность, а теперь мы вместе, брат и сестра, я тоже отражаю солнечный свет, я тоже бессмертен и полон лунного высокомерия, я двурогий месяц, перед которым стелется Млечный путь, и звезды ждут моей благосклонности, я открыл черную тайну неба, как вход к себе, и блаженствую...

Семен щелчком сбил муху с моей скулы, и я начал стряхивать оцепенение, как брызги, а потом растер себе шею и затылок. Все вокруг потягивались, а сидевший неподалеку крутолобый, выбритый до синевы мужик торопливо делал пометки в книжечке.

– Боже, какой идиллический сеанс, – позевывая, сказал Семен. – Близость апостольской родины действует даже на таких прожженных циников, как Диас. В прошлый раз он заставил нас участвовать в разграблении Рима бандитами Алариха. Мы носились по улицам при свете пожарищ, убивали беззащитных стариков, насиловали женщин, совали под панцирь золотые вещи и скользили в лужах крови. Помню, мне ужасно досаждала колотая рана в левом плече, пришлось бросить щит и обмотать руку каким-то драным плащом. Но, собственно, защищаться пришлось только на первых порах, потом паника лишила ума даже здоровых мужиков, они прятались в самых немыслимых местах, одного я случайно обнаружил в бочке, куда сунулся, чтобы смыть копоть с лица. После всей этой резни мутило даже самых закаленных из нас. Диас употребил нас во всей красе человеческой мерзости.

Семен заглянул мне в глаза и сказал, что мне, пожалуй, повезло с таким началом.

– С непривычки ты мог бы задвинуться, парень, – задумчиво произнес он. – Слишком ты впечатлителен. А такой невинный сюжетец годится даже для школьника, изучающего историю в картинках. Сегодня Диас употребил нас в розовых тонах. Это еще худшая издевка.

– А ты сейчас тоже был двурогим месяцем? – спросил я, все еще помня свои лунные безумства, эту роскошь свободного падения.

Семен громко перевел мой вопрос на английский. Видимо, в этот момент я походил на классического дурачка с блаженно отвисшей губой – все покатались со смеху.

После небольшой передышки все сгрудились вокруг одногоглазого Саида, который в небрежной позе сидел на земле.

Смутный, худой, с обветренными губами и пустой слезящейся глазницей, он выделялся среди этой братии естественностью настоящего нищего, даже Семен на его фоне смотрелся бродягой-любителем. Его грязные, в трещинах, ноги и засаленное тряпье заставили меня внутренне передрнуться, хотя за эти месяцы бродяжничества я ко многому притерпелся.

Рышард сказал, что сегодня Саид продемонстрирует раздвоение, беседу Саида с кем-нибудь, второй типаж могут задать присутствующие. А-а, тут же отозвался с тонкой усмешкой Эрик, пусть побеседует с Софи Лорен, заодно узнает у нее, не утомительно ли быть красивой женщиной, на которую сбегаются как на водопой.

Саид безразлично ответил, что не знает, кто эта уважаемая леди. Уцепившись за последнее слово, Рышард предложил ему доказать типичной английской леди, что верблюд – истинный друг человека, а не какая-нибудь домашняя шавка.

То, что произошло потом, на несколько лет вперед предопределило мой жгучий интерес к Саиду, интерес, который самостоятельно работал в моем направлении, пугая и подстегивая, а я сдавал ему одну позицию за другой и рассчитывал на выигрыш, не дающийся в руки.

То, что делал Саид, не было простым актерством, – когда он говорил за леди, менялась не только внешняя атрибутика: мимика, интонации, движения, перетекала сама его конституция; я стоял немного сбоку и готов был поклясться, что видел острый локоток живой леди, ее жеманный профиль, трогательно большое увядшее ухо, остатки пудры у носа. Это была женская кожа, женская истеричность, в центре муж-

ской компании, среди бродяг, оказалась испуганная женщина, которая никак не могла понять, что же происходит, и на все попытки Саида рассказать ей о красоте и благородстве верблюда отвечала бессвязными восклицаниями и суетливостью рук и головы. Она беспомощно оглядывала нас, и Рышард даже дернулся успокоить ее, но вовремя спохватился и смущенно пожал плечами.

Сначала Саид давал женщине и себе по полторы-две минуты существования, потом стал чередовать все чаще, и мы оказались перед потрясающим зрелищем биологической морзянки: точка-тире-Саид-женщина-...

Я совершенно обалдел, и у меня впервые мелькнуло сомнение в собственной принадлежности своему телу, точнее в необходимости и естественности такой принадлежности. Я скорее почувствовал, чем понял, что Саид не так жестко ориентирован на самого себя, как обычно бывает, и это на мгновение ослепило меня открывшимися возможностями.

Саид в изнеможении склонился к земле, Уильямс присел на корточки и белоснежным платком промокал ему лицо. Кортни принес термос с кофе. Остальные возбужденно переговаривались, Семен потоптался и, скорее себе, чем мне, невнятно пробормотал, что раскачивать надо дерево с плодами, а не то, на котором сидишь сам.

Вскоре все разбрелись по группкам, кто-то прикорнул в густой тени. Рышард и еще двое ползали на коленях вокруг расстеленной на земле карты, Кортни с неизменным Уильямсом горячо насккивали на седовласого грека из Салоник, который держал глиняную табличку с клинописью и упрямо произносил одну и ту же фразу на каком-то подпрыгивающем птичьим языком.

Я искал возможности перемолвиться с Саидом, поэтому переходил от одних к другим, нигде долго не задерживаясь. Саид посидел в компании, где первенствовал круглоголовый, с блинообразным лицом мужчина по имени Лунаки, веснушчатый, как перепелиное яйцо, потом отошел в сторону и стал массировать себе подошвы.

Я присел в полуметре от него и по-арабски сказал, что он похитил мое внимание, как коршун пичугу; не то чтобы я хотел показать ему, что кое-что понимаю в традиционной арабской вежливости, просто в тот момент это так и было, словно посреди дня мне приставили к глазам трубу, и я видел только его.

Он посмотрел на меня с полным безразличием и зафиксировал взгляд на мне. Так прошло, наверное, минут пять-десять, я начал обливаться потом и ощутил, что внутри Саида происходит нечто, что я мог бы приблизительно пояснить следующим сравнением – в огромном доме с наглухо закрытыми дверями, где-то в задней комнате, зажгли спичку, ее свет не виден за пределами дома, тем более с фасада, но спичка горит. За неподвижным лицом Саида, может быть, на расстоянии десятилетнего пути, в глухом безлюдном уголке, где даже слабое дыхание оглушительнее сквозняка и грозы, горит еле видимое пламя для меня.

Я молча ушел от него. За этот день я многому научился, в том числе я боковым чувством уловил, что сейчас моя стезя – это молчание, открытое, как поверхность озера, засасывающее молчание, которое должно манить и обещать отдых, чистоту отражения, я ушел в этот соблазн, который для меня самого был пугающе необходим.

Семен подозвал меня, впятером они подначивали Патрика, который живописал, как под Эннискорти весною он заблудился в знакомом всем ощущении, что это с ним уже было. Он шел по проселочной дороге мимо частного поля, засеянного люцерной, и просто забуксовал в нестерпимой знакомости происходящего. Раньше он здесь не бывал, никуда особенно не спешил, поэтому уселся на край поля и стал невесомо и осторожно рыть в глубь ощущения, если можно рыть крылом бабочки или ресницами, я это делал, сказал Патрик, он узнавал пасмурный день с теплой воздушной прокладкой, очертания холма за полем, нежно-зеленый цвет молоденькой люцерны, желто-бурую пыль дороги. Все

внешнее он узнавал, но себя в этой местности-ситуации не признавал.

Это ты в чужом заблудился, вкрадчиво предположил пышноусый, с отвислым носом субъект, но его перебил другой – в залихватски заломленной кепи, с глазами навывкате и жевательной резинкой в левом углу рта, конкретное существо Патрика вообще под вопросом, глубокомысленно сказал он, из всех нас это самое зыбкое переменчивое существо, мудрено ли, что он не узнал себя, если я до сих пор узнаю его лишь после длительного нудного взглядывания в эти рыжие космы, являющиеся единственным постоянным признаком, по которому можно, и то с минимальной степенью уверенности, идентифицировать это нечто с Патриком.

Такую густую нестриженную гриву носили, наверное, тысячелетия назад в племенах, не знавших ножниц и гребенки. Грива ярко отливала медью и еще больше обесцвечивала молочную кожу Патрика, которая под здешним солнцем покрылась пятнами. Кротко и невозмутимо помаргивая, Патрик переждал насмешки.

После того как он привык к узанному, обжился в нем, хотя и продолжая ощущать себя незнакомцем в знакомой атмосфере, он внезапно утратил чувство реальности. То есть никак он не мог сообразить, в каком времени он находится в данную минуту. Выглядывает ли он из настоящего в это знакомое прошлое или наоборот, а может, он вообще падает в пропасть узнавания, у которой нет дна, и ему придется узнавать и узнавать до дурной бесконечности, у него началось головокружение, как от заглядывания вниз с двадцатипятиэтажной башни.

– Кто-то использовал тебя как подзорную трубу, – встрял Семен, – ты случайно попался под руку и с твоей помощью разыскивали какую-то мелочь в прошлом, которая завалилась меж временными пластами. Патрик, ты побывал в руках бессмертных!

Кое-как выбравшись из этого состояния, с чувством потери и недоумения Патрик отправился дальше. А месяц спу-

стя, находясь с женщиной, в самый пиковый момент Патрик снова рухнул в это узнавание и вместе с ним в женщину, которая впала в транс и начала вещать, как пифия. Патрик узнал массу любопытного о своем будущем, тесно переплетенным с будущим Европы, о грядущих землетрясениях, высадке инопланетян в султанате Бруней и т.д. Очнувшись женщина была свежа как утро и рассказала, что видела чудесный сон, как она жарила цветную капусту, обсыпанную сухарями.

– А с другими женщинами ты этого не пробовал, – спросил пучеглазый, – может быть, ты служишь отмычкой к женскому бессознательному?

Я могу попробовать со всеми вами по очереди, кротко ответил Патрик, возможно, откровения мужеложества переплунут дельфийского оракула. Спустя еще неполный месяц Патрик пересек Ла-Манш и, высадившись в Кале, зашел в общественный туалет. На стене кабинки синим фломастером было написано по-английски: «Патрик, рыжий козел, делай вид, что мы незнакомы. Наши дорожки разошлись». Последняя фраза опьянила Патрика. Напевая «наши дорожки разошлись», он опорожнял мочевой пузырь и блаженствовал. На этот раз узнавание началось смехом. Он радостно захохотал, вспоминая, сколько раз стоял в этой позе, орошая землю, фаянс, металл, песок, угол дома, и осознал, что это главная поза его жизни, его телесный иероглиф, с высоты которого он обозревает происходящее. Из его живородящей струи возникает все многообразие жизни, от звезд до падали, теперь он, наконец, узнал и ситуацию, и себя – он всего-навсего одно из будничных воплощений сущего, которое в избытке своем расщедрилось на человеческий маскарад. Так что все вы мое порождение, дети моей мочи, заключил Патрик, интеллектуальный осадок моей урины, первенцы моего пузыря, которых я приблизил как избранных.

Тут несколько человек навалились на него и принялись щекотать своего уриноотца, как тут же окрестил его Семен, успевший шепнуть мне, что Патрик до смерти боиться ще-

котки. Они устроили такую свалку с визгом Патрика и воплями остальных, что я, уже очумевший от впечатлений, тихо отступил к рюкзакам, нашарил кусок бисквита и отполз подальше.

Наверное, я задремал, потому что не заметил, как подошел Луи. Он сидел рядом и кончиком сухой ветки чистил ногти. Спросив, не хочу ли я прогуляться с ним к озеру Ван, где, по рассказам его знакомых, еще остались нетронутые уголки, он выудил из кармана крупный грецкий орех и попытался раздавить его ладонями.

Я ответил, что на конец сезона уже договорился с Семёном, а вот будущим летом с удовольствием пошатался бы с ним где угодно. Узнав, что я почти нигде еще не был, Луи присвистнул и быстро набросал маршрут – встречаемся в Багдаде, хлебнем колорита «Тысячи и одной ночи», оттуда летим в Рим, он покажет мне Италию, где можно жить как у бога за пазухой и валять дурака, никого не смущая.

Семен советовал без крайней необходимости не говорить, что я русский и из Союза, такая информация растекается быстрее, чем можно предположить, и оседает в самых неожиданных местах. Из всей компании только двое знали, кто он и откуда, для большинства он оставался разбитным югославом. Поэтому я помялся и сказал, что у меня есть некоторые визовые и денежные затруднения, нельзя ли выбрать маршрут попроще, во всяком случае, на авиарейс я не потяну.

Луи наконец раздавил орех, сунул его мне и достал второй. Ничего, сказал он, прищурившись, твой старший друг, который корчит из себя великого конспиратора, научит тебя, как выйти сухим из воды, неся в клювике горсть монет. В крайнем случае, я ссужу тебе сотню-другую. Ему пришлось повторить еще раз, а потом перевести на арабский и помочь себе жестами, прежде чем я уразумел. Я покивал, и мы условились на вторую пятницу июня встретиться в предместье Багдада по адресу, который Луи нацарапал мне на бумажке.

До самых сумерек вся компания развлекалась, играя с собственным и чужим сознанием, пытаясь вывернуть наизнанку любое утверждение и разыгрывая друг друга с подростковой неистощимостью. Я вынужден был таскаться за Семеном, чтобы не упустить хотя бы части происходящего. Обязанности переводчика под конец досадили ему до такой степени, что он по-дружески матюкнул меня и пригрозил, что следующим летом не переведет мне ни одного слова.

Я уже пригляделся ко многим и чувствовал себя непроработанным провинциальным бревном. Рышард, несмотря на свою внешнюю солидность, собирался на ишаке повторить путь Александра Македонского в Индию и осесть там на несколько лет в каком-нибудь ашраме, чтобы сравнить созданную им самим технику медитации с йоговской, ему казалось, что его техника позволяет медитировать сразу в двух плоскостях – во второй, дополнительной, плоскости тень, отбрасываемая медитирующим сознанием, сохраняет дискретность и некоторые аналитические функции, что дает возможность провоцировать самые неожиданные состояния.

Седовласый Никос уже четвертый год разрабатывает технику отождествления себя с целым рядом предметов и понятий, последовательность которых вызвала у меня вспышку веселья. Нужно было отождествлять себя по очереди с деревом (Никос предпочитал лавр благородный и совсем не жаловал хвойные), облаком, проституткой, рыбой, Озирисом или каким-нибудь другим языческим богом Востока (здесь принималась во внимание личная склонность), зажигалкой, молотом, самим собою (этот возврат к себе не должен был превышать десяти-пятнадцати секунд), вечностью, большим универсальным магазином, верблюдом, пролезающим в ушко иглки, абсолютным ничто, полутораметровым каменным фаллосом, деньгами, рожающей кошкой, летящей стрелой – в этом состоянии рекомендовалось находиться до естественного конца, стрела сама падала на землю.

Никос утверждал, что такая последовательность в отождествлении разминает сознание как глину, очищает от самодовольства и ограниченности единицы, придает первозданную гибкость и свежесть – теперь сознание готово воспринять действительность объективно.

При слове «объективно» двое имитировали девичий обморок, Патрик забился в театральной истерике, остальные же ухмылялись или смотрели на Никоса с отеческим сочувствием.

Веснушчатый Лунаки поставил целью приручить судьбу – он устраивал ей ловушки, брал на износ, однажды помолодел на семь месяцев, отказывался от явных удач, пытался подставить вместо себя других или плодил двойников, менял внешность и динамические стереотипы, чередовал бешеную активность с грандиозной ленью, загустевавшей как мед, присутствовал в качестве репортера на собственных похоронах.

Я хохотал как безумный, слушая очередную порцию его приключений, в которых судьба присутствовала то как разящий меч, то как прекрасная незнакомка, временами ей приходилось по-дурацки разевать рот от изумления или крутить пальцем у виска. Лунаки не давал ей скучать, поражая ее воображение – он то пытался заделать ей ребенка, то рисковал жизнью как последний глупец.

Хохоча, я ощущал, как по позвоночнику сквозит сладострастный ужас, было нечто таинственно-жуткое и пленительное в усилиях этого неуклюжего толстяка обольстить и обольститься – он защищался от чрезмерной остроты собственного существования, как прижатый к стене, окровавленный воин.

К концу дня я почти шатался. Я был как стакан, вместивший водопад. Я зевал и путался в словах. Обратный путь в Тарсус был для меня шагающим сновидением, по краям которого скользили смутные тени. В городе компания быстро рассосалась, Семен довел меня до сарайчика, и я свалился на мешки. Следующие два дня мы добирались до Стамбула,

из экономии пользуясь пригородными автобусами. Я продолжал урывками отсыпаться. Когда мы проезжали озеро Туз, пересохшее и покрытое коркой соли, я вынырнул из очередного забытья и сдавленно просипел, что Саид мелькает во мне, как лопасти вентилятора. Семен дожевал кусок клеклого хлеба и сказал, что Саид работает, как альпинист без страховки, однажды он заблудится и останется в темноте, откуда его никто не сможет вытянуть.

Несколько перегонов нам удалось проехать зайцами, теперь вид у нас был более благопристойный, мы тянули, по выражению Семена, на школьных учителей из глубинки Франции, помешавшихся на величии Древнего Востока и обтирающих своими коленками каждую историческую впадину. От живописно-вонючего тряпья мы избавились еще на корабле. Линялые, но крепкие шорты и майки и аккуратно подбритые бороды – Семен собственноручно обработал нас обоих, позволяли нам не очень выделяться из общей передвигающейся массы.

На одной из пересадок, когда мы торчали в центре деревушки с традиционным бассейном и арабской вязью на его потрескавшихся стенах, к нам подошли трое подростков-европейцев и спросили, нет ли у нас травки. Семен качнул головой, и они ушли. После сходки под Тарсусом он был молчалив и не так подвижен, рядом со мной путешествовал солидный человек, напоминающий выправкой отставного военного.

Проводив взглядом подростков, Семен помягчел лицом, а потом и вовсе мечтательно вздохнул. Я поинтересовался, какое воспоминание о наркотическом блаженстве всплыло из глубин его многоопытной памяти.

Это еще не для твоих ушей, мягко ответил он, просто вспомнил, как начинались хиппи, они превратили бродяжничество из жесткого опасного ремесла в игру, полную детского любопытства и открытости. На первых порах я чувствовал себя среди этой очаровательной мелочи как консервная жестянка на клумбе. Я опьянел от их свежести, это

было чудесно, вдруг эти дети послали к черту устоявшийся быт и хлынули на улицу, на траву, в чужие объятия. В них была бесшабашность воробьев, они чирикали под гитару и думали, что весь мир последует их примеру. Им казалось, что любовь вот-вот затопит все души и банковские счета. Я сам попался на эту удочку и ожидал немедленных перемен – так убедительны были их сверкающие глаза и открытость, с которой они принимали каждого проходимца. Революция любви дышала нам в затылок.

Семен насвистел несколько тактов из «Love story», закашлялся и сплюнул в пустой бассейн.

Но в наше время все хорошее очень быстро кончается, язвительно сказал он, оно становится модой, потом его тиражируют в ширпотреб и извращают до банальной пародии. Этот юношеский порыв замусолили так быстро, что я не успел поглупеть окончательно и отделался сладостной иллюзией, которую похоронил с подобающими почестями.

Знойная прерывистая тишина турецкой деревушки отдаляла Семена, я слышал его сквозь плотно-горячий слой звуков и оглушительных пауз, утягивающих меня на дно.

Я вспомнил, как брел по Турции всего несколько месяцев назад, как напрягался при виде каждого полицейского, турецкая речь горохом барабанила по ушам, а минареты вызывали непристойные ассоциации. Ночами я бывал так жалок и неприкаян, что доходил до бешенства и проклинал свою слабость. Семен одомашнил для меня Ближний Восток, снял ощущение чужести, я даже не заметил, как это произошло. Сейчас я с наслаждением погружался в ощущение покоя и уюта, здесь, на этом сухом, каменистом клочке земли, я был в том самом душевном фокусе, который даже скалу покрывает виноградными гроздьями.

Я шепотом сказал себе, что я нашел свою компанию. Эти мужики, предававшиеся под Тарсусом роскоши общения и импровизирующие на себе, как на инструментах, тертые зрелые мужики, прошедшие огонь и воду, даже в корректном Кортни мгновениями проскальзывала жестокость, от-

дающая, как серой, опасностью, эти насмешливо-нежные, с сумасшедшинкой мужики уже давно истоптали ту область, куда я только вступил, воображая себя первопроходцем и отчаянным авантюристом духа.

Я не расспрашивал Семена, кто они и почему встретились, я уже усвоил, что молчание развязывает чужой язык лучше всего другого, я вынуждал Семена бродить вокруг моего молчания, спотыкаться о него, и сейчас я рассматривал Семена с предвкушением охотника, знающего, что зверь не минует ловушки. Лицо у него было крепко сбитое, загар еще уплотнял его, подчеркивая скулы, узкие желто-карие глаза, неровные зубы, приплюснутый нос – обычное лицо уроженца средней России, совсем неприметное лицо, если бы не живость черт.

Он тут же скосил на меня взгляд, и мы изучали друг друга, пока я не сдался и не отвел глаза. Старуха в головной повязке и с подносом в руках продала нам два куска печеной тыквы, сладкой как морковь. До Семена я не встречал человека, присутствие которого было бы так ощутимо и раздвигало границы, его жизнь не отстаивалась в нем, а непрерывно расширялась, захватывая все новые и новые территории, поглощая события и людей, я чувствовал, что ни одна мелочь моего поведения не ускользает от него.

Я не удержался и тихо заметил, что он человек-империя, экспансия которой должна иметь свои пределы. Как ни странно, он промолчал. Мы торчали на остановке уже полтора часа, автобус запаздывал, вокруг слонялись остальные пассажиры, среди которых был пожилой курд в национальной одежде, сморкавшийся в клетчатый платок. Он так трубил, что женщины вздрагивали, у одной был грудной ребенок, начинавший плакать при каждом трубном всплеске. Казалось, так будет продолжаться целую вечность, солнце вместе с нами застряло на этой деревенской площади...

В Стамбул мы прибыли поздно вечером и ткнулись в третьеразрядную гостиницу, хозяин которой жевал пахлаву под пыльным портретом Энвера-паши. Утром я впервые

проснулся раньше Семена, он встал через час и нехотя объяснил, что это бывает, отсутствие тонуса, своего рода спячка на ногах. Он показывал мне азиатскую и европейскую части города, скупко комментируя и морщась от шума, знакомых у него здесь было мало, сам он по-турецки знал лишь несколько десятков слов. На одном из мостов через Босфор мы стояли долго, любуясь Золотым Рогом и подставляя себя дневному бризу, сдувающему верхний слой жары. Противоприродная страна, проворчал разморенно Семен, грешен, не принимаю ее душой, какой-то маскарадный морок, нет в ней подлинности, сколько культур здесь осело, впиталось в почву – малоазийцы, греки, римляне, а какой христианский пласт, и вдруг откуда-то эти турки навалились, и неплохой народ, в деревнях мужики чем-то на наших похожи, добродушны, терпеливы до глупости, а не смотрится здесь. То ли срок давности не вышел, всего пять веков они здесь толкуются, то ли прошлое перевешивает, но никак я их всерьез не принимаю, нет органики, так и осталось бутербродом – снизу все богатейшее прошлое, а сверху тонким искусственным слоем Турция.

Я оглядел простор Босфора, втянул солоноватый воздух, отдававший смесью отработанного бензина и портовой гнили, и подумал, что турки знали, что завоевывать, хорошо стоять вот так, между Европой и Азией, между Черным морем и Мраморным, над проливом, где не проплывал только ленивый; этот водный полумесяц разделял город, как ятаган, брошенный на ложе и влажно поблескивающий среди простыней, – я усмехнулся пышности своего сравнения, в моем читательском детстве турки были неотделимы от сладострастия, и до сих пор в моем представлении гаремный душок тянулся за их суетливой походкой.

В археологическом музее Семен ненадолго оживился, ехидно заметив, что гораздо проще и выгоднее рыться в чужом прошлом, чем в собственной душе, поэтому Шлимана знают все, а того же Саида никто, хотя холм Гиссарлык в сравнении с человеческим сознанием всего лишь земляной

пирог с горизонтальными прослойками внешнего мусора. Мы зашпорили шелестящими голосами, спугнув тишину мусея, я упирал на то, что прошлое – это чернозем внутреннего пейзажа, мы нагородили высокопарной чепухи, вдруг Семен привстал на цыпочки и сказал: «Тсс! Мы устали друг от друга, я жду тебя в десять вечера в Бебекской бухте», и быстро ушел.

Потоптавшись у витрины с серебряными ритонами я признал его правоту и освежающе потянулся, действительно, я даже мускульно устал от чужого присутствия, тело требовало раскованности и даже расхлябанности, в которой я обжился, нежась в окрестностях Карнака.

На улице я принял томный вид пройдохи и, покачивая плечами, влился в толпу. Бесцельное хождение по незнакомому городу опьяняет как двухдневное вино, быстро и весело, и через несколько кварталов я уже подмигивал вывескам и рассматривал женщин, среди которых попадались и светловолосые, вообще стамбульские жительницы отличались от встреченных нами в провинции более резкими, четкими движениями и смелостью нарядов – европейские дамочки, и только.

Из высокого подъезда выскочила девушка в короткой джинсовой юбке и заспешила впереди меня, постукивая каблучками. Мускулистые ножки, упругая талия под ритмичнодвигающимся торсом, явно спортсменка, но из тех, что сохраняют женственность хотя бы в округлых частях своего тела. Черные блестящие волосы перехвачены на затылке в дразнящий хвостик.

Мне пришлось прибавить шаг, чтобы не упустить ее из виду. Она так задорно шла, высоко неся свою головку, что я решил похитить ее – пусть совершит прогулку по мне. Ничего не подозревая, она цокала по моей макушке, потом с легкостью пера скользнула по лбу, сделала пируэт на кончике моего носа, после чего я подставил ей плечо.

На моей грудной клетке она прикинулась юной девственницей, которая впервые спустилась в сад и не понимает, почему две бабочки кружат над ней, склеившись в одну.

Снизу, из пещеры, зарычал лев, и земля дрогнула. Но она проявила отвагу и, дрожа, двинулась вперед. Опасность манила ее и придавала силы.

Я вспомнил, что я рыцарь, и преклонил перед нею колено, но она не заметила меня. Рычание льва становилось все оглушительнее. Огонь опалил ее одежды. Ее нагота, мускулисто-нежная и трепещущая, слепила меня, и я взял ее в темноте. Огненная ночь накрыла нас посреди Стамбула. Она кричала и кусала мне плечи, но я был грозен и неутомим. Мой господин, шепнула она обессиленно и потеряла сознание...

Незнакомка с черным хвостиком зашла в автобус, а я прислонился к стене магазинчика, пытаюсь унять дрожь в коленях. Мы не успели взглянуть друг другу в лицо, и она уехала, даже не подозревая о своем любовном приключении, легкомысленность и забывчивость женщин в таких случаях просто поразительны. Вокруг галдели и суетились, какой-то болван с квадратным затылком и тяжелым задом наступил мне на ногу, два подростка издали показали мне фотографию голой красотки, сделали грязный жест и смылись в подворотню.

С трудом выяснив у торговки сигаретами, где находится Бебекская бухта, я медленно направился в этом направлении, продолжая глазеть по сторонам и принимая вечерующий Стамбул как легкое пряное приключение, в котором я могу остаться кочующей тенью, а могу и ввязаться в какую-нибудь историю, чтобы зачерпнуть из подноготной турецкой столицы хоть каплю терпкого, выделяемого человеческим муравейником интима.

Я оставил без внимания нескольких проституток, наши финансы вынуждали к воздержанию, и свернул в переулок, в конце которого отсвечивал закатным солнцем Босфор. Меня потянуло к воде, и я почти побежал.

Мягкий звук ударов застиг меня в конце переулочка, я тормознул и увидел, как под корявым инжиром мужчина в желтой сорочке и щегольских белых брюках неторопливо, со вкусом бьет молодую женщину, закрывающую от ударов

лицо. Семен учил меня, что на Востоке нельзя вмешиваться в подобные сцены, но сейчас я помнил об этом смутно – мужики, бьющие женщину, всегда вызывали во мне отвращение.

Все еще сдерживаясь, я подошел, похлопал мужчину по плечу и сказал по-английски: «Парень, ты не прав». Мужчина оглянулся, мелькнули мутные кофейные глаза и щетка усов, и я получил такой жесткий удар в солнечное сплетение, что согнулся пополам.

Во рту у меня пересохло от бешенства. А он, не обращая на меня внимания, продолжал короткими кошачьими ударами обрабатывать свою даму. Сложен он был крепко, основательно, от его бедер, упакованных в плотно облегающую ткань, исходила самоуверенность сытого самца. Отдышавшись, я подскочил к нему сзади и с силой хлопнул его по ушам с обеих сторон. Я впервые пользовался этим приемом и растерялся от результата – у мужика вырвался сдавленный крик, и он начал сползать к моим ногам.

Пытаясь удержать его, я поднял глаза на женщину. Открыв рот, накрашенный и полный зубов, она изумленно смотрела на меня, потом завизжала и вцепилась ногтями в мое лицо.

Я позорно бежал с поля боя. Лицо саднило, я стирал выступающую кровь ладонью, носового платка у меня не было. Надо было уносить ноги подальше от этого места. У меня мелькнуло подозрение, что я перестарался, а связываться с турецкой полицией очень не хотелось.

Сумерки были еще недостаточно густы, чтобы скрыть мою исцарапанную рожу. Я пробирался задами набережной, при каждом приближении прохожих склоняясь к ногам, чтобы потереть колено. Женщина могла вызвать полицию и дать приметы иностранца, который нарушил мирное течение ее личной жизни.

Я свернул в один из переулков, выбрал каменную стену пониже и перемахнул во двор, надеясь обнаружить водопроводный кран. Тишина дворика оказалась обманчивой – у стены на крохотной скамеечке сидела старуха, курившая,

как я догадался потом, кальян. Я уже давно не видел такого приятного выражения лица – она наслаждалась и на все превратности жизни, в том числе и на меня, смотрела философски.

Я сразу понял, что это свой человек. Я бухнулся перед ней на колени, сложил руки на груди и забормотал по-арабски, что я безумно влюблен в прекрасную пери, которая ответила мне взаимностью, но ревнивый муж застал нас, моей пери пришлось изобразить возмущение и расцарапать лицо грязному насильнику и похитителю супружеской чести, я бежал, и меня разыскивают, муж поклялся лишить меня мужского достоинства, с ним огромное войско, а я один и безоружен, только она, высокочтимая госпожа, понимающая толк в курении, может спасти мою жизнь.

Эта галиматья на скверном арабском была принята благосклонно, старуха сделала еще одну глубокую затяжку, безмятежно оглядела небо с проступающими звездами, и хлопнула в ладоши.

Из дома вышла девочка лет девяти, худенькая, в светлых шальварах, с браслетами на запястьях и лодыжках, на подносе она несла халву, виноград и инжир. При виде меня она чуть не уронила поднос, но старуха успокаивающе буркнула, и девочка подошла к ней.

Старуха взяла плотную кисть белого винограда и стала медленно есть, высасывая каждую виноградинку и выплевывая косточки и шкурку на отдельное блюдо. Я позволил себе сменить позу на традиционную, с поджатыми коленями, и сидел, как во сне, обещающем исполнение желаний, – сумерки во внутреннем двореке, старая госпожа в цветных шальварах, с покрытой узкой головой благородной змеи, серебряный поднос с фруктами, маленькая прислужница со звенящими лодыжками и тишина, нарушаемая лишь тяжелым дыханием госпожи и глухим шумом Босфора.

Несколько турецких слов, произнесенных увядающими устами, и девочка вложила мне в рот кусок халвы. Маслянистый кунжутный привкус наполнил предчувствием осо-

бых милостей Востока. Я давился халвой и балдел от тяжелой неторопливости старой госпожи, ее спокойствие, как ятаган, отсекало суетность мира и внушало уверенность, что все идет предначертанным путем.

Насытившись, госпожа отдала приказание, и девочка, звеня при каждом движении, начала выносить во дворик разные предметы. Первым делом она поднесла мне бритвенный прибор и пиалу с горячей водой. Еле заметным жестом госпожа указала на неработающий фонтан в углу дворика и распорядилась, чтобы я обнажил свое лицо как можно тщательнее. Со мной она говорила по-арабски, а с девочкой по-турецки, и в манерах ее проступала властность опытной сводни, знающей свое дело назубок.

Я отошел к фонтану. Меня душил смех. Обмывая царапины, я обдумывал, дать ли мне деру или влипнуть в эту историю окончательно. Я представил себе Семена, ожидающего на берегу Бебекской бухты такого же бродягу, как он, и решительно взялся за бритву.

Вернувшись к госпоже, перед которой уже стоял деревянный столик с канделябром и множеством каких-то корбочек, я заметил зеркало в серебряной оправе и мельком заглянул в него – при свете свечей моя физиономия с сильно загоревшей верхней половиной и белыми челюстями выглядела устрашающе.

Девочка поставила мне скамеечку, и меня усадили перед госпожой, которая немедленно принялась за дело. Обработав царапины чем-то щиплющим, она стала втирать мне в лицо приторно пахнущую мазь. Я закрыл глаза, чтобы не видеть ее оценивающего взгляда, которым она обшаривала окрестности мой морды. Этот взгляд превращал меня из мужчины в нечто несусветное, нуждающееся в фальшивой вывеске. Игра игрой, но от этой старухи веяло жуткой подлинностью, я ощущал, что меня размывают, может быть, даже разбавляют, как вино водой.

Не менее получаса я сидел, вдыхая как мул и призывая свое прошлое на подмогу. Когда мне начали выщипывать брови, я вскинулся и тут же получил легкую оплеуху.

Эта ведьма, видимо, забыла, что имеет дело с мужчиной. Я открыл глаза, чтобы веско и с достоинством очертить ей пределы ее бурной деятельности на моем лице, и споткнулся – обе они, старуха и девчонка, были в упоении и с таким детским удовольствием колдовали над моей внешностью, что я понял – меня принесли в жертву чистоте жанра.

Тем не менее я категорически воспротивился выщипыванию бровей. Старая госпожа огорченно покачала головой, потом воспряла духом и стала карандашом удлинять кончики моих злосчастных бровей. Я уже почти задремал, когда мне приказали встать. Девчонка уже натаскала ворох женской одежды. Сначала примерка шла в прикидку. Госпожа озабоченно шептала, что молодой шайтан слишком высок. Наконец поверх моей туристской униформы натянули юбку, спустили ее до бедер, и теперь она доставала до середины икр. Тут госпожа всплеснула руками и заохала – она забыла сделать мне грудь.

Они обе удалились в дом и минут через пять вынесли с десяток бюстгалтеров. Я снова закрыл глаза и только ежил-ся, когда на меня примеряли очередной хомут. Наконец и эта операция была закончена, я мог гордиться своей высокой грудью, на которую ушел килограмм тряпья. На меня накинули просторный шафранный балахон с полурукавом, дешевые бусы и покрыли голову чем-то льющимся, шелковистым, ниспадающим на плечи.

Девчонка поднесла мне зеркало. Я сунулся в него и обомлел – на меня смотрели огромные влажные глаза газели, бархатистая кожа дышала свежестью, чувственный рот подрагивал, прекрасная женщина растерянно жила в глубине зеркала и явно нуждалась в поддержке.

Старая госпожа оказалась мастером. Сейчас она критически оглядывала мои ноги – сорок второй размер мужской ступни поставил перед нею сложную задачу. Лишь пришив на скорую руку вторые задники к домашним чувыкам, она с честью вышла из положения.

Я был полон благодарности и галантно поцеловал ей руку. Она хихикнула и облизала губы. На этой высокой ноте мы расстались; девчонка, звеня и рассматривая меня как роскошную куклу, вывела стройную красотку на улицу.

Я двинулся, умеренно раскачивая бедрами, сдерживая шаг и томно наклонив голову. Пока я добирался до Бебекской бухты, ко мне несколько раз привязывались, а один похотливый мерзавец так больно ущипнул за ягодицу, что я чуть не врезал ему на полную катушку. Хорошо, что я не понимал по-турецки, судя по похабным интонациям, эти скоты делали мне грязные предложения. Мне уже осточертело быть женщиной, и только мысль о том, как я уделаю Семена, поддерживала во мне бодрость.

Район Бебека оказался старинным предместьем, которое Стамбул еще не успел полностью переварить. Среди дворишков с железными решетчатыми калитками и мраморными фонтанами, которым редкое освещение придавало гаремное очарование 18 века, мощно возвышались платаны. Я отметил, что раскидистые деревья побуждают к особой женственности походки, задумался над этой чувственной зависимостью женщин от окружающей среды и неожиданно вышел на берег.

Прохожих было мало, и я быстро нашел Семена, сидевшего на камнях лицом к воде.

Я остановился в нескольких метрах от него и грациозно опустился на корточки, разбросав вокруг себя юбку. Семен мельком взглянул на меня и снова уставился на воду.

Я утопал в молчании и беспомощно поводил плечами. С каждой минутой ситуация становилась все более дурацкой для Семена.

Я ощущал, что он еще не в форме, впервые его спина выглядела стариковски обмягшей, и у меня мелькнула мысль, что я выбрал для розыгрыша не самый удачный момент. Но грош цена была бы его опыту, самонадеянно думал я, если бы он спасовал и просто отмахнулся, не увидев в этом ночном приключении возможность вылущить еще одно ядрышко, в

конце концов, его мужское любопытство должно клюнуть на появление женщины, одиночество которой на пустынном берегу так загадочно притулилось к его собственному.

– Такую неотразимую дуру я еще не встречал, – сказал Семен по-русски.

Его насмешливая интонация сразу вывернула шутку козлиной мордой ко мне, я уже раскрыл рот, чтобы расхохотаться, и вдруг понял, что Семен блефует. Он мог предполагать что в назначенное время только я способен притащиться сюда, это я, конечно, сглупил, нужно было прийти раньше, но твердой уверенности у него не могло быть. Я слегка повернул голову в его сторону, издал нежное горловое тремоло и всхлипнул, демонстрируя трепетность женской души.

Семен решительно встал, подошел ко мне и наклонился, вглядываясь в мое лицо. Я поднял на него молящие глаза и снова всхлипнул.

Семен что-то спросил по-турецки, я ничего не понял и на всякий случай слабо качнул головой. Я заметил, что моя красота несколько смутила его, видимо, при рассеянном мерцании звезд и бортовых огней яхт, покачивающихся метрах ста от нас, прекрасная женщина, изваянная на мне бестрепетной рукой госпожи, зажила самостоятельной жизнью. Она так самозабвенно вверяла Семену свою судьбу, так беспомощно косила удлинненными глазами.

Черт ее принес, раздраженно пробормотал Семен, когда не надо, это бабье валится на голову как тараканы. Он внимательно оглядел окрестности и опять что-то спросил на турецком. Я понял, что не дождусь приступа жгучей мужской страсти, и решил перехватить инициативу.

С приглушенным стоном восточная женщина обняла колени Семена и застыла в немой позе покорности.

Семен потоптался, потом начал успокаивающе поглаживать ее по голове. Я уже приноравливался ткнуться лицом ему в пах, чтобы покончить с его целомудрием, но Семен вдруг замер, а затем сорвал покрывало, обнажив мой череп с трехдневной порослью.

– Идиот, – сказал Семен, захлебываясь смехом и с размаху садясь на землю, – надо было напаять парик. Запомни, шпионы и идиоты прокалываются на мелочах.

Обессилев от смеха, мы лежали на теплых камнях Бебека и смотрели в бездонное византийское небо, подсвеченное стамбульскими фонарями. Босфорская волна плескалась почти у ног и навевала истому, роскошь которой стекала из висячих садов Семирамиды, неся запах цветущего миндаля, граната и прохлады царственной ночи.

Семен кашлянул и заговорил – стихи незнакомого мне языка, торжественно-страстные, с нависающей паутинкой горечи, роились над Семеном, уплотнив пространство и придавая ему черный блеск угля. Я приподнялся на локте. Мне хотелось, как волку, шевелить ушами, подстраиваясь под это звуковое пиршество – Семен пировал, я готов был поклясться в этом, его голос, юный, нагой, с венком на кудрях, взбирался на холмы и бродил по гулким улицам в погоне за женщиной, которая то льнула, то отталкивала, голос молил и проклинал, а потом, изъязвленный отчаянием и гордостью, сорвался, и мы с Семеном обнажили грудь ему на помощь, но опоздали...

Я поймал себя на том, что дышу как бы сплошняком, не различая вдоха и выдоха, словно меня нанизывают на струю воздуха, идущую из невидимого мне провала, обрыва; рядом что-то происходило, но я был зрителем, и не в первых рядах.

– Катулл, – обронил Семен и махнул рукой на воду, – он ходил здесь на паруснике всего лишь две тысячи лет назад.

Ах, мой дорогой Семен оказался романтиком, припавшим к сосцам древности! Я молча смаковал смену ролей: я, прожженная бестия, авантюрист, скрывающийся под женским платьем, на берегу Босфора выслушиваю любовные стихи из уст мечтательного славянина.

Сначала я выучил латынь от противного, негромко сказал Семен, осточертела послевоенная скудость, ты бы слышал, на каком языке верещали по радио и в газетах. А потом наткнулся на Катулла. Это был полный Катулл со всеми его

ругательствами и издевками над Цезарем и прочими. Он обкладывал их по-домашнему. После сухого учебника я словно вошел в таверну. Если можно представить себе наш мат изысканным и окончившим школу риторов, то... Самоучка же вообще продирается в чужой язык как варвар, я и продирался к Катутллу через его мифологическую дурь по его сквернословию. А когда продрался, то нашел друга, которому хотелось заткнуть рот – так он обнажал свое человеческое, этот пронзительный сукин сын.

Семен перекатился на бок и потер рукой позвоночник, выгибаясь и крихтя.

От его любовных стихов меня просто выворачивало наизнанку, с некоторым усилием продолжил Семен, я был еще достаточно молод, чтобы заразиться его тоской. К тому времени я женился, жена у меня спокойная, я искал именно такую, но он отравил меня другой женщиной, своим перепадом чувств к ней. Может быть, я завидовал, но не черной и не белой завистью, усмехнулся Семен, а всем спектром. Мне никогда не попадалась женщина, которая задействовала бы всего меня. А может быть, еще глубже – меня задело его умение обнажаться, открыться. Обнажить главное не легче, чем спрятаться от жизни. Обычно от каждого движения сыплется лишь мусор...

Семен встал и подал мне руку :

– Мадам, приглашаю вас на экскурсию.

Я на полголовы выше Семена. Должно быть, мы комично смотрелись на фоне мраморных дворцов персидского шаха и египетского хедива, которые Семен демонстрировал мне с видом натуралиста, показывающего только что отловленные экземпляры. Он восхищался затаенной ночной жизнью мрамора, который даже сквозь наслоения пыли и грязи впитывал и отдавал влажное мерцание неба, освещенную суету пролива; мрамор работает на свою поверхность, как свита на короля, говорил он, это камень, стремящийся к форме, к движению, это дальний родственник человеческого глаза, просто взгляд мрамора долог и постепенен, как эволюция,

это не беглый взгляд человека, который ни на чем долго не задерживается, это глубинный накапливающий взгляд, который сохраняет окрестности в их непрерывном изменении.

Когда мы вернулись в гостиницу, хозяин проводил нас игривой гримасой и дважды жирно чмокнул. Не менее полчаса я смывал грим с лица. Осмотрев мои царапины, Семен сказал, что четыре-пять дней мне придется посидеть в номере, пока не подживет окончательно.

Он подрядился тут же в гостинице отремонтировать две душевых, а я изображал страшные головные боли, которые позволяли лежать лицом к стенке во время редких визитов хозяина, разгонявшего щеткой пыль по номеру. Шлявшиеся мимо гостиницы полицейские не проявляли к нам особого интереса, и Семен саркастически заключил, что женщина, напавшая на меня как кошка, впоследствии оценила мой рыцарский порыв и решила предать дело забвению. Нет, видимо, у ее парня толстые барабанные перепонки, возразил я, наверное, он быстро очухался и снова задал ей трепку. Я до сих пор не мог простить ей всплеска ненависти, обезобразившего ее лицо, – она словно разложилась у меня на глазах, я и бежал как от чумы, чтобы не заразиться.

Семен продолжал пребывать в задумчивости. Днем он работал, вечером уходил за продуктами и гулял допоздна. Я и запомнил эти дни стамбульского заточения как плотный отдых, в котором одиночество цеплялось за полумесяц на минаретах, торчащих в окне, а редкие появления Семена напоминали вползание гусеницы в яблоко – он прорывал свой ход, который петлял вокруг и около меня, я слышал его физическое движение, но все остальное было так далеко, что до меня доносилось лишь слабое эхо.

В Болгарию мы прибыли все еще как югославские граждане. Лишь поедая в одном из захудалых ямбольских кафе тушеное мясо с овощами и запивая его бозой, я осознал, что бурное мусульманское лето позади. Если это был сон, меланхолично думал я, вылавливая вилкой кусок красного перца, то он не уступал болтовне Шахразады, разве что место прин-

цев, евнухов и воров заняли интеллектуалы, корчащие из себя бродяг и с методичностью верблюдов пережевывающие личные концептуальные жвачки.

До Варны мы добрались на попутных машинах и здесь застряли. Обычно Семен, хранивший свой советский паспорт у местного болгарина, работавшего в портовом ресторане, дожидался прихода научно-исследовательского судна, приписанного к Одессе. Механик этого судна прятал Семена в тайнике за переборкой и ссаживал за борт поздней ночью где-нибудь ввиду украинских берегов.

Но сейчас, увидев нас двоих, он отказал и резко попенял Семену за появление с посторонним. Канал закрылся, констатировал Семен, когда механик затерялся в толпе. Я предложил использовать мой турецкий вариант. Тебе повезло однажды, как новичку за карточным столом, отмахнулся Семен, следующий раз тебя накроют и сделают кишмиш. Подсуетившись, мы могли бы въехать в Союз как югославы и быстренько определиться в милицейской графе «исчезнувшие без вести», но тогда накрылись бы наши югославские паспорта, ибо розыск пропавших иностранцев в те времена наделал бы много шума по обе стороны границы. Не будем рисковать без крайней необходимости, сказал Семен, раскачиваясь на стуле уличной забегаловки, ситуацию нужно высиживать, как яйца, я люблю тупики, они делают из тебя человека с мозгами – цепляешь какую-нибудь глупость, ядреную, обыденную, с потными подмышками и местным колоритом, и закручиваешь в воронку смачного абсурда, которая засасывает тебя, а потом выплевывает в нужном месте.

Он раскачивался передо мной, нахальный, снова помолодевший, желто-карие глаза блестели, подбородок выдвинулся вперед; я присмотрелся – мужик еще хоть куда, не зря официантка, принесящая нам по стакану кислого красного вина, задела его бедром и помедлила у столика. Твоя грудь пахнет жасмином, сказал Семен на русско-болгарской смеси, твое место не здесь, среди носатых пьяниц, а на густой

траве под липой, где тебя можно обнимать и целовать, где ты прекрасна как лебедь и горяча как медведица.

Мы с официанткой потеряли дар речи, потом я захохотал, а она покраснела. Ее молочно-веснушчатая кожа тридцатилетней женщины, познавшей мужчин и роды, увлажнилась под напором крови, и я просто позавидовал мгновенной удаче Семена – он выманил девочку, которая еще смущается от каждого взгляда и невинно ласкает свою грудь перед зеркалом.

Официантка ушла, споткнувшись и не оглядываясь, а я выпалил Семену, что он мерзавец и сукин сын, что нельзя раскрывать женщину походя, как палатку. Я тут же заткнулся. Но он успел подглядеть за мной и фыркнул. Ладно, расчесывай свою отросшую бороду, сказал он, вставая, а я займусь делом.

Он шнырял по городу как хореk, я встречал его в разных местах и всегда с кем-либо. Вечером он не вернулся в нашу дощатую комнату, которую мы снимали в сливовом саду у пожилой пары.

Весь следующий день я напрасно рыскал по улицам – Семен как сквозь землю провалился. Видно, его уже засосало и выплюнуло, язвительно думал я, сердясь, что он отстранил меня.

На закате я пристроился на набережной, спиной к бару, где гнусавил Элвис Пресли, и решил окружить себя мудростью и покоем, созерцая море. Глоток Понта Эвксинского для равновесия духа – все-таки греки более любезный народ, они назвали его гостеприимным, тогда как турки и мы обзываем черным это сумеречное великолепие глади, дышащей и отражающей; я мысленно бросил себя как камень, в воду и расходился кругами, повторяющими чашу неба и горлышко пивной бутылки, которую я сжимал коленями.

В конце концов я послал к черту оставшуюся жизнь и решил остаться в этих минутах навсегда, с телом моим могли делать что угодно, но дух мой уже намылился к абсолюту, который по-свойски обольщал разнообразием – Беатриче

приготовила мне нирвану и бросала в нее лепестки роз, тысячелетия играли со мной как с дельфином, у меня открылся третий глаз и отросла пятая нога, духовная, отбрасывающая тень на Гималаи, я соскальзывал в человечество, как в колодец, и просачивался грунтовой водой в фиваидского отшельника и александрийскую блудницу – я сжег их в огне родства и жирным пеплом посыпал голову Приама, у которого еще не было судьбы, точнее, я не дал ей свершиться, я отрезал ее у основания и заткнул ею амфору в одном из его погребов...

Семен возник перед моим носом, как черт из табакерки, выдернул из моих колен бутылку и допил.

– Здравствуй, племя, младое незнакомое, – сказал я радужно.

Этот скуластый живчик вызывал во мне отеческие чувства, он пришел из суеты и уйдет в нее, я хотел уделить ему благую часть своих возвышенных блужданий, может быть, даже забрать к себе, в свой уютный бардак вечности, где он мог бы сделать головокружительную карьеру сутенера-мистика.

– Вставай, бездельник, – промурлыкал Семен, – нас ждет работенка, от которой шкура встанет дыбом.

И он уволок меня в прибрежную деревушку, где семья рыбаков собиралась через две недели отпраздновать свадьбу старшего сына. Мы с Семеном должны были выстроить дом для молодых к началу свадьбы. За это глава семьи брался доставить нас к советским берегам. Семен напелл ему, что мы моряки, по пьянке отставшие от судна, и теперь нам грозит секир-башка, если мы не доберемся своим ходом до дома, чтобы замять историю.

Встретили нас не очень радостно. Отец и трое сыновей – все были могутные, кряжистые мужики, рыже-кудреватые и с пробором на левую сторону. Они явно принимали нас за мазуриков и собирались держать в ежовых рукавицах. Но Семен с первого же дня взял такой темп, так властно припал их и проявил такую сноровку, что они начали работать

наравне с нами, и к ужину в темноте мы являли собой образцовую артель, спаянную общей усталостью и голодом. За неделю мы использовали стройматериал, который они копили два года. Жених поехал за каштаном, веранда из которого, по замыслу Семена, должна была опоясывать двухэтажный дом, а мы занялись отделочными работами. Приходили соседи, цокали и качали головами, наши кудреватые рыбаки молча пыжились от гордости. Закончили мы за день до срока, и я завалился отсыпаться.

Проснулся я прямо на свадьбу – во дворе стояли накрытые столы, и народу было так много, что я с трудом нашел Семена. Два дня мы ели и пили, поддерживая славу русского человека. Вино и перец пробудили во мне восхитительное косноязычие, в дебрях которого я нащупал пракультуру совокупления и содрогнулся перед ее мощью.

Потом, на заре, нас погрузили на крохотное рыбацье судно, поначалу следовавшее за паромом Варна-Ильичевск. К полудню посчастливилось напасть на косяк кефали. Когда половина трюма была забита, лов прекратили, и отец-рыбак сказал, что теперь дело за нашим счастьем. Мы с Семеном переглянулись и заверили его, что наше счастье не подведет. Перед подходом румынского пограничного катера мы разделись догола и нырнули в гущу кефали. Ничего более омерзительного я еще не испытывал. Зарывшись как следует, хотя и не так глубоко, чтобы задохнуться, я обнаружил, что некоторые рыбыны еще трепещут. Это вызвало побочный эффект – я возбудился, хотя изнемогал от вони. Никогда не думал, что докачусь до семяизвержения из-за сырой рыбы.

Как только нам разрешили вылезти, мы опрометью кинулись к ведрам с водой. Раз за разом мы намыливались и опрокидывали на себя ведра, а рыбаки с хохотом поднимали все новые порции морской воды. До своего естественного запаха я так и не отмылся, интимная отметина кефали так въелась в кожу, словно я провел в их косяке всю жизнь.

К советским территориальным водам мы подошли в третьем часу ночи. На весла спущенной шлюпки сел сам Петко,

патриарх рыбацкой семьи и пастырь нашего контрабандного возвращения в родную страну. Меня как более тяжелого спустили на корму, а Семен примостился на носу и подал знак, что все готово.

Петко мощно и почти бесшумно работал веслами; я опустил руку в сентябрьскую, начинающую холодать волю и следил за звездами, изредка обрывавшимися вниз. Через двадцать минут я сменил Петко, потом за весла сел Семен. Сменяясь мы шли в хорошем темпе. Когда до берега осталось несколько миль, мы привязали на головы пластиковые пакеты со своими скудными пожитками и скользнули в воду. На прощанье Петко приглушенно сообщил, что следующим летом женится его средний сын. Мы дружно хмыкнули и пошли к берегу.

Ощутимо светало, когда мы, пошатываясь, ступили на землю и поспешили углубиться в окрестности. Я всегда подозревал, что боги питают ко мне необъяснимую слабость, пробормотал Семен, когда мы тут же наткнулись на пустой пионерлагерь. До обеда мы отсыпались на пыльных раскладушках в комнате, где стояло пианино с откинутой крышкой, а в углу матово поблескивала груда пустых бутылок. Голод заставил нас обрыскать весь лагерь, но ничего съедобного не нашлось. Это знак свыше, бодро заметил Семен, нам нужно отдохнуть и попоститься, после такой бурной жизни необходима разгрузка, тихое растительное существование, в котором капля воды из-под крана – событие, научись делать паузы и не торопиться, иначе пауки сожрут тебя раньше срока.

– Почему пауки? – спросил я.

– Не знаю, – ответил Семен.

И мы закатились тихим блаженным смехом идиотов, которым судьба дала столь крепкого пинка под зад, что они проскочили между румынской сциллой и советской харибдой как аргонавты; оставшаяся позади опасность еще саднила в подреберье, и я старался растворить ее голодом...

Через пять дней в одинаковых серых, в мелкую полоску костюмах, купленных в привокзальном магазине после разгрузки вагонов, мы сидели в поезде «Одесса–Москва» и читали газеты. За окнами мелькала ранняя осень, пассажиры принимали нас за геологов и, чуя нашу насыщенную приключениями значительность, угощали яйцами вкрутую и пахучей украинской колбасой.

Мы были невозмутимы. Поглощая чужую еду, мы источали высокомерное молчание истуканов, за неподвижностью которых кроется тайна.

Яичная скорлупа на вагонном столике – вот что dokonало меня. Я печенкой понял, что я дома. Я сразу устал, как будто меня расшнуровали изнутри, и задремал. Я дремал и переваривал Ближний Восток, как кролик – удава, я усваивал пустыни и крик муэдзина, пыль, забивающуюся даже между словами, шумные многоязычные города, сейчас я по-хозяйски бродил по своим недавним дорогам и слюной прикреплял восточный разноречивый к родным местам, я распухал как беременная баба, но собирался рожать не наружу, а внутрь.

В Москве было прохладно. Ежась, мы добрались до Большой Академической и вломились в квартиру на восьмом этаже. Нас принял рослый старик в блекло-лиловом халате с драконом на спине. Он церемонно пожал нам руки и провел в комнату, где книги, как ласточкины гнезда лепились во всех углах – но тесно не было, пространство дробилось и с дремучим гостеприимством леса открывалось при каждом шаге вперед.

– Нежный провинциальный лопух из Абхазии, – представил меня Семен и ушел на кухню ставить чай.

Я опустился в драное кресло. От хозяина, как и от всей обстановки, несло неистребимым профессорством – высокий лоб, очки, бледная кожа кабинетного затворника, голубые глаза смотрели сквозь стекла кротко и обволакивали покоем.

– Вы, конечно, думаете, что я мужчина, – любезно сказал он, – а я голубь.

Я вздрогнул и в лучших традициях семенной муштры стал приспособливаться к этому тихому помешательству – улыбнулся и понимающе кивнул головой.

– Это с точки зрения соотношения сил, – пояснил он терпеливо, – если вы лопух, то я голубь.

– А-а, – сглотнул я.

Он кратко расспросил меня о наших мытарствах. Я восторженно описал несколько эпизодов под Тарсусом, теперь он понимающе кивнул и спросил, уверен ли я, что все это происходило на самом деле, а вдруг это штучки Семена.

– Нет, – начал я, холодея, – такого не может быть...

– Не морочь парню голову, – деловито сказал Семен, внося поднос с заварным чайником и чашками, – а то он примет меня за мага и волшебника, который способен создать иную версию вселенной, лишь бы развлечь приятеля.

К вечеру начали собираться гости. В папиросном дыму плавали физиономии сосредоточенного пошиба, Семен вертелся мелким бесом, успевая отвечать на десятки вопросов и отбиваясь от упреков в подмене гражданского духа босяческим и в дешевом жонглировании собственной жизнью. Чувствовалось, что это привычная возня, вроде разминки щенков, хотя некоторые укусы были болезненными – Семен несколько раз вспыхнул и вызываясь посоветовал, хотя бы иногда оторвать задницу от стула и пропахать носом не книжную страницу, а вонючий кусок реальности.

Двое гостей отсидели по десять лет в лагерях, – один, с насмешливым землистым лицом и редкими зубами, был, скорее, на стороне Семена и язвительно молчал, когда к нему обращались за поддержкой; второй, с влажными седыми кудрями, посмеивался и подзуживал тех, кто ожесточенно допытывался у Семена, что, собственно, он нарыл за эти годы, шляясь по чужим землям, где рождаются, совокупаются и подымают с той же неизбежностью, что и здесь.

Я сидел почти в центре комнаты и вертел головою, как на теннисном матче. Постепенно я убаюкался до странного состояния – я был всей компанией, всеми собеседниками

сразу, как многоглавая гидра, у которой вместо тулова было нечто бесформенно-подвижное, звенящее, я переполнился чужими жизнями и завис потоком, где кентавры скалились над тщетой прогресса и увлекали в бешеную скачку над пропастью, где орфики прорастали в государство неистовством мистерий, и сознание ныряло в глубь окровавленной жертвы, ища ее связь с богом и гоняясь за сутью до потери дыхания, где смутное множилось и на столетия становилось площадью или храмом, а потом вновь ускользало в сумятице перемен и побоищ, человеческое аюкалось – и эхо возвращалось от человека, а мифы пировали в венках и подмигивали бесстыдству муз.

Я переполнился до рвоты, до судорог, вышел в ванную и сунул голову под холодную воду.

В зеркале я напоминал обмылок. Утяжелив челюсть, я сказал этому обмылку: «Ша, малыш. Ты пустил этих дядей слишком глубоко. Держи дистанцию».

Андрей Ильич, хозяин квартиры разливал по стаканам вторую бутылку «беленькой». Худой, подвижный человек с бархатным взглядом меланхолично и ловко ляпал бутерброды со шпротами. Голоса звучали мягче, явно наступал период людских субтропиков, когда братская любовь под смоковницей соперничает своим благоуханием с оранжереей и разит наповал окрестных мошек

Водка отдавала лимоном и вернула мне трезвость мысли – чего я размяк, отдавшись, как наложница, болтовне этих мужиков, их тоске и погоне за собственным отражением. Они обойдутся и без моего сочувствия. Я, как салага, опьянел от горького стоицизма, который они ставили на кон против жизнелюбия Семена.

– Я использую свое сознание на полную катушку, – говорил меж тем Семен, подправляя пальцем торчавшие изо рта шпротные хвосты, – я не трясусь над ним, я гоню его в хвост и гриву. А в привычной среде его труднее деформировать. На чужбине даже пустяк может выбить из колеи – тебя так развернет, что не только небо в овчинку, а сойдешь с ума в

горсть, в трещину, будешь падать и не найдешь, за что зацепиться – ведь пустяк не причина, не тяжесть, падаешь, потому что не успел освоить.

– Боюсь, что скоро твое сознание начнет гулять, как кошка, само по себе, – сказал Андрей Ильич, – пошлет тебя дальше и скроется от этой брэнной лысой оболочки.

– Не-ет, – возразил Семен, хитро улыбаясь, – его приязнанность к моему телу велика, я бы даже сказал, кощунственна.

– Кровосмесительна, – элегически подсказал человек с бархатным взглядом, и тут со всех сторон посыпалось:

– Это страсть Зевса к красавцу Ганимеду!

– Нет, это страсть Пасифаи к быку!

– Нет, кислого вина к бурдюку!

Самое последнее предположение звучало так непристойно, что Семен крякнул, а остальные выпили за здоровье автора, сумевшего несколькими матерными словами обозначить связь духа с материей.

На следующее утро Семен спозаранку смылся, лихо подмигнув в дверях. Чтобы не мешать хозяину, который работал за письменным столом, я тоже ушел и целый день прошлялся по Москве.

Я никогда не был здесь ранней осенью, сухая прозрачность воздуха, тронутая желтеющими листьями, переманивала меня с одного бульвара на другой, я был прелестно одинок – хрупким, в два-три колокольца, одиночеством, которое оставляло свою паутинку на спинах прохожих.

Вечером Андрей Ильич добросовестно развлекал меня историческими анекдотами, Семен так и не появился. С интересом разглядывая меня, Андрей Ильич спросил, очень ли я занят в ближайшие дни. Нет, ответил я, потом спохватился и сказал, что Семен, наверное, подыскивает какую-нибудь работу. Это дело поправимое, заметил хозяин.

Утром он дал мне свитер и теплые носки, и мы отбыли. Я ни о чем не спрашивал. Часа полтора мы пилили на пригородной электричке, потом шли пешком и ехали на авто-

буса. В небольшом городишке, где деревянных домов было больше, чем каменных, Андрей Ильич остановился перед зеленой калиткой и вынул ключ длиной с карандаш. Калитка заскрипела, как в старинных романах.

В приземистом домике оказалось три комнаты – я ходил из одной в другую и видел книги. В допотопном шкафу за стеклом мерцали огромные тома с золотым тиснением. На неструганных досках у стен толпились книги попроще, но все незнакомые мне.

Андрей Ильич наблюдал за мною, потом извиняющимся тоном сказал:

– Милое мое существо, ваше невежество в отечественной культуре столь оскорбительно, в первую очередь для вас самого, что с этим надо тихо кончать. Вы полезли в чужую культуру, мало что смысла в собственной. Покорпите здесь недельку, все это в вашем распоряжении.

Он уехал, а я погрузился в это богатство и читал запоем как ошалевший. Я и не подозревал, что все это сохранилось, я бросался от «Русской старины» к мемуарам, листал журналы пушкинского времени и раскопал даже несколько рукописных страниц из ломоносовского архива. Оголодав, я шел в огород за домом, выкапывал куст картошки и варил ее на электрической плитке.

Особенно меня завораживали подробности, характеры, мгновенно выталкивающие прошлое прямо к моему носу. Александр I не любил шумных развлечений, и вся дворцовая жизнь шла как бы под сурдинку. Екатерина лепила из своих любовников государственных мужей и почти узаконила казнокрадство, мудро приемля его как неизбежную тень прогресса. Какой-то дворянин Кологривов, брат князя Голицына, своим шутовством все время нарушал державный официоз, даже во время парадных военных смотров устраивал маскарадные потехи, и все ему сходило с рук.

По ночам я перемахивал в соседний сад за антоновкой и, сидя на дереве, хрупал яблоки и смотрел на звездное небо.

Жестокая, обольстительно-тяжелая роскошь родной истории пала мне на сердце.

В холодке темной сентябрьской ночи грибной сыростью пахли слезы Иоанна Грозного, отмаливавшего только что пролитую им кровь, и я судорожно дышал с ним, зная, что этот распаленный смирением человек будет на смертном одре приставать к невестке.

Я любил старика Суворова, всю жизнь бежавшего впереди своей хлипкой плоти, и плакал от восторга, когда в итальянском походе он вошел в Милан на Пасху, и все 18-тысячное русское войско пело вместе с ним «Христос воскрес из мертвых», а жители, онемевшие при виде мощного хора северных варваров, разразились в конце иступленными криками

Однажды утром я нечаянно подсмотрел, как немолодая соседка мыла в этом саду голову отваром из трав, и подумал, что ночная жизнь ее яблонь, дававших приют сумасбродному читателю, так и пройдет для нее незамеченной.

Когда появились Андрей Ильич с Семеном, я полулежал на подоконнике и вслух препирался с безвестным летописцем 13 века, который предсказывал близкий конец света и с мрачным удовлетворением живописал разделение человека на агнцев и козлищ. Я пытался доказать ему, что в каждом человеке его внутреннее приключение содержит все, от райских кущ до котлов с серой, и нельзя уронить человека в чистую добродетель, как невозможно уронить камень в небо.

Андрей Ильич сказал, что домик всегда в моем распоряжении: мы сели в свежевыкрашенную «победу» и поехали проселочными дорогами. День был пасмурный, среди красно-желтой листвы мелькала хвоя, мы молчали и домолчались до безвкусия, Семен пробурчал, что против лесного безмолвия наше молчание жидковато.

В Абрамцево Андрей Ильич пошел к знакомому сотруднику музея, а Семен показывал мне, как устраивались умные люди со средствами в прошлом веке. Двухэтажный

деревянный дом с верандой на высоком берегу реки, вокруг леса, тихая рыбалка, содержательные гости из Москвы, в их числе вислоносый Гоголь, долгие вечера за чтением вслух, и в основе, благостно ерничал Семен, многолюдная центростремительная семья, патриархальность которой напоминает первый снег.

Мы лежали на берегу тихоструйной Вори, подгребя под себя листву. Слабый шум воды и редкие всхлипы птиц погружали меня в сладостное забытие, я разомлел, как инстинтутка, и распустил лицо до состояния лужи. Память качнулась маятником в сторону жары и вынесла на поверхность красавца Эрика, его точеную мускулатуру и беззащитный жест левой руки, который я уловил только сейчас, задним числом. Я встряхнулся и начал обследовать Эрика тщательнее – в победоносном красавце словно проступили сумерки, позволяющие незаметно подобраться поближе.

Раскинув память, как полдень, с зенитом зрения, я принялся шарить по закоулкам взгляда, вытаскивая мелочи, – Эрик засветился во мне преимущественно на заднем плане, второстепенной деталью, уходящей в тень, избегающей фокуса как пренебрегающей очевидностью чужого зрения. Только в основной сцене. Когда он доказывал, что нужно возлюбить себя как ближнего своего, он был ярок и подставлял себя взгляду, в остальных он явно дозировал свое присутствие и тушил внешность сосредоточенно-безличным выражением.

Я осторожно поделился с Семеном своими запоздалыми наблюдениями.

Ты как охотник, стреляющий в дичь, которую видел полгода назад, усмехнулся он, хотя дичи было так много, что у тебя глаза должны были разбежаться. С этой дичью не все так просто, в том числе и с Эриком. Однажды мы с ним проторчали неделю в одном греческом захолустье, лило так, что мы вынуждены были поселиться в гостинице. Мы слонялись по этой одноэтажной халупе, как тараканы по спичечной коробке. В таких условиях не наступить на чужую психику

почти невозможно. Но Эрику это удалось – я словно оказался в жемчужно-розовых сумерках, где освещение переливалось, дрожало между деревьями и на горизонте.

Я радостно сказал, что во мне тоже промелькнуло ощущение сумерек, когда я вспомнил об Эрике.

– Эрик чувствителен, как женщина, задумчиво ответил Семен, – может быть, поэтому он смеркается в чужом присутствии. Вообще присутствие, и свое, и чужое, такая обоюдоострая вещь, о которую мы все резались.

Он быстро осмотрел меня и с более жесткой интонацией сказал:

– Представляю, как мы ослепили тебя под Тарсусом. Дерзкие ловцы неуловимого, яростно хватающие реальность за титьки! На самом деле мы не можем поймать даже собственный хвост, хотя нам и кажется, что мы открываемся перед жизнью беспощаднее, чем перед смертью.

Тут Семен затрясся от смеха и в лицах изобразил, как Найтберг, похожий на чихающего Будду, доказывал им в прошлом году, что смерть – это провокация, до которой дорастаешь с черного хода, но в последний миг перед твоим носом хлопают дверью, и ты отправляешься совсем по другому адресу, а Эспартеро, страдающий диабетом, вызвал у себя кому и продемонстрировал, как этот адрес обретает индивидуальные черты.

Рядом с Семеном бесшумно падал кленовый лист. Семен подставил ладонь и, любуясь, дал ему соскользнуть дальше. Его загар уже бледнел, и все равно на фоне берез и переменчивой лесной глади он смотрелся немножко арапом.

– Из Подмосковья Тарсус кажется миражом, – заметил он, – иногда я и сам себе кажусь миражом, который натягивает себе судьбу, смешивая времена и стили. Мираж-электрик, пузырящийся в поисках достоверного.

На склоне появился Андрей Ильич. Спускаясь по еле заметной тропинке, он явно кренился налево и мурлыкал под нос.

– Кейфуете, – блаженно сказал он и присел рядом, – когда я приезжаю сюда, меня отпускает. Здесь я на воле.

– Еще бы, подхватил Семен, – для тебя это как путешествие вокруг света.

– Не вокруг, – кротко возразил Андрей Ильич, – а вовнутрь.

Он отвел нас на несколько километров к роднику. От лесной воды заломило зубы и заглоло лицо, сразу потянуло в чашу, в оглушающую тишь, я воспользовался тем, что они сели перекусить, и слинял на полчаса. Вернувшись, я застал их с общим, тянущим в дрейф выражением лиц и понял, что они благодарны мне за передышку, позволившую им омочить пальцы в давней дружбе.

Из Москвы мы с Семеном уехали в Воронеж, где Семен сунул мне самоучитель арабского языка и список арабистов, книги которых я должен был достать самостоятельно. Жена его, смешливая курносая хохлушка, встретила меня как диковину и, громко охнув, спросила у Семена, неужели ему мало, что он сам бродяга, так он еще и дитяню туда заманил. Улучив момент, я поинтересовался у Семена, в курсе ли его походов жена. Она думает, что шатаюсь в пределах страны, нехотя ответил он, смотри, не сболтни ей что-нибудь, я забыл тебя предупредить.

От его обычной живости не осталось и следа – по двухкомнатной квартире с ковром и телевизором ходил основательный мужик, чуть сонный, с хозяйственной жилкой. Сажая меня на сухумский поезд, он расхохотался и, дернув меня за ухо, сказал, что двойная жизнь украшает мужчину не хуже боевых шрамов.

За пять месяцев, что меня не было дома, здесь ничего не изменилось. Приятели встретили меня восторженно – шашлыком и молодым вином, в их глазах человек, пахавший на севере, вместо того чтобы наслаждаться курортным сезоном на берегу Черного моря, был безумцем и блудным сыном, возвращение которого следовало отметить с размахом. Двухдневная «Изабелла», несущая в себе всю сладость раз-

давленного винограда, в считанные минуты вернула меня в привычную атмосферу праздничного безделья, и я поплыл среди знакомых голосов, с изумлением спрашивая себя, я ли еще совсем недавно брил свой череп, чтобы сойти за глухого мусульманина.

Весь год я зубрил арабский и английский, для изучения последнего я трижды в неделю ходил к пожилой даме, которая была помешана на «Унесенных ветром» и задолбала меня этим романом. Матери и сестре я туманно объяснил, что на Камчатке познакомился с капитаном, выходящем из наших мест, и тот обещал взять меня матросом до Адена.

Я усердно штудировал Крачковского и иже с ним, я жаждал сразить Семена и его братию тем, как быстро я вписался. Я предвкушал бродяжничество с Луи и хотел быть с ним на равных.

Снимая в застывших позах семейные пары, умильных родителей с детьми и неоформленные лица подростков, я ощущал, как неподвижность фотографии дробит течение жизни, отвешивает ее в отстойники. Теперь моя профессия приобрела оттенок двусмысленности – я подталкивал своих клиентов к той зыбкой грани, с которой можно было соскользнуть в незнакомство с собой, в изнурительное путешествие по несовпадению.

II

Следующее лето было самым легкомысленным в моей жизни.

С самого начала все удавалось мне, как любимцу богов, которые снисходительны к шалопаю, осуществляющему их тайные юношеские желания.

На этот раз, умудренный опытом, я покинул родной берег более цивилизным способом – среди швабр, ведер и прочей хозяйственной дребедени, в служебном помещении почтийского сухогруза, шедшего на Мальту. Вся команда друж-

но увлекалась контрабандой, перевозя на родину мелкий западный ширпотреб, и два брата рискнули провезти меня в обмен на клятву присмотреть им партию нужного товара в Катании, куда они должны были зайти в конце августа. Я заверил их, что буду циркулировать регулярно и лучшего агента им не найти.

Первая стоянка была лишь в Стамбуле, и мне пришлось тащиться через всю Турцию. В Джизре я вручил рекомендательное письмо Семена почтенному старцу, члену ордена «Похитители сердец». Семен, прогостивший у меня неделю весною, рассказывал, что этот человек, умеющий опьяняться богом, сочетает свой фанатизм с тщательно скрываемой слабостью к русским – его бабка была взята в плен под нынешней Феодосией, и он считает, что капля неверной крови непостижимым образом позволяет ему полнее постигать Аллаха, чем правоверным с незамутненной родословной.

Пробежав поданное письмо, старец пропел «Ла ила ила'лла» («Нет бога, кроме бога») неожиданно звучным голосом; по-арабски он говорил со старомодной учтивостью, которая почему-то вызывала в памяти шелест пальм. В течение двух суток он сделал мне визу, и на иракскую территорию я вступил законным югославом, путешествующим вниз по течению Тигра.

Перебиваясь случайными заработками, я добрался до Багдада за две недели до встречи с Луи, и меня не очень охотно, но взяли на строительство гостиницы. В 70-х город Гаруна-ар-Рашида переживал строительный бум – доходы от нефти и западные инвестиции превращали улицы, по которым ходил Синдбад-мореход и крался багдадский вор, в туристический придаток к деловому ренессансу ислама. Я застал эту романтическую пору, когда иракские шииты не жились под благосклонным оком Аллаха и думали, что нефтяные струи бьют во славу Корана.

Встретившись с Луи, я обнаружил, что этот сукин сын устроился уютно и даже с претензией на роскошь – балкон

просторной холостяцкой квартиры выходил на Тигр, мебель было только самая необходимая, но ковры, вышитые подушки, картины и оружие на стенах – все было первоклассное и подобрано со вкусом, выдававшим человека тонкого и отчасти взбалмошного.

Развалившись в плетеном кресле и созерцая медленное течение реки, Луи пояснил, что заранее списался со студентом багдадского университета, который бредит Европой. Родители непустили его в Сорбонну, опасаясь, что он окончательно отойдет от веры и обычаев предков, но на каникулах дают ему волю. Луи махнулся с ним на месяц квартирами. Мне он широким жестом отвел гостиную с тахтой, а сам расположился в спальне, и, заходя к нему, я всегда ощущал кожей и надцатым чувством, что прикосновение Луи заставляет эту комнату с арочными окнами как бы застывать на цыпочках, в прерванном полуобъятье.

Много позже, уже зная его нрав и нащупав хотя бы в общих чертах его внутренний рельеф, я решил, что в этом обыкновении устраиваться с комфортом и в то же время чуть-чуть, на полутонах, уклоняться от заботы вещного, застывшего, тяготеющего к тебе по функции, отражается увертливость Луи, он не желал зависеть от телесно-домашнего перешептывания с вещами, которые тут же норовят навязать тебе свой темп и одержимость фактурой, со временем я стал подозревать, что таким же макаром он действует и в постели.

По Багдаду Луи щеголял в белых шортах и яркой пестрой сорочке, на шее болталась золотая древнегреческая монета с надписью «Непостижимому в нас и над нами». Он заставил приодеться и меня, обронив, что местные приключения липнут к европейцам лишь в том случае, когда от них несет деньгами.

Он практически взял меня на содержание, и когда я заикнулся о том, что верну деньги в конце лета, он посмотрел на меня как на пустое место и ответил, что из меня никогда не будет толка, потому что я засоряю свои мозги несущественным. Не комплексуй, добавил он позже, у тебя еще бу-

дет возможность облагодетельствовать меня, жизнь щедра на гнусности, и не всегда удастся сделать вид, что это не в твой адрес.

Для начала Луи потащил меня по главным шиитским святыням под Багдадом – мечеть имама Али в Наджафе была хороша в отвесный полдень и облаком вертикального зноя клонилась к месту его гибели в Куфе, мечеть же имама Хусейна, сына Али, в Кербеле застряла в моих зрачках до ночи и блуждала по сновидениям, как дервиш, возникая на заднем плане в самые неподходящие моменты.

С небрежностью завсегдатая Луи продемонстрировал мне моления нескольких немногочисленных сект, куда нас проводили с показательными предосторожностями – здесь в испуге вонзали кинжалы в бок, протыкая себя насквозь, вбивали гвозди в голову и засовывали ножи в рот, а кончик их вылезал ниже кадыка, крови было немного, и я не понимал, фокус это или одержимость позволяет этим людям найти щель в физиологии и проскользнуть туда и обратно с юркостью ящерицы.

Однажды мы сидели за столиком у реки, мелкими глотками пили обжигающий кофе, обсуждая, чем душа женщины отличается от мужской и можно ли уловить эту разницу во время хорошего траха, как вдруг Луи сказал:

– А не обзавестись ли нам рабыней с жасминовым чубуком в коралловых устах?

– Одной на двоих? – задумчиво уточнил я.

– Ты так щепетилен в этом вопросе? – лениво спросил Луи, и его правая бровь задралась выше обычного. Временами, разглядывая его смутно-бледную рожу с миндалевидными глазами, я ловил себя на мысли, что его мимика напоминает цивилизацию, в которой расцвет и усложненность соседствуют или сопровождаются усталостью, тут же выносящей на берег обломки.

Вокруг нас уже с полчаса шнырял араб лет 35-ти, одетый в национальное довольно чисто и не без изящества, но вертлявый и с повадками сводника, это чувствовалось за кило-

метр. Наши последние слова заставили его слегка присесть, после чего он вильнул к нам и вкрадчиво предложил приключение из «Тысячи и одной ночи».

Был он горбонос, с широко раскинутыми бровями, но губы казались накрашенными, и двусмысленная ухмылка подчеркивала их изгиб.

Луи понизил голос и по-английски сказал мне, что перед нами классический современный экземпляр, сочетающий в одном лице Али-Зейбака и Далилу-хитрицу, правда, в столь тесном соседстве достоинства обоих взаимно уничтожаются.

Сводник на ломаном английском сказал, что готов служить молодым господам в обоих качествах.

Луи снова перешел на арабский и спросил, что он предлагает.

– Моя сестра служит в богатом гареме, – тихо ответил араб, оглядываясь по сторонам. – В гареме семь полногрудых гурий, готовых исполнить любое желание своего господина. Но их господин уже два месяца отсутствует, и девочки скучают, – «девочки» он произнес по-английски, и это резануло слух, как фальшивая нота. – Моя сестра благочестивая женщина, но ей горько видеть, как томятся молодые гурии. Для таких любезных и щедрых господ, как вы, готова сделать исключение и на целую ночь пустить их в сад наслаждений.

Когда он назвал сумму, которую хочет благочестивая женщина, я чуть не упал со стула. Но Луи торговался жестко и напористо и сбил цену втрое, хотя и в таком виде она казалась мне чрезмерной.

В ту же ночь красногубый прохиндей долго вел нас узкими улицами старого города, явно запутывая следы и оправдываясь тем, что мы не должны знать, где живет уважаемый человек, которого мы собираемся обесчестить, и наконец трижды постучал в дверь высокой стены. Открыла женщина, закутанная с головы до ног, молча пропустила нас двоих и пошла впереди нас по слабо освещенной лестнице.

Здесь было еще более душно, чем на улице. Мы прошли несколько затемненных помещений, спустились по лестни-

це, пересекли внутренний дворик с фонтаном и гранатовыми деревьями. Перед белой дверью, над которой висел амулет, еле различимый при мерцании звезд и тончайшего лунного серпа, женщина повернулась к нам и застыла.

Мы потоптались на месте, потом Луи догадливо хмыкнул и достал деньги. Закутанная фигура взяла их и открыла ключом заветную дверь.

В огромном зале, сплошь расписанном цветочным орнаментом и арабской вязью, нас ожидала картинка из восточных сказок – две гурии на серо-голубом ковре играли в нарды, третья перед распахнутым окном курила наргиле, еще три валялись на тахте и грызли сладости, седьмая гурия спала, свернувшись в клубок.

Увидев нас, они подняли страшный визг и начали чем попало закрывать лица. С той стороны двери раздался повелительный стук нашего закутанного Вергилия. Гурии слегка утихомирились, среди полупрозрачного тряпья то там, то здесь появлялся одинокий любопытствующий глаз.

– О, прекрасные гурии, равных которым нет на свете и в садах Аллаха, в эту ночь у вас будут новые повелители, – деловито сказал Луи и стал раздеваться.

Нагота молодого поджарого мужика сразу смягчила атмосферу. Наступило благоуханное молчание, от которого я так разомлел, что машинально разделся и принялся расхаживать, отдавшись новому острому наслаждению – ходить голым перед одетыми женщинами.

Луи, развалившись на ковре, насмешливо наблюдал за мною.

– Оказывается, в тебе живет трепетный эксгибиционист, произнес он с нежностью фавна, – эксгибиционист-романтик, чья плоть танцует на самом кончике женского взгляда. Не сведи с ума этих плотоядных обитательниц гарема, а то они растерзают тебя как вакханки. Я слышу, как бурлит кровь в их жилах.

Я уже был готов – кожа впитала ночной воздух, идущий в окна, и учащенное женское дыхание, еще минута, и я бы

клюкнул носом, перевешанный горячей тяжестью своего корня жизни. Схватив самую близкую ко мне гурию, я унес ее в угол и рухнул в пропасть, где сплетают ноги и кусают губы, чтобы уцепиться хоть за что-нибудь.

Придя в себя, я не сразу понял, что происходит – в центре зала в разнообразных позах стояли обнаженные девы, а между ними, смакуя персик, бродил Луи, осматривая их, как статуи, заставляя менять положение, и ласкал свободной рукой потаенные места.

Я подошел к нему. Он сразу подозвал освободившуюся гурию и включил ее в общую экспозицию.

– Мне давно хотелось воссоздать знаменитую сцену из «Персидских писем», – пояснил он, отходя в сторону, и добавил по-английски: – Боюсь, что во времена Монтескье они были еще более коротконогими. Наш вкус испорчен бегуньями и манекенщицами. Хорошо еще, что они достаточно молоды. Может быть, заставить их умыться? Никак не привыкну к такому обилию сурьмы и румян.

Пожалуй, он был прав – над белыми телами накрашенные лица смотрелись грубо, но мне это было по фигуре. Та, что побывала со мной, шепталась с двумя хихикающими гуриями, груди их колыхались, а мимо такого зрелища я никогда не мог пройти спокойно.

Я ринулся в самую гущу живых статуй и принялся тискать и мять все, что попадалось под руку. Гурии снова заверещали, но томно и призывно, и начали лгнуть ко мне, облепив гроздьями. К счастью, Луи пришел мне на помощь...

Он оказался более сведущим развратником, чем я ожидал: в те моменты, когда мы нуждались в отдыхе, он отвлекал гурий танцами или борьбой, искушая их возбуждаться схожей плотью, оделял их фруктами и развлекал нескромными историями, и к утру мы довели до изнеможения не только себя, но и этих неверных жен, резвившихся с простодушием коз, которые дорвались до свежей зелени.

Дома, когда мы уже отоспались и в чем мать родила обедали бараниной и сушеными финиками, я зацепил у поверхности Луи слабое шевеление.

За эти дни, проведенные вместе, я уже сориентировался в основных течениях его настроения и теперь мог позволить себе роскошь выуживать мелкие подробности.

Посетовав, что в такую жару плавятся не только мозги, но и само желание жить, я принял невинный вид счастливица, который находится в полном ладу с окружающим и способен наслаждаться назойливостью зноя и голубым небом, раскаленно дышавшим в полуоткрытую дверь балкона. Долго выдержать провокацию таким зрелищем может только святой или идиот, которому для равновесия мостика нужен лишь один берег реки.

Финики уже кончались, когда Луи разверз уста:

– Устроитель этого фальшивого гарема рассчитывал на простачков. Хотя настоящий гарем нагнал бы на нас смертельную скуку.

Мой невинный вид, как мавр, сделал свое дело и отпал с легкостью шелухи.

Луи сдержал улыбку и добавил, что ему не хотелось портить мне удовольствие и разрушать мои иллюзии, но это повсеместное неумение профессионально обвести клиента вокруг пальца и доставить ему минуты высокого заблуждения просто удручают его.

– По сути дела, я жалуюсь тебе на несовершенство мира даже в такой узкой области, как проституция, – сказал он, ероша свои курчавые волосы и потягиваясь.

Я спросил, как он догадался, и отправил в рот последний липкий финик, дробящая сладость которого отозвалась в зубах.

Луи пожал смуглыми плечами:

– Слишком приторно все было: диваны, подушки, сладости, фрукты, девушки почти одного возраста, никогда не рожавшие. Их отрепетированный визг, а потом привычная готовность профессионалок. Под утро я сунул самой молодой пятнадцать долларов, и она созналась, но умоляла молчать, а то ее продадут в дешевый публичный дом.

Так чего же ему, собственно, не хватало, спросил я, сознания, что он действительно наставляет рога восточному вельможе?

– Бог его знает, – ответил Луи и налил в пиалу зеленого чая, – наверное, не хватало ощущения запретности, недоуловленности, ведь этот сводник обещал нам приключение, а не обычный визит в публичный дом. За такие деньги можно поиметь половину Багдада. Осточертело иметь дело с такими посредственностями, которые судят о клиенте на уровне собственных гениталий.

Луи неторопливо осушил пиалу, испарина покрыла его кожу, и он глубоко, всем животом, вздохнул, позволяя жаре добраться до мельчайшей жилочки.

Лишь однажды я встретил настоящего художника в этой области, продолжал он медленно, это было в Бангкоке, тощий плюгавый старикашка, который держал бордель для состоятельных клиентов. Мне было девятнадцать, и я увидел в этом старикашке печаль и отрешенность, которые, как мне тогда казалось, не соответствовали торговле живым телом. И однажды я сказал ему об этом. Он пригласил меня наверх, в свой тесный кабинет, откуда был виден порт, и угостил бренди, а через полчаса вошла юная тайка, тонкая, гибкая, в замысловатой прическе гребень и палочки, дерзкие горячие глаза, а как она двигалась, боже мой, это была грация дикой кошки, попавшей в незнакомую местность. Она сделала внутреннюю стойку при виде меня и разбудила во мне охотника. Старик сказал, что это его дочь и он дает мне пять вечеров по полчаса, чтобы завоевать ее любовь.

Она щебетала по-английски высоким мелодичным голосом и говорила об отношениях мужчины и женщины жестокие вещи, видимо, отец учил ее этому, она была умна и нежна и, не давая прикоснуться к себе, как бы набрасывала невидимой тушью контуры своего тела. Я потерял голову, потому что она была недосыгаема в своей шаловливости, иногда она ласкала меня быстрым взглядом и тут же смеялась, начиная очередную историю о тщетности человеческих усилий.

Каждый раз после ее исчезновения появлялся старик и вел меня в комнату, где две опытных проститутки ублажали меня до потери сил. Я понимал, что старик на свой лад демонстрирует мне неразделимость высокого и низкого, и был тронут его усердием.

Прошли пять вечеров, и в последний из них дочь старика показала мне почти взрослой, печаль отца отсвечивала в ее движениях, она всматривалась в меня, словно искала кого-то другого, и жадно расспрашивала о моем бродяжничестве по Испании, когда я еще совсем молокососом сбежал из дому. В пальцах ее точеной руки покачивался цветок магнолии, и его оглушающий запах бил меня по нервам. Я говорил ей о своей любви, она кивала и грустила. Перед уходом она прижала мизинец к моим губам и что-то шепнула по-тайски.

Несколько дней я маялся, гадая, удалось ли мне овладеть душой девочки, ускользающей и невесомой, как пыльца, и в то же время упругой – за этим нежным узким лбом пульсировала сила, и я чуял ее, как буйвол воду, и пытался отыскать источник. Старик не показывался, его помощник отвечал уклончиво.

Я тосковал и дошел до сладостного маразма – натирал переносицу и виски лепестками магнолии и часами валялся где-нибудь на траве, представляя, как она гуляет неподалеку, бесшумно пересекает дорожки и вдруг замечает меня: я физически ощущал, как ее взгляд касается меня, полностью вбирает, и тогда я умирал от любви, истаивая и растекаясь...

Тучный слуга принес записку, в которой старик приглашал меня разделить с ним, уходящий час его жизни.

За рулем дребезжащего «Форда» слуга был молчалив, привез меня на край города и, высаживая, сказал, что господин прощается со своим сыном, который уходит в буддийский монастырь.

Старик стоял на дороге и смотрел вслед подростку лет пятнадцати, успевшему пройти шагов десять. Замешкавшись, подросток обернулся, и я заметил, как он похож на

свою сестру – те же глаза, чистая кожа, подвижный рот. И только когда его лицо, дрогнув, узнало меня, я понял, кто прощается с нами.

Когда он скрылся за поворотом, я, все еще не веря себе, повернулся к старику – он был бесстрастнее обычного, только ноздри мелко трепетали, он поклонился мне и с восточной изысканностью произнес:

– Твоя юность сделала тебя гостем моего сердца. Я дал тебе вкусить сладость встречи и горечь разлуки. Ты узнал, что истина может лишь мелькнуть перед глазами и снова исчезает вдали. Я выполнил свой долг гостеприимства.

Он снова поклонился мне, приказал слуге отвезти меня, куда я пожелаю, а сам отошел в сторону от дороги и опустил-ся на землю.

Луи снова наполнил пиалу свежесваренным чаем. Раскаленный воздух с балкона шел стеною, и я прикрыл дверь.

– Тогда я был чувствителен как мимоза, – усмехнулся Луи, – и счел, что старик поступил жестоко. Вывернуть мое чувство в маскарад – я еще всем существом помнил прелесть ее присутствия, шелест ее одежды, привычку прикусывать нижнюю губу, когда она хотела сдерживать смех, и вдруг из-под всего этого выдернули основу. Я уехал с ощущением, что меня подсвечивали, как тень, отбрасываемую чужими пальцами.

Лишь много позже, когда я уже повидал кое-что, я оценил его щедрость и великодушие. Меня, постороннего щенка, приехавшего на Восток за экзотикой, он допустил в свою боль, в свое расставание с сыном. Он не поленился дать мне чувственный урок с метафизической подоплекой. Он-то знал протяженность чувств, их инерцию и тяжесть.

Луи закинул назад потную голову и мечтательно добавил:

– А теперь представь, что владельцы борделей, хотя бы через одного, работают с нами как художники, а не просто сводники. Это дало бы человечеству больше, чем слюнявая интуиция Бергсона или ясперсовская коммуникация, которая предпочитает сюсюкать на верхних этажах.

Он скорчил зверскую рожу и поплелся в душ, где тут же начал чертыхаться – разница между горячей водой и так называемой холодной, напоминала разницу между медужой и желе.

Ночью мы устроились на балконе и, созерцая затихающий Багдад, состязались с Шахерезадой. Сначала Луи был Гаруном-ар-Рашидом, а я его визирем, мы бродили по городу под видом странствующих купцов, устраивали плутни, обольщали чужих жен, наказывали жадных и бросали золотые монеты в окна бедняков.

Потом багдадским халифом стал я и назначил Луи своим главным евнухом. Это вызвало у него приступ хохота, закончившийся зловещим блеском в глазах. Очень скоро я раскаялся в своем решении – главный евнух оказался коварным негодяем, который, пользуясь моим отъездом на охоту, подменил всех моих жен и наложниц старухами. Никогда не забуду эту кошмарную ночь – томимый страстью, я вошел в свой гарем без свечи и сразу направился к ложу любимой жены, которая обычно спала на правом боку, разметав свои тяжелые кудри, надушенные сирийскими благовониями. Но вместо молодого жаркого тела меня встретили кости и ворчливый кашель. Подскочив как ужаленный, я гневно кликнул прислужницу. Начался переполох, зажгли свечи, и я очутился среди зевающих старух, которые никак не могли понять, где они находятся и кто этот голый мужчина, пятающийся от них, как от змей. Я поседел от ужаса и приказал посадить на кол главного евнуха прямо на дворцовой площади.

К раннему утру мы истощили свои фантазии до такой степени, что не могли уже вымолвить ни слова и дрейфовали с полузакрытыми глазами в сухом лиловеющем воздухе, ощущая, как нас сносит в общее русло кайфа, где можно оставить на берегу истомленную плоть и шлаться в том первозданном виде, который вибрирует на грани облака и чистого духа.

Может быть, нас сближал возраст, но с Луи мне было проще, чем с Семеном, я свободно перемещался в его внешнем

слое, здесь не было резких перепадов, и хозяин тихо занимался своим делом, не мешая соглядатаю осваиваться.

И в этом внутреннем кайфе мы по-братски делили дыхание вечности, смешиваясь, как два дымка, и разносясь с теплым воздухом, который начинал медленно подниматься вверх – солнце должно было уже вот-вот брызнуть из-за горизонта...

Несколько дней мы провели поодаль друг от друга, слишком полным было ощущение нарастающей близости, и меня позабавило, как согласованно мы разбрелись, без единого намека, просто у каждого появился свой маршрут и свои убежища от зноя..

Я слонялся по городу в изумительном состоянии заброшенности, которое прочищало наждаком мое прошлое и настоящее – устояло лишь подлинное, кровоточащее, и по клубам пыли, уносящимся в сквозную дыру, я мог судить о количестве суеты, въедающейся в повседневность.

Но кто смог бы долго кровоточить собою, кто способен обнажить суть и не отвернуться, и я бежал в багдадскую явь с минаретами и торговыми рядами, с беспощадным дневным светом, проникающим дальше дозволенного.

Как-то вечером мы обсуждали Шлимана, который сделал себе обрезание, чтобы обезопасить свое проникновение в Мекку под видом араба. Луи считал, что Шлиман выдвинул такое объяснение для окружающих, на самом же деле сумасбродный немец хотел придать достоверность своим переживаниям в мусульманском святылище. Евреи раньше всех заметили, что отсутствие крайней плоти обостряет мистическую связь с творцом, говорил Луи, именно это обстоятельство позволило Шлиману раскопать Трою и микенские захоронения, а также точно предположить подземный адрес критского лабиринта.

Если ты сделаешь себе обрезание, разглагольствовал Луи, подрагивая бровями и косясь на обгоняющих нас арабов, ты получишь шанс интимно провоцировать Восток, играть с ним в поддавки, шантажировать своим жертвенным актом,

короче, раздвинешь пределы общения до высот эротического богословия.

Я не выразил восторга и споткнулся о земляной нарост, плохо различимый в полутьме тесной улочки. Луи тихо хлопнул в ладоши, ты несомненный избранник дня, сказал он лукаво, ты споткнулся в нужном месте и в нужный час, когда мы обсуждаем судьбу твоей крайней плоти. Войдем в это заведение, где курят опиум и где белым джентльменам приносят трубки в отдельную комнату, чтобы обезопасить их кошельки. Почтенный Али Бакар гарантирует европейский уровень сервиса при погружении в восточные грезы. С помощью опиумной трубки ты найдешь ответ.

Мы скользнули в скудно освещенный вход и еще минуты две плутали по коридорам, неожиданно из-за угла появилась фигура в белом и молча проводила нас к хозяину.

Али Бакар, благообразный и плотный, с щегольскими черными усиками и золотыми перстнями на обеих руках, встретил нас любезно, но не более, чувствовалось, что он знает цену себе и клиентам.

Та же фигура в белом провела нас через общий зал, где на топчанах и тюфяках, неподвижно лежали человек двадцать – некоторые всхлипывали и бормотали, сладковатый дым щекотал ноздри, и впустила в комнату, похожую на гостиничный номер, только рядом с тремя кушетками, у изголовья, стояли резные столики. Мы возлегли, и вскоре слуга принес нам по дымящейся трубке. Луи предупредил, чтобы я вдыхал медленно и не торопился к порогу блаженства.

Я и не торопился, прополаскивая дымом носоглотку и обдумывая, как уесть Луи, приколовшегося к моей крайней плоти. Ничего путного в голову не лезло, зато потолок уплыл в сторону, а на его месте оказался такой же потолок. Я отнесся к этому спокойно, тем более что меня подташнивало и почему-то хотелось хихикать.

Потом я очутился в незнакомой местности, где было много людей, беззвучно хихикавших и втянувших меня в это занятие, люди то увеличивались, то уменьшались в размерах и

все время хихикали, а вокруг пламенели огромные гладиолусы, и люди ползали по ним, как по деревьям, и веселились.

Я тоже веселился, все было очень ярко, малейший оттенок на цветах и одежде просто бил мне в глаза, я уже тонул в этой цветовой агрессии, и тут меня поволокло – я летел, раскачиваясь и приветствуя встречные предметы, среди которых попадалось все, что угодно – от облаков до хрустальных солонок, и наконец очнулся на кушетке.

Луи лежал на соседней кушетке и читал крохотную книжку в сафьяновом переплете. Его трубка валялась на столике.

– Испортишь глаза, – сказал я, действительно, ночник над входной дверью давал слабый рассеянный свет, но раздражился я оттого, что у Луи был бодрый вид, будто он и не прикасался к опиуму.

Луи захлопнул книжку и поинтересовался, нашел ли я ответ в опиумном пучке сновидений.

– Конечно, – отозвался я и вдумчиво зевнул, – я сделал обрезание, и моя крайняя плоть превратилась в Тамерлана, который со своей ордой прошел всю Европу, оставляя за собой развалины и пожарище. В частности, на месте твоего Люксембурга осталась голая пустошь, замок срыли, а из черепов рыцарей пили бургундское. Оставшиеся в живых европейцы собрались у Женевского озера и проклинали тот миг, когда я дал свободу крайней плоти. Проклятья мужчин и плач женщин неслись над водной гладью и подхлестнули переход от средневековья к Ренессансу.

Луи захохотал и вскочил с кушетки, твою желчь надо разбавить глотком виски, весело сказал он, неподалеку есть бар, где можно разжиться этим делом.

В баре небольшой гостиницы было прохладно, гудели кондиционеры, но я продолжал зевать и ощущал вялость во всем теле.

Виски показался мне безвкусным, как выдохшийся боржом, я брюзжал и наконец спросил Луи, какого черта он сам не курил опиум. Да я уже давно не балуюсь, ответил он, про-

жевая бутерброд с ветчиной, я хотел посмотреть, как у тебя пойдет, правда, с одной трубки далеко не уедешь.

Я отодвинул свой бутерброд и спросил, что, собственно, ему это давало.

Да в общем-то ничего существенного, сказал Луи, перестав жевать, по сравнению с тем, что я могу вызвать в себе сам, хотя и не каждый раз, этот опиумный кайф пресен, по-идиотски простодушен, что-то среднее между голубой мечтой институтки и раем слабоумного.

Я припомнил всеобщее хихиканье на гладиолусах и полет среди природно-хозяйственного хлама – во всяком случае, в воспоминаниях это не вдохновляло.

Наркотики раскрепощают не то, что мне нужно, морщась, продолжал Луи, это поросячий восторг физиологии или подкорки, который забивает умственный навык. То есть опять идет эмоциональное ускользание от жизни, как в музыке, сексе, а не противостояние, когда ты ей открываешься с потрохами и позволяешь хозяйничать, а сам считаешь ее подноготную непонятно чем, может быть, даже ею самою, теми ее отложениями, которые пытаются обрести в тебе самостоятельный статус.

В этот миг я любил Луи. Этот кудрявый тип с крошками хлеба на губе, с глазами сарацина и рожей европейской выделки, стал мне так дорог, что я внутренне пополз, как жидкий цемент, но этот сукин сын сразу усек и подставил желобом насмешливую улыбку.

К концу недели мы покинули Багдад и попутками направились к Хомсу, так как посещение лже-гарема пробило брешь в кошельке Луи. Этот маршрут выбрал я, из Хомса мы поездом прибыли в Триполи, который манил меня с детства, и тут выяснилось, что я спутал – мой Триполи, основанный еще финикийцами и столь бурно участвовавший в тысячелетних средиземноморских шашнях, находился в Ливии.

Я предложил подработать в порту, Луи согласился, но, узнав расценки, похерил мой трудовой порыв. Я еще не настолько на мели, чтобы ломаться почти даром, сказал он, до

Порт-Саида мы доберемся на палубе, а оттуда я позвоню маман, она великодушная женщина и всегда питала слабость к Египту, когда я ей звоню из страны сфинксов, она бывает щедра как императрица.

Благодаря щедрости его маман из Порт-Саида мы выехали вторым классом.

Развалившись в шезлонгах, мы игнорировали других пассажиров, в том числе и дам, среди которых преобладали экземпляры с плоскими лицами и вялым темпераментом, и злословили по поводу моря, блиставшего под лучами солнца с открытым оптимизмом. Луи утверждал, что море разносчик банальности и упрощенных представлений о блаженстве, а я пенял ему за излишнюю склонность к мифологизации, в которой соленая вода гораздо последовательнее пресной.

Наконец безделье на виду у других и оживленная скука окружающих, докатывающаяся до нас с регулярностью судового распорядка, сделали свое черное дело: мы впали в мазохизм, изощренно щекотавший наше чувство прекрасного, – обсуждая человеческий облик, эту пародию на обмещанившегося бога, выбравшего комфорт индивидуальности, мы пришли к выводу, что смятение внешности, бросающейся от разнообразия рас к сходству с животными, свидетельствует о ее деградации и измене первоначальному идеалу.

За одним ресторанным столиком с нами сидела супружеская чета из Манчестера, отмечавшая двадцатипятилетие своего брака путешествием на Ближний Восток.

Умиротворенные отдыхом и юбилейной датой, они мало разговаривали и обменивались взглядами, влажная мягкость которых казалась нам несколько смешной и в то же время создавала вокруг них атмосферу вечернего покоя, когда боишься пошевелиться, чтобы не спугнуть букашку и сумерки.

Миссис Роулер носила зеленовато-голубые ткани, придававшие ее ходьбе и увядающему профилю экзотическую эфемерность, временами, когда ветер отбрасывал ресторанный

ные шторы и достигал столика, казалось, что ее сдует как бабочку. В таких случаях муж опирался рукой на спинку ее стула, и мы гадали, делает ли он это осознанно или это многолетняя филигранная привычка, которую, как стекло, выдула в нем ее хрупкость.

Через несколько дней мы так сжились с их присутствием, что, когда они пропустили ужин из-за ее головной боли, Луи посетовал, что нам вроде не хватает свежих гвоздик на столе или доносящейся с кормы мелодии.

А потом я заметил, что миссис Роулер равнодушна к Луи – тяготением зрелой женщины к молодому мускулистому телу, к бронзовой коже, обветренной и подпаленной, упруго ловящей свет и тени, мозаично дробящиеся в сутолоке ресторана. Когда он тянулся за кетчупом или фруктами, она замирала, и ее скользящие невесомые взгляды уносили свою добычу куда-то в бок, в воздушную ловушку, где она хранила свое вожделение.

Я наслаждался ее чувством. Это не было платонической любовью, ее плоть отзывалась на каждое его движение, плоть восхищалась силой и гибкостью чужого тела, требовала прикосновения и жадного познания, но душа грустила и отступала, и целомудрие этого желания, изначальная запретность плода распахивали это чувство до девичьей влюбленности, когда грань между влюбленным и миром стирается.

Я позабавился, обнаружив, что Луи начал смущаться. Его смущение было под стать ее чувству – он рефлексировал с таким тактом и изяществом, как фехтовальщик, задавшийся целью скрыть свое мастерство от соперника.

Интонацией, жестами он начал истончать свою брутальность, которой и так было не слишком много, он убирал ее, как грим, слой за слоем, и когда мы входили в Мессинский пролив, с нами обедал почти бесплотный дух, вызывающий своим видом возвышенные мысли.

Ночью, на палубе, уже в Тирренском море, я полубопытался, всегда ли он так воспитательно галантен с женщи-

нами, павшими жертвой его мужского обаяния, и как долго он собирается пребывать в ангельском чине.

Благоуханная ночь поглощала звуки, еще чувствовалась близость сицилийского берега, и мерцавшее небо дрожало над теплоходом совсем близко, по-домашнему.

– Это ты виноват, – ответил Луи вполголоса, – ты так трепетно наблюдал за ее слабостью ко мне, что невозможно было удержаться. Я включился в игру помимо воли, ты, как сирена, опутал меня своею впечатлительностью. Бедная женщина, наверное, не может понять, что за возня идет вокруг нее.

Луи тихо рассмеялся и добавил:

– Днем, в самое пекло, я проходил мимо бассейна, она плыла в задумчивости, которая до добра не доведет. Я теперь не знаю, как выпутаться, придется терпеть до конца.

Утром, за завтраком, миссис Роулер была бледна и словно не замечала никого. Муж был с нею заботливее обычного и не обсуждал с нами мелкие события палубной жизни.

В конце завтрака она попросила его принести из каюты носовой платок и газеты и, когда он отошел, посмотрела на нас – впервые я видел ее глаза во всей наготы, близорукие, серые в черную крапинку, укоризненные, беспомощные глаза женщины, которую застали в нескромный миг, и она не знает, успел ли посторонний разглядеть ее в подробностях.

Она не сдавалась и не просила пощады, она пыталась понять, зачем мы вторглись, если она никому не мешала и втайне, на своей площадке, под отдаленным небом своей невинности, воскрешала безумство ночей и запрокинутой головы, исступленный знобящий восторг тела, вытесняющего все, кроме ласк и стонов.

Я чувствовал себя как дурак и украдкой покосился на Луи – отодвинув чашку с кофе, Луи привстал и, перегнувшись через столик, поцеловал руку миссис Роулер. Я вспомнил, как однажды он обмолвился, что это классический способ выйти из неловкого положения с женщиной.

Правда, мне не показалось, что он нашел удачный выход, зато из-за столика вышла миссис Роулер, и, глядя ей в след, я пробормотал, что мы развлеклись за чужой счет.

До самого Неаполя мы держались за обеденным столом, как дипломаты на приеме, и за прощальной трапезой мистер Роулер сказал, что мы напоминаем ему джентльменов его поколения.

В Неаполе мы покрутились с часок на набережной и укатили в Помпеи.

Ступив на территорию городка, откопанного из-под земли наподобие статуи, я поразился обилию зелени – отовсюду напирала густо разросшаяся трава, цвели кусты шиповника, еще какие-то неизвестные мне цветы, над крышами домов возвышались целые рощи кипарисов и пиний, а раскидистые акации бросали млеющую от зноя тень.

Это был обжитой, уютный город, которому толпы туристов придавали современный оживленный вид. За компанию Луи героически выдержал долгую экскурсию, нагрузившую нас таким количеством сведений об античных буднях римлян, что я уже готов был предложить свои услуги в качестве живого экспоната, пекаря или рыбака, принесшего свой улов на рынок, который два тысячелетия назад походил на роскошную музейную площадь, а вовсе не на привычную для нас толкучку.

Потом мы сходили на берег искупаться и поваляться под солнцем, а за час до закрытия так называемых руин, которые приспособлены для жизни больше, чем некоторые виденные мною города, вновь вошли в Геркуланские ворота.

Луи уверенно вел меня в глубь улиц, и мы прятались от сторожей, которые потихоньку направляли посетителей к выходу.

Было еще светло, когда наступила тишина, и безлюдье ощущалось даже спиной и затылком, дома сразу обрели гулкость, и каждый шаг оброс шелестящим эхом.

Мы подошли к глухому фасаду, куда была встроена ремесленная мастерская, и по узкому входу проникли в атриум

с мраморным бассейном. Здесь Луи весело засвистел и сказал, что вот мы и дома.

В одной из боковых комнат у него оказался тайник с фонариком, спиртовкой, банкой растворимого кофе и большим пластиковым пакетом, из которого он вытащил спальный мешок и тут же раскрыл его для просушки.

Мы успели перекусить в современных Помпеях, аккуратном городишке по соседству, но сейчас с удовольствием хлебнули горячего кофе из пластмассового стаканчика, который, по замечанию расслабившегося Луи, звучал вопиющей банальностью среди мрамора и сохранившихся фресок.

Наступила жизнь, о которой такой бездельник, как я, мог только мечтать. Я бродил с фонариком по ночным Помпеям, не торопясь, выхватывая лучом света то изображение гипопотама, то мраморный столик на трех ножках с львиными мордами, то жрицу, застывшую в ритуальном танце, то непристойную надпись на уличной стене. В этих надписях помпеянцы изощрались как могли, проблемы у них были примерно те же, что и у нас, но общественный темперамент бил ключом – на 20 тысяч жителей они отгрохали амфитеатр, вмещавший все население города, драматический театр на 5 тысяч зрителей и еще на полторы тысячи музыкальный театр, в котором был бассейн для шафрановой воды, ею обрызгивали зрителей, чтобы смягчить зной.

Судя по их роскошным термам, помпеянцы понимали толк в насаждении – после баньки они нежились в прохладных залах с мозаичными полами, среди дамасских роз и фонтанов, здесь же, под боком, была библиотека и харчевня.

Я пожаловался Луи, что меня заедает зависть к этим древним прожигателям жизни, которые под благоухание ирисов и лилий торговали, кляузничали, занимались гимнастикой и по изображению фаллоса на мостовой находили дорогу к публичному дому. Луи хладнокровно напомнил мне, чем они кончили.

Днем мы смешивались с туристами, выходили за ворота, чтобы подкормиться и освежиться в море, поднимались на

Везувий, кемарили где-нибудь в тени, а ночами в основном бодрствовали – Луи обычно возлежал на какой-нибудь крыше, голый и сосредоточенный, подстелив спальный мешок, и штудировал себя, как манускрипт, а я таскался по руинам и пропитывался чужим существованием.

Теперь я подолгу простаивал у фресок – помпеянцы не исповедывали лозунг «Keer smiling», который превратил фотографию в отстойник для бодряческих гримас, они предпочитали естественность и даже некоторую отстраненность, особенно у женщин, их женщины кажутся молчаливыми. У самых Геркуланских ворот находится вилла жрицы донисийских мистерий, где я передвигался с особой осторожностью, чтобы не привлечь внимание шумом или светом фонарика. На стенах сохранились, почти в полный рост, двадцать девять женских фигур – новообращенную посвящают в культ Диониса, но и здесь царствуют тишина и задумчивость, которые не вяжутся с расхожим представлением о вакхическом буйстве.

У нынешних женщин слишком много ног, почти как у гусеницы, зато помпеянки редко показывают их – они знали цену таинственности движений под колышавшейся материей. После долгих прогулок по развалинам я пришел к выводу, что ночное погружение в прошлое гораздо плодотворнее – отслеживаешь неясное и целомудренное, то, что растворяется во внешнем и живет по своим законам, предписывающим неуловимость и бегство.

Луи выслушал мои ночные открытия и отмалчивался, он словно проходил сквозь меня и возвращался, оставляя в моих закоулках и просторах свои координаты, по которым я мог настигнуть его.

Наши отношения походили на диалог воздуха с запахом, я хохотал и говорил, что мы сходим с ума в духе курения, переходя в относимое дыханием качество, которое побирается уже на свой страх и риск, и то, что она слупит с неведомого, может оказаться нам не по зубам, так же как хождение по воде или левитация внутри собственной мошонки.

Как-то, ближе к утру, когда нарождающийся месяц бледнел над горизонтом, я бесшумно перелезал через очередную стену, отыскивая приглянувшийся мне фонтан, окаймленный белой мраморной скамьей. В эту ночь я скорбел о том, что водопроводный кран и эмалированная ванна убили для нас выразительность воды.

На соседней крыше я заметил Луи – развалившись, он ласкал пальцами свое естество и разглядывал небо, изредка поворачивая голову.

Я затаился, как домушник, скрючившись на гребне стены.

В рассеянном невесомом свете месяца, при чувственной поддержке поскрипывающего безмолвия античного образца, занятие моего друга смотрелось одухотворенным педагогическим приемом – я уже предвкушал, как завтра, при случае, пройдуь насчет умения некоторых воспитывать свой член в традициях пантеизма, прививая ему утонченную восприимчивость, – в конце концов, если этой части тела станет доступно столь многое, от ночной тишины до зодиакального сплетения судеб, то вклад Луи в эволюцию будет по праву признан классическим.

Луи чертыхнулся по-французски и сел. Я тут же соскользнул со стены и, крадучись, скрылся в полуразрушенном дворе.

Днем, когда мы запивали фалернским солоноватый сыр и разглядывали прохожих, Луи сказал, что пора кончать с нашим воздержанием, но надо при этом не выпасть из помпейского стиля жизни.

Не спеша, со вкусом, мы разработали план действий, Луи сгонял в Неаполь за реквизитом, и следующим утром мы приступили к делу.

Околачиваясь у Геркуланских ворот, мы присматривали подходящих партнерш и были придиричивы, как эксперты, определяющие чистоту алмаза. Такой подход оказался непродуктивным – большинство дам нужного возраста были экипированы по-туристски, небрежно и на скорую руку, а

те, кто следовал журналам мод, смотрелись на общем фоне идиотками.

К двенадцати часам мы утомились и решили оценивать только фактуру, а не способность женщины соответствовать окружающей среде, тем более что туристский поток начал редеть, желающих шляться по развалинам было не так уж много.

Юпитер, сам знаток и поклонник женских прелестей, одобрил наше решение – среди французов, вылезавших из автобуса, рельефно просматривались две птички лет по восемнадцать, которые с неподдельным интересом водили глазами.

Брюнетка с точеным матовым лицом была в масть Луи, а ее подруга, рыжеватая шатенка, зеленоглазая и замедленная в движениях, пробудила во мне вдохновение сатира, встретившего в своих угодьях незнакомую юную нимфу – она не знала тропинки к ручью, в котором так здорово охлаждаться после ласк.

Мы последовали за группой, пробиваясь поближе к подружкам. Очутившись рядом с ними, каждый из нас повел безмолвную атаку, стремясь, чтобы они нас запомнили. Рассмотрев длинные розоватые пальцы своей нимфы, я радостно затрепетал – у таких женщин обычно бывают розовые соски, очень чувствительные и упругие. Убедившись, что девушки заметили наше пылкое внимание и кокетливо подобрались, мы так же молча скрылись.

Через десять минут их группа в сопровождении неряшливого и экспансивного итальянца, одного из лучших гидов Помпей, подошла к стене, за которой я готовил Луи к выходу. Я выглянул – гид стоял к нам спиной и тараторил с неаполитанским темпераментом, заодно вытирая клетчатым платком жирную шею. Я дал знак Луи и продолжал наблюдать из нашего укрытия.

Луи, в полном облачении патриция, с перстнями на обеих руках, надменный, выставивший свой медальный профиль,

прошествовал на заднем плане осматриваемого объекта и исчез за углом.

Группа онемела, и у многих приоткрылись рты. Гид нервно оглянулся, ничего не понял и продолжал трещать, а мы юркнули дальше.

В следующей мизансцене я стоял в нише в позе мироновского «Дискобола», еле вмещаюсь и проклиная пластиковый фиговый листок, который пришлось прикрепить булавкой, это была мера предосторожности, чтобы нас не обвинили в оскорблении общественных нравов.

Гид, даже не посмотрев в мою сторону, начал сыпать архитектурными терминами, а туристы лениво щелкали фотоаппаратами, двое снимали кинокамерами. Я переменял позу и теперь являл собою Аполлона Бельведерского, только без кудрей до плеч и кифары, которую не удалось достать в столь короткий срок.

Некоторые из туристов уловили мой маневр и стали перешептываться, сдержанно хихикая. Гид спросил, в чем дело, и ему указали на меня.

Глядя на его потное недоуменное лицо, я вынужден был прикусить внутреннюю часть губы, чтобы не согнуться от смеха. Дабы отвлечься, я нашел глазами свою пассию – она изучала меня с большим вниманием, и я не мог бы ручаться, что ее румянец вызван лишь итальянским полднем.

Гид подошел ко мне и указательным пальцем потрогал мою ногу. Потом поднял ко мне свою лысеющую голову и плутовски подмигнул.

Через несколько секунд я с изумлением услышал, что перед туристами находится раскрашенный гипс, современная копия знаменитой скульптуры Леохара, только что вчера доставленная из Неаполя.

Та часть туристов, которая видела меня еще дискоболом, впала в замешательство, но гид энергично повел их к следующему объекту, повествуя, что жители города обожали вкусно поесть и изготавливали известный на всю Италию соус, в котором мурена соседствовала со скумбрией и тунцом, и все

это сдабривалось пряностями. Наши подружки замыкали группу и успели послать мне по воздушному поцелую.

Наш финальный фокус должен был состояться в амфитеатре; как только предыдущая группа размеренно удалась, мы установили в центре арены картонный цоколь, расписанный под мрамор. Луи подлез под него, и скоро, разместившись на скамье знати, я уже созерцал бюст Цезаря в лавровом венке, вынырнувший из цоколя, как пес из мусорного бака.

Я был в солнцезащитных очках и соломенной шляпе с полями, типичный турист-одиночка, который не выносит экскурсий и предпочитает лазать сам. Конечно, я портил общую экспозицию своей нелепой фигурой, Луи настаивал на пустом амфитеатре, но я жаждал увидеть происходящее во всех сочных подробностях.

Нам повезло, что французы попали к этому артистичному толстяку – заметив бюст на арене, он не сбился ни на секунду. Жестикулируя даже на таком солнцепеке, он спустился по лестнице и живописал, как гладиаторы бились со львами и медведями, какими потоками лилась кровь, и как жестоки были зрители к трусливым бойцам.

Не замедляя шага, он пошел по арене, жестом указав экскурсантам, чтобы они заняли места на скамьях, и остановился рядом с Цезарем. Последовал вдохновенный монолог об этом великом человеке. Наконец дошла очередь и до бюста – перед вами молодой Цезарь, еще не облысевший от интриг и сластолюбия, говорил гид, автору удалось передать энергию и беспринципность, отличавшие божественного Юлия в течение всей его жизни, обратите внимание, как искусно выполнены волосы, совсем как живые, передан даже солнечный блик в завитках волос.

– Это тоже раскрашенный гипс? – уточнила пожилая дама в бусах из слоновой кости.

Гид кивнул, в это время бюст разверз уста и гробовым голосом произнес:

– Ave, Caesar, morituri te salutant!

Дама в бусах взвизгнула, толстяк шлепнул Цезаря по лбу и, властно сказав: «Молчи, болван!», отправился успокаивать даму. Остальные с хохотом посыпались на арену и начали фотографировать Луи в разных ракурсах, какой-то дурень в умопомрачительной кепочке с желтым козырьком привычно попросил его улыбнуться.

Услышав, что это римские студенты–археологи на каникулах таким способом погружаются в дух эпохи, дама успокоилась и пожелала заснаться рядом с молодым Цезарем. Пока ее щелкали, я сунул гиду десять долларов и объяснил, что мы утруждались ради прекрасных женских глаз. Он снова подмигнул и ответил, что мужчины, способные в такую жару думать о женщинах, вызывают в нем восхищение.

Наши девочки держались в стороне от группы – и я усмехнулся: они ощущали себя избранницами и инстинктивно не хотели смешиваться с толпой.

Я мимоходом бросил им, что мы будем ждать их у Геркуланских ворот, и поспешил к Луи. Гид уже овладел своим стадом и увлекал его дальше, в знойное марево над античными облаками.

Через полчаса мы ввели наших дам в пустующую виллу на окраине современных Помпей. Мы облюбовали ее вчера, прикинувшись агентами богатой американской семьи, ищущей пристанище на летний сезон. Вилла не сдавалась, хозяева приезжали только на выходные и то не каждый раз, и ограда, оплетенная глицинией, не представляла препятствий для тренированных бездельников. Девочки поняли нас с полуслова и были очарованы романтичностью вторжения.

Брюнетку звали Катрин, именно ей удалось открыть первое окно, и внутри она осваивалась с той же ловкостью и предприимчивостью. Очень скоро они с Луи поднялись на второй этаж, а мы устроились на задней террасе, затененной старым каштаном.

Я не спешил – мягкий свет, трепещущий на ее обнаженной коже, отражался ко мне и ласкал нас обоих, она лежала на спине, заложив руки за голову, и тонула в моем взгляде, отдаваясь слабой полуулыбкой и истомой бедер.

Я хотел, чтобы женщина в ней настоялась, перебродила воздухом и вином моих признаний – я был нежен и бесстыден, я говорил с ней и о ней, я путешествовал по ее страстным местам и превозносил их могущество.

Мгновения растворялись и кружили нам голову. Наконец я ощутил, что женщина скользнула на свободу и занимает уже близкие подступы к моему огню, я ринулся вперед и взял приступом ее и себя...

Солнце пробилось сквозь листву и кольнуло в уголок глаза. Лаская губами ее грудь, я думал, что связь времен кощунственно прихотлива, извержение вулкана, уничтожившего город и тысячи людей, обернулось для меня утонченным наслаждением – благоухание домашней жизни помпеянцев, их интим в прозрачной тунике пронизывали сейчас мой любовный пыл, и мозаика с грациозной молодой женщиной дрожала в глубине моего желания, как песок на дне ручья.

Она застонала и произнесла мое югославское имя, к которому я сейчас не был готов.

Зеленая вспышка из-под ее ресниц метнулась веткой, пожалуй, у этой девочки сейчас не было лица – она обходилась без него, как достигшая изнеможения страсть обходится без слов и жестов, может быть, мое имя было крутом спасения, с помощью которого она всплывала и возвращалась.

Двое суток мы провели на этой гостеприимной вилле, изредка сходясь для трапез и подшучиваний.

Как тихо здесь было даже днем, гулкое пространство стало нашим наставником, подсказывающим, как сделать время пронзительнее и слаще, скатать его до изюма, ободрать до косточки, оставить на нем след своих зубов; иногда моя нимфа пробуждалась до расспросов, и я лгал ей напрапола, целуя ее пальцы и балуя ее доверчивость.

Мы проводили их до Неаполя и вернулись в Помпеи опустошенные как гладиаторы. Всю ночь мы спали как убитые, поделив на двоих спальный мешок, и встали в жуткую меланхолию.

По сути, мы оба меланхолики, но Луи – гвардеец, его меланхолия имеет воинственный устав, запрещающий отступать на неподготовленные позиции. Это я могу закатиться в самые дебри тоски и вернуться в репьях и ссадинах, так как ценю меланхолию за точность инстинкта – она выпускает свое жало и пронзает насквозь, когда так называемая действительность теряет темп и обретает напыщенность.

У Луи меланхолия, как лодка Харона, – перевозит в царство теней, где ничего не происходит и существенного нет по преимуществу, где от покоя выворачивает, потому что он неотвратим и вездесущен.

В моей меланхолии господствует солнце, ужесточающее контрасты и выжигающее истину, как пустыню, – уже ничего не скроешь, все на виду и грозит прикосновением к сердцу. Ах, как обнажена и невыносима жизнь, позволяющая созерцать себя вне истории и брудершафта.

Мы издевались друг над другом, но меланхолия разводила нас все дальше, и под конец мы канули – каждый в свое.

В этот раз я намыл несколько крупинок золота в неожиданном месте – было ближе к вечеру, уже несколько часов я брел берегом по направлению к Каstellамаре-ди-Стабия, сильно парило, явно собирался дождь, и первые же тяжелые капли вдруг смягчили мою тоску до погружения в стог, душистую полутьму травы, где двойник с ускользающим взглядом манил за собой, была в нем отвага кролика, числящего в противниках лишь клевер; сбитый щелчком с оригинала, он сражался и лукавил вместо меня, обольщая надвигающийся ливень и ту звенящую тягу к небытию, которая уравнивала пустоту кувшина и мое чрезмерно выявленное тело – оно то блаженствовало под теплым дождем, не подозревая, что я пытаюсь сплавить его как лишнее свидетельство своей причастности.

Несколько дней я бродяжил, как животное, почти без еды, используя сон не отдыхом, а штопором, остающимся в затычке события, я привил свой сон этой местности, как оспу; раскидывая себя, как пасьянс, в чередѣ дня и ночи,

я стремился не к выигрышу и совпадению, а к нечаянной комбинации, которая бы вспышкой молнии зафиксировала иную возможность, проблеск моей закадровой активности, доносящейся по гамбургскому счету...

Я вернулся в Помпеи раньше Луи. Он появился на исходе следующих суток – ироничный, заросший, с пожелтевшими белками глаз. Как всегда, я ни о чем не спрашивал, но он желчно обмолвился, что имел глупость подвергнуть капитальному сомнению свою принадлежность к человеческому роду и был наказан – тычась мордой в собственные границы, он выткал еще одну ловушку, невесомую и прочную, как предрассудок целой цивилизации.

Собрав свои шмотки, мы двинулись к Риму. Вокруг кипела курортная жизнь, и мы добросовестно следовали изгибам побережья, как бы обводя Тирренское море чертой усмешливого внимания.

После помпеянского кайфа все казалось нам мелочесуетливым и подпрыгивающим. Особенно брюзжал Луи, современность вызывала в нем изжогу.

Как-то с утра, пройдя для аппетита километров пятнадцать, мы завтракали в придорожном кафе, поглощая спагетти с томатом. Подъехал голубой «роллс-ройс», и из него вышли двое мужчин в щегольских белых костюмах. Они молча пили кофе за соседним столиком.

Луи скептически осмотрел их и сказал по-арабски:

– Священные коровы Запада. Я молюсь за их процветание и безмятежность.

Услышав чужой говор, белые костюмы мельком взглянули в нашу сторону, и тот, что постарше, с безукоризненными зубами и красно-черным галстуком, пренебрежительно бросил несколько фраз на итальянском.

Луи перевел мне, что уважаемые дельцы приняли нас за педерастов, проводящих медовый месяц в стране классического туризма, и старший полагает, что излишняя демократия приводит к импотенции и извращениям.

Встреча миров, добавил Луи и призывно повел миндалевидным оком, косясь на старшего. Тот уловил призыв Луи и передернулся. Мы расхохотались, и Луи мечтательно произнес, что хорошо бы врезать этим типам, чтобы разобраться, кто же все-таки реальнее – мы или эти манекены в белых штанах? Кровь, пущенная в рукопашной, приобретает привкус доказательства, очищает реальность, как менструальный поток, и делает тебя всамделишным до жути, Луи кроважно повел плечами.

На прощанье белые костюмы обозвали нас грязными свиньями и гордо погрузились в «роллс-ройс».

Мы потащились дальше, постепенно теряя помпеянский лоск и хлопая ушами в простоте душевной. Луи перестал брюзжать, мы смирились с банальностью среды и своих поступков и начали находить в этом известную прелесть.

Резервы банальности неисчерпаемы, философствовал Луи, когда мы пересекали очередной пляж, обходя распостертые тела, ее таинственность и загадочность способны свести с ума, посмотри на эту тетку в сомбреро и с детективом в руках, что мы можем противопоставить ее неотразимости – она неотразимее господ бога, потому что она перед нами, она здесь, она супер-здесь, ибо даже не рефлексит, она не поступится ни частицей своего присутствия и правильно сделает, потому что она совершенна от шершавой стопы до этого дурацкого сомбреро.

Обалдев от прямого солнца и визга купающихся детей, я возразил, что теперь он впадает в другую крайность, что ее совершенство откровенно и потому уязвимо, а вот ее индивидуальная тайна действительно пугает – мы застряли как идиоты в трех метрах от тетки и созерцали ее, как лотос.

Она так и не заметила нас. Перелистнула страницу, продолжая сосать конфетку, ее ноздреватый профиль с обвисшим подбородком парил под шляпой с тяжеловесностью барельефа, обгоревшие ноги и живот краснели и призывали любовь пространства, шезлонг скрипел, жизнь плодоносила обмякающей плотью.

Ушибленные непостижимостью читающей тетки, мы шли, недоуменно перебирая ногами, по раскаленному песку и молчали – зловеще, как падающая скала.

Потом я чихнул, в жару это со мной бывает, и наваждение начало рассеиваться.

Н-да, сказал Луи, теребя золотую монету на груди, так и съехать недолго, нельзя всматриваться в чужую жизнь, засасывает быстрее болота.

Вечером мы зашли в дискотеку и отплясывали несколько часов, Луи менял партнерш, а мне сразу попалось малахольное белобрысое создание с полузакатившимися глазами – было ощущение, что я прыгаю перед костром, языки которого выгибаются и завораживают. Она заплясала меня, как русалка, и когда я, пошатываясь, смылся, она метнулась к следующему.

Побережье проходило сквозь нас неторопливой процессией из кипарисов, синеющего по утрам моря, шумно-голых людей, вывертов шоссе, редких островков цикадного всплеска, мы впали в детство, в золотой век человечества, или, как выразился Луи однажды ночью, которую мы коротали на пляжных топчанах, нам удалось стать частью сезонного легкомыслия, этакой языческой статуей, подпитывающей курортно-бензиновую вакханалию.

После Лидо-ди-Рома, когда шоссе резко свернуло в глубь страны, мы попытались голоснуть, но нас долго никто не брал. Наконец выдавший виды драндулет притормозил, и крепкий старик в комбинезоне взял нас на заднее сиденье.

Через несколько километров он свернул и скоро остановился у чугунных ворот, от которых разило началом века; Луи коротко напомнил, что нам вообще-то в Рим.

Старик кивнул и сказал, что надо помочь выгрузить вещи. Он открыл ворота, и мы въехали в просторный двор с ухоженными газонами, переходящими в тенистый парк. Рассмотрев двухэтажный особняк с парадной лестницей, балконами и изящной крытой галереей слева, мы решили, что это подходящее место для отдыха.

Старик уже вынимал из багажника сумки и свертки, когда мы перетащили на кухню груды продуктов, старик сказал, что хозяйка хочет нас видеть. Переведя мне эту фразу, Луи иронически скривился.

Хозяйка приняла нас в кабинете с окном во всю стену, у противоположной стены стояли две напольные вазы с охапками роз. Синьора сидела за письменным столом и порхала пальцами по клавишам калькулятора.

Это был тип Юоны – властное лицо с крупным носом и высоким лбом, тяжелые веки, надменная складка губ, беломраморная кожа и развернутые плечи выносливой женщины, способной потягаться силой с мужиком.

– Мой садовник сказал, что вы готовы почистить бассейн за 50 долларов и полный пансион на время работы, – произнесла она грудным голосом. Луи перевел и добавил по-английски: «Нас похитили, как сабинянок».

Я ответил ему, что ради такой женщины согласен и на большее. Ей было под сорок, крепкие губы приказывали при каждом произнесенном звуке, я нутром чувствовал, что в любви это воительница, нападающая первой и с открытым забралом.

Пока Луи объяснялся с ней, я изучал ее лицо и выдержал прямой взгляд, в котором возмущение моим нахальством перемежалось легкими блесками одобрения.

Нетерпеливо постукивая пальцами по столу, она отпустила нас и бросила вдогонку по-английски:

– Можете звать меня Эмилией. Садовник разместит вас.

Старик отвел нас в глубь парка, где за огромным четырехугольным бассейном виднелся павильон, предоставленный в наше распоряжение. В центре бассейна Амур ласкал Психею, а у их ног три рыбины разевали пасть.

Бассейном не пользовались уже лет десять, кроме внешней очистки надо было прочистить, а то и заменить трубы, а также отдраить позеленевшую от времени влюбленную пару.

Выслушав старика, мы поинтересовались, почему из сонма бродячих идиотов он выбрал именно нас.

– Синьора нуждается в понимании и утешении, – с достоинством ответил он и удалился с прямой осанкой человека долга.

– Ты не ошибся, – констатировал Луи и полез в бассейн, чтобы погладить Психею по соблазнительной ягоднице, – но эта бронзовая девочка мне больше по вкусу, чем наша монументальная хозяйка.

Обед нам подали в павильон – кухарка прикатила столик на колесиках и пояснила, что по воскресеньям всегда бывает телятина с горошком, такова традиция дома. Луи удалось вытянуть из нее, что синьора работает в крупном римском банке, в прошлом году потеряла мать, а еще раньше рассталась с мужем, любителем карточных игр, через две недели приезжает ее дочь из швейцарского колледжа, в честь ее приезда будет праздник, а потому парк и бассейн приводят-ся в порядок.

В первый же вечер синьора вызвала меня.

Она только что вернулась откуда-то, я слышал, как подъезжала машина, и теперь стояла передо мной элегантной дамой – длинное облегающее платье цвета персика, вымоченного в вине, гранатовое кольцо и такого же камня серьги, оправленные в серебро. Иссиня- черные волосы собраны на затылке и оттягивают голову назад.

Она стояла ко мне боком и смотрела в распахнутое окно, где деревья втягивали сумрак, а синее небо темнело и удалялось.

Не шевельнувшись, она повелительно бросила мне несколько слов по-итальянски. Я не понял и продолжал стоять, разглядывая ее – сумерки подчеркивали значительность ее тела, смягчали пропорции, к тому же она глубоко дышала, раздувая ноздри, словно ее волновало происходящее между деревьями.

Она метнула мне гневный взгляд, потом сообразила и перешла на английский:

– Раздень меня и набери ванну!

От ее тона я взбесился и чуть было не хлопнул дверью, но вовремя вспомнил о своей претензии быть вне ситуации. Бешенство схлынуло вниз и напрягло бедра, я пообещал себе, что отыграюсь в постели.

Освободившись от одежды, она тут же выскользнула из моих рук, потянулась и начала делать гимнастические упражнения, закидывая мощную ногу почти до люстры.

Ни грамма лишнего жира, мышцы округлые, она была в превосходной форме и перемещалась по спальне с легкостью профессионала, чувствующего дистанцию между вещами. Упругости ее груди могла бы позавидовать восемнадцатилетняя, синьора выхаживала свое тело грамотно, как первоклассную лошадь.

Толчком ноги она открыла дверь в ванную и наполеоновским жестом напомнила о моей второй обязанности. Посмеиваясь, я отправился готовить омовение для банковской амазонки, оседлавшей манию величия.

Когда я вернулся, моя голая синьора разговаривала по телефону, раскинувшись в кресле. Она небрежно кокетничала, голос замирал на нижних нотах и переходил в неясный, задыхающийся смех, который возбуждал ее саму – груди стали резче, тело изогнулось, свет ночника колыхался на коже, и кресло нагнетало ее сладострастие, уплотняя и ограничивая.

Я подошел поближе – нет, она не играла со мной, она просто забыла обо мне, хотя и видела меня внешним зрением.

Я дернулся, чтобы смять ее в объятиях и швырнуть на постель, я почти ненавидел эту великолепную самку, но одноглазое лицо Саида вспыхнуло передо мной и исчезло, он вовремя напомнил о себе, и я отошел к окну – я дам ей доиграть по ее правилам, пусть выложится во всей красе, это ее поле, ее пространство, будем жить и трахаться по ее законам.

Она долго плескалась в ванной, потом появилась – стремительная и жадная, и мы клубком скатились в бездну, изощренность которой обжигала и плавила, эта чертова ведьма не знала ни стыда, ни страха, ее стихия поглощала все

сплошняком, я утерял ощущение, что имею дело с женщиной, и исчез в бесстыдстве, которое было естественнее воздуха и ночи...

В четвертом часу утра она выставила меня.

Я не стал одеваться и, сунув одежду под мышку, поплелся через парк.

Слабое эхо моих шагов затихало у самой земли, тишина обложила меня, как волка, я был пуст, но пустота была предприимчивой и шарилась по кустам, ломилась вверх, я поражался ее прыти и засыпал на ходу.

Уже брякнувшись на свой диван, я услышал, как дверь павильона вновь открылась, и краем слипшегося глаза зацепил женскую фигуру, будившую Луи.

Через пять часов меня самого разбудил садовник, укоризненно сопевший под нос. Перекусив яйцами вкрутую и остывшим кофе, я вышел – Луи уже возился в бассейне, а садовник окапывал гортензии в ближней аллее.

Как дела, спросил я, спрыгивая в бассейн со штыковым совком и примеряясь, с какого угла начать. Луи зевнул и ответил, что с чувством юмора у нее туговато.

Синьора задала нам жесткий темп. Днем мы приводили в порядок бассейн, правда, никто нас не погонял, и кормили по-джентльменски, а вечером отдохнувшая после работы хозяйка вызывала кого-нибудь из нас. В течение ночи она могла чередовать нас, не считаясь с нашими эмоциями, и вообще обращалась с нами, как фокусник с платками, заставляя то исчезать, то появляться.

Мы с Луи позволили себе роскошь быть игрушкой в руках женщины и, после первоначальной заминки, наслаждались этим всюду.

Легкомыслие цвело у наших губ, и мы часто хохотали, обмениваясь ночными подробностями. Луи говорил, что снарядил эту нимфоманку в экспедицию по его сексуальным владениям, и, надо отдать ей должное, она обследовала неизвестные территории с упорством Магеллана и удачливостью Кортеса, выманивая золото из самых глухих окрестностей.

Я насобачился делать ей комплименты, когда она лежала в изнеможении, а сам я был способен шевелить только языком, я топил эту царственную стерву в сравнениях, протаскивал ее через Клеопатру, Мессалину и новоорлеанскую девственницу, превозносил любовную суровость и творческий хаос ее вульвы; поднимаясь до космических высот, я обрушил на нее эротический ужас мироздания, но с таким же успехом я мог бы изливаться перед колонной – она поощрительно шлепала меня по щеке, спрыгивала с постели, делала несколько упражнений – мы с Луи восхищались ее растяжкой, и снова возбуждала меня одним прикосновением властных пальцев.

На пятый день мы сознались друг другу, что она нас все-таки уязвляет.

Плевать мы хотели на ее высокомерие, в этом была своя изюминка, когда прижимаешь женщину к постели, ее высокомерие жжет перцем, но она держала нас на окраине, в провинции, приравнивая наше существование к суточному циклу бабочки.

Она жила как бы мимо нас, мы соскальзывали с поверхности ее жизни, как капли дождя.

– Эта чертова идиотка непроницаема, проворчал как-то Луи, полируя локоть Амура, – я понял, она варвар, обратная связь у нее на уровне рефлекса – без дальнейшей проработки, без эмоционального наполнения, ее собственная реальность превыше всего, ты заметил, даже ее смех всегда особняком, всегда сам по себе, она не делится смехом, не рассыпает его, а сама использует его весь без остатка.

Издываясь над собой, мы прозвали ее мистической розой наших ночей, и, действительно, была потусторонняя черная логика в ее безумстве, когда она, тяжело дыша и извиваясь, вызывала из тебя зверя и дразнила его до тех пор, пока опустошение не возвращало тебя в отрочество, к рассветному целомудрию.

В воскресенье она пришла взглянуть на нашу работу. С ней была дама лет шестидесяти, седая, под белым шелковым

зонтиком. Лицом она отдаленно напоминала Эмилию, но была ниже ростом, суше и изящнее.

Они негромко переговаривались и по-светски непринужденно игнорировали наше присутствие.

Солнце толкнулось мне в затылок, я сел на край бассейна и не очень любезно сказал:

– Эмилия, мы решили изваять ваш бюст из мрамора. Это будет нашим подарком вашей прелестной юной дочери.

Она мимоходом кивнула, и они проследовали к треугольной клумбе, на которой колдовал садовник, удостоившийся их сдержанных похвал.

Через два часа, когда мы, наведя в бассейне последний глянец, отдыхали в тени магнолии, незнакомый рабочий привез на тачке внушительный кусок белого мрамора, и они с садовником аккуратно сгрузили его перед павильоном.

Луи хохотал как сумасшедший и, обессилев, пробормотал, что чувство юмора у нее все-таки есть, просто высекать его надо с помощью кремня. Мы можем смяться, предложил он, изучая мое вдумчивое лицо, мы уже отработали еду и постель, но я помотал головой и сказал, что принимаю вызов.

По моей просьбе садовник раздобыл целую тележку красноватой глины и принес несколько ведер. Я замочил глину на ночь, а потом все утро месил ее. Проволочный каркас соорудил Луи, наблюдавший за мною с улыбкой мудреца, который выискивает брод через вздувшуюся речку.

Первый вариант я сделал минут за сорок – это было чудовище, давшее мне наглядный урок. Уничтожив его, я возился со вторым гораздо дольше, успокоившись и доверяя памяти пальцев, которые я отпустил на свободу.

Увидев результат, Луи загадочно хмыкнул, отстранил меня и унес изделие к стене павильона, в густую тень. Потом изготовил еще несколько каркасов, и тоже принялся за дело. К вечеру мы сделали одиннадцать штук, после критического осмотра забраковали четыре, остальные перенесли на террасу особняка и выстроили на парапете.

Все они были далеки от совершенства, но красноватая фактура придавала им убедительность – так или иначе, но Эмилия присутствовала в каждом бюсте, ее характерный костяк вылезал сквозь наше дилетантство. Луи злорадно заключил, что если карикатура может быть случайной и искренней, то мы схватили пальму первенства за самый коreshок.

Эмилия вернулась вечером. Мы ждали ее на террасе, вытаскивая из комнат несколько светильников, которые выхватывали из темноты наших глиняных идиотов.

Эмилия была весела и напевала, поднимаясь по лестнице. Увидев иллюминированное сборище своих изображений, она с сумрачной интимностью выдохнула «ха-ха», сделала реверанс и удалилась. Не разобравшись, заметила ли она нас, мы продолжали сидеть в плетеных креслах и поддавались наступающей ночи.

Бесшумно появилась Эмилия с подносом, на котором стояла початая бутылка коньяка и слабо мерцал лимон. Пододвинув кресло и одноногий столик на середину террасы, она расположилась с удобством, откинула голову и усталилась на свои бюсты.

В парке звенели цикады, на террасу наплывали смешанные запахи ирисов и жасмина. Эмилия попивала из хрустальной рюмки и закусывала ломтиком лимона, мы блаженствовали, спровоцировав эту ночную сценку, придававшую особняку пикантность псевдоинтеллектуальной пьесы.

– Клянусь богом, она размышляет, – прошептал Луи.

Мы видели профиль Эмилии, отражавший, как кривое зеркало, свои глиняные подобию, – она рассматривала их с интересом, который в какой-то момент стал отдавать жутью. Это даже не нарциссизм, прошептал задохнувшийся Луи, она кощунственно влюблена даже в карикатуру на себя, посмотри, она их усваивает, это уже ее собственность, мы умножили ее на священное число семь, она даже не ощущает смехотворности этого.

Эмилия сладострастно потянулась, и этот жест во все ее крупное тело, нанизавший ее суть на движение, остро открыл мне, что ее кайф больше нашего – мы мельтешили на подступах, а она растворилась в глубине обладания и достатка, ее благоуханный эгоизм оживил глину, удочерил ее, мы развели для Эмилии еще один источник, ей опять удалось спустить нас вперед, как охотничью свору, за трепещущей добычей. Когда она ушла к себе, потушив лампы и обрушив темноту, мы тоже убрались восвояси, гадая, какой же вариант она выбрала для перенесения в мрамор, и заранее сокрушались, как мы изуродуем этот белый, искрящийся на солнце камень

Утром бюстов у террасы не оказалось, а у лестницы стоял красный «фerrари» Эмилии, и садовник, укладывающий чемоданы в багажник, оповестил нас, что синьора вместе с нами отбывает на несколько дней к морю.

Я проворчал, что наше приключение с этой дамой слишком затянулось, но искушение еще раз окунуться в море перевесило. Луи предположил, что она хочет загладить унижение бюстов разгульным пикником.

Через полчаса бешеной езды – Эмилия гнала как на пожар, мы подъехали к ее хижине, как она называла крохотную виллу, изящную, как ракушка, в две комнаты и кухню. До моря было всего метров семьдесят, из них тридцать метров приходилось на песок, остальной путь проходил в зарослях орешника и ежевики, которые Эмилия культивировала на своем участке как дикую природу.

Здесь она совсем нас забросила. Плавала она часами, иногда мы даже теряли ее темную голову из виду, по возвращении ела и спала.

Мы посмеивались и тоже много спали. Я облюбовал тихий уголок в зарослях, натаскал тряпья и валялся там в жару, путая явь с горячими, ускользающими снами и стряхивая с лица муравьев. В послеполуденные часы мне казалось, что проспав вот так всю жизнь – это сладостный удел, что лень уплотняет и насыщает соками действительность, придавая

каждой мелочи, каждому муравью весомость архаики, когда дух дерева имел свой голос и настроение, а тень отбрасывала свою цивилизацию и покровительствовала влюбленным и жажде растений, когда человеческое было еще на равных с улиткой и не торопилось, а проживало себя со вкусом, со знойной медлительностью.

Я и в море залезал сонный и важный, как голый царь одиночества. Обнаружив себя в воде, я изумлялся ее прохладе и ласке, лень переходила в морскую стадию, позволяющую нежиться в воде с естественностью бревна.

Как-то вечером, подплыв к берегу, я наткнулся на Эмилию, которая лежала на гальке по пояс в воде и, по видимости, дремала с полузакрытыми глазами.

Я впервые обнаружил, что лицо может быть прекрасно пустым – оно было свободно от мимики и открывало вход, а может быть, и выход, кто мог бы судить, вышла Эмилия к окружающему или впустила его, но дышала она так незаметно, словно ее нужда в кислороде была несущественной или она усваивала его как водоросли.

Все эти дни мы жили, как братья с сестрой, каждый по-своему, наши тропы почти не пересекались, да и в редких местах пересечения было столько простора и жемчужной подсветки горизонта, что присутствие других лишь намечалось.

Луи, пропадавший где-то по соседству, может быть, даже в двух метрах от меня, однажды сунул нос в мой полдень и прошелестел, что в сонном царстве Эмилии есть закономерности, которые он нащупывает архаическим способом, запуская случайность, как бумеранг, приносящий на своей поверхности след встречи.

Когда мы вернулись в особняк Эмилии, на террасе стояли ее бюсты – усохшие, обожженные, готовые гончарные изделия, которые обрели даже некий лоск законченности, их красноватая шеренга мягко настаивалась в закатном воздухе. В эту же ночь Эмилия позвала нас обоих, поощряла на самые рискованные забавы, а утром выставила нас почти вручную, лаконично обронив, что наша миссия закончена.

Садовник на своей колыхаге отвез нас в Рим и подарил на прощанье полицейский свисток. Мы решили, что это знак внимания за наше рыцарское служение его хозяйке.

В Риме Луи сплел для меня из городского зноя и древностей обольстительную сеть.

Остановились мы у его давней пассии, бельгийской журналистки, которая непрерывно курила, пила в большом количестве кислое молоко и не всегда могла вспомнить сходу, кто мы такие, но, вспомнив, баловала яичницей и сногшибательными светскими сплетнями.

Войдя в Рим через меня, сказал Луи, ты все равно схлопочешь свой город, но попробуй сначала выглянуть из моих зрачков, вдруг ты зацепишь что-то путное, у меня подозрение, что я здесь не то чтобы свой, я имею в виду античный слой, но и не чужак, скорее примелькавшийся вольнослушатель, при котором уже спокойно обделывают свои темные делишки.

Лето набрало силу и звенело от тротуара до зенита, в ушах у меня стоял слабый шум с привкусом пыли.

Мы таскались по разгоряченному, переполненному автомобилями городу, из которого Луи извлекал императорский Рим, связывая в живой организм сохранившиеся постройки и развалины и заселяя его людьми и богами, которых было почти столько же, сколько и людей, ибо два с лишним тысячелетия назад римляне плодили богов с регулярностью отходов, оделяя ими чуть ли не каждую хозяйственную мелочь и приглашая их вмешиваться в личную жизнь.

У одной из гробниц мы совершили возлияние в честь немой богини Такиты, воплощающей тишину, которая обволакивает мертвые души. Римляне не могли заткнуть рот своим женам, сказал Луи, бросив пустую бутылку в урну, и отыгрались на богине, боги часто служили им козлом отпущения, римляне всегда умели устраиваться за чужой счет, это и придавало их величию фамиллярность, которая неудержимо влекла другие народы.

Под Триумфальной аркой Тита мы погрузились в страсть римлян к зрелищам – все эти кровавые игры, триумфы, препирательства в сенате, вся эта публичность – греки изобрели толпу, а римляне довели ее до абсурда; мы ковырялись в инстинктах римлян как правоверные фрейдисты, и, спроецировав их на себя, поимели удовольствие убедиться, что яблоко от яблони падает недалеко и преимущественно не на умную голову.

Развеселившись, я предложил сходить в кино.

В кинотеатре было душно, как в термах Каракаллы в период их расцвета. Мы стоически выдержали американский боевик, а затем итальянскую комедию, в которой от древнего Рима остались лишь преувеличенность жеста и привычка ораторствовать так, чтобы было слышно в задних рядах.

Кино настроило нас на метафизический лад.

Меланхолично поедая мороженое, Луи заявил, что его потребность отрешиться от земного так велика, что нужно удовлетворить ее немедленно, иначе он за себя не ручается.

Сдерживая мефистофельский смех, я увлек его к Тибру, и мы устали на воду.

Через пять минут Луи сообщил, что ему полегчало.

Мы дурачились, сдерживая натиск – то, что я искал под Луксором, нарастало здесь, после Эмилии мы чувствовали друг друга кожей, как выразился Луи, мы заглянули друг в друга сквозь ее интимное место и обнаружили поворот, за который удастся бросить взгляд в чуткие мгновения жизни, сейчас мы скользнули туда, отказавшись от защиты своего, как промокашки, готовые впитать ужас – кровосмесительная связь с прошлым настигла нас и швырнула в родовое, где человеческое стиралось временем и утонуло в пространстве, где смерть не только входила в программу жизни, но и шарилась под мышками и в паху, где народы растворялись в семье и увлакивали на дно первенца, где от бога пряталось в целомудрии и разврате, а от человека спрятаться было негде, я потерял Луи, а сам для себя стал условностью, бледневшей наверху, как звезда, ее трепещущее отражение

в глубине вод и времен дробилось и исчезало в тошноту и головокружение...

Обливаясь потом, мы добрались до своего убежища, где в клубах дыма стрекотала на машинке бельгийка.

– Вы что, встретили привидение? – спросила она между двумя затяжками.

– Нет, трехногую проститутку, – мрачно ответил Луи и полез в душ.

Я вышел на тесный балкончик, под которым слоились черепичные крыши, и прополоскал взгляд окрестностями Рима.

Видимо, у Луи тоже не все получилось. Я никогда не спрашивал напрямую, что пытается отловить он, хотя мгновениями мы так совпадали, словно охотились за одним и тем же. Я чувствовал, что он тоже ценит эти зарницы близости, но мы оба старались не обольщаться – дружеское не перевешивало единицу, которая жестко выдалбливала неповторимость трещины.

В этот раз я соскользнул глубже, кое-чему я все-таки научился, но сейчас, топчась на балконе, разгоряченный, в прилипшей к спине майке, я ухватил в себе такое упоение белесым от зноя небом, застиг свое тело в таком развороте к прелести мира, что ощутил, вот оно, и засмеялся, или жизнь засмеялась мною, потому что ее избыток, как парашют, волючил меня, не давая оборваться, на ту сторону луны.

Восхитительным препятствием ощутил я свою молодость, впервые обнял ее целиком, как материк, где познал могущество своего тела и неуловимость собственного духа, и загрустил от счастья быть молодым – может быть, я секундно ослеп от блеска своей молодости и ее безграничья, и позвоночный опыт роста ввернул, как лампочку, другое зрение, выхватившее беспощадное солнце и босой след на песке...

Утром Луи принес из комнаты бельгийки роскошный светло-бежевый костюм из тонкого полотна и узкий черный галстук. Красуясь перед потускневшим зеркалом, он уже

завязывал галстук под безукоризненно выбритым подбородком, когда я спросил, не собирается ли он вернуться к Эмили, чтобы ошеломить ее апломбом светского льва. Луи качнул головой:

– Мне придется полдня побыть священной коровой. Фирма моего отца облекла меня ответственным поручением. Если я блестяще справлюсь с делом, а я собираюсь, то на коммиссионные мы повеселимся у старика Луиджи.

Накануне он коротко подстригся и теперь выглядел элегантно-спортивным красавцем из журнала мод. Глаза его холодно и любезно блестели, загар подчеркивал мягкие тона костюма. Я показал ему большой палец.

– Побереги его для стоящего дела, – посоветовал Луи и ушел.

Я сварил кофе для бельгийки и подал ей в постель.

На подушке она смотрелась женственнее, чем обычно. Мою лесть насчет ее свежего вида и утреннего очарования она отмела как вздор, но отметила, что для начала это плохо.

Через полчаса приятельской пикировки я обогатился сведениями о ее первой встрече с Луи, о ее пристрастии к узким бедрам и мускулистому торсу, в мужчине должна быть изюминка, говорила она мечтательно, у Луи капризный затылок юного колесничия, и это сводит ее с ума, он само непостоянство и дерзость, таким и должен быть настоящий любовник; между делом всплыло, что у его отца крупная фармацевтическая фирма в Марселе, а Луи заведует филиалом в Люксембурге, у него классные мозги афериста или социального реформатора, хихикнула она с неподдельным весельем, чтобы иметь возможность флиртить в летние месяцы, он учредил в филиале систему поочередной ответственности и назначил трех заместителей, которые так и называются господа Июнь, Июль и Август, и уверил отца, что его длительное летнее отсутствие необходимо для поддержания его делового тонуса у его замов, из которых он выбирает победителя по итогам работы и назначает его основным заместителем на

девять месяцев до следующего лета, как ни странно, система хорошо работает, и отец Луи даже подумывает внедрить ее в других филиалах.

– Такие бездельники, как вы, нежно говорила бельгийка, аккуратно сбивая пепел в пустую кофейную чашку, – взбадривают наше пресное женское существование, Луи тащит в постель все подряд, от опасности до родинки мельком увиденной женщины, я занимаюсь любовью не только с ним, но и со всем его ощущенческим бараклом, в котором полно сюрпризов и дружеских подлянок, когда он вдруг оставляет меня за бортом, а я снова прыгаю ему на спину.

Узнав, что я фотограф, бельгийка приподнялась на локте.

– Милый мой, – воскликнула она, – что же ты молчал! Теперь я урву с тебя хоть шерсти клок.

И она запрягла меня на целый день вместо своего напарника, медлительного фламандца, свалившегося с приступом печени. Мы посетили пресс-конференцию политического деятеля, открытие художественной выставки и рекламное шоу, на закуску же нырнули в погребок, где собирались леваки; несмотря на летние отпуска, жизнь в Риме пузырилась и отливала цветами поздней радуги.

Вечером, когда я выполз из ее ванной с готовыми снимками, она долго рассматривала их и наконец сказала:

– С технической стороны все о'кей, четко, композиционно грамотно, лица живые, но к этому надо писать не репортаж, а трактат об отстранении. Из политика ты сделал почти буддиста, а рекламных герлз обработал в духе католической мессы – это святые, принесенные в жертву суетной толпе.

Луи, недавно вернувшийся из ватиканской библиотеки, куда у него был временный пропуск, расхохотался и сказал, что готов поклясться, что этот невинный югослав не видел ни одной католической мессы.

– Тем хуже для него, – отозвалась бельгийка, и повернулась ко мне облачком сигаретного дыма, отдалявшим ее

лицо, – профессионала из тебя не выйдет, ты слишком за-
циклен на своих проблемах.

Я вздохнул и вынес вторую пачку фотографий, где было
все как надо.

Она обозвала меня сукиным сыном, а Луи пригласил нас
на скромный ночной ужин. Мы медленно плыли по Тибру
на пароходике, обмывая шампанским деловой успех Луи,
душную звездную ночь и игривое настроение нашей дамы,
которая заставляла нас танцевать втроем, что было не очень
удобно на тесной палубе, где прижимались друг к другу пары
и путалась под ногами такса богатой пожилой американки,
которая одиноко сидела за столиком и рассматривала освещенный Рим в маленький белый бинокль.

Следующие два дня мы добирались попутками до Боло-
ньи. Сразу за Флоренцией нас застигла гроза, и сжалившийся
над нами вертлявый молодой итальянец ехал осторожно,
поминая при каждом ударе грома Мадонну, что не мешало
ему подпевать Челентано, голос которого ритмично подпи-
рал крышу автомобиля.

Сплошным потоком заливало переднее стекло, и даже
сквозь плотно закрытые окна так пахло дождем, пылью, ли-
стьями, что я забыл, где нахожусь – грозы моего детства во-
рвались и вернули подошвам восторг тепло-холодных луж, а
плечам тяжесть ливня и прилипшей рубашки.

Зато в Болонье был ясный вечер, и старик Луиджи, не
ждавший нас так рано – мы прибыли на несколько дней
раньше других, оказался дома и встретил нас свежим паш-
тетом из гусиной печени.

Когда Луи поведал о намерении подшутить над всей
компанией и вынул деньги, старик надул кирпичные щеки,
а потом щелкнул языком, как контрабандист времен гра-
фа Монте-Кристо. Этих высокомерных зазнаек давно пора
проучить, сказал он сухим басом, особенно этого фигляра
Диаса, который возомнил о себе бог невесть что.

Двухэтажный дом Луиджи, добротный, но без удобств,
стоял на склоне небольшого холма и упирался в одичавшую

часть парка, откупленную им у разорившихся соседей. Парк полого поднимался вверх полуобвалившимися террасами, несколько нижних старик разравнил под лужайку, по краям которой выращивал фасоль и перец.

Для сценических эффектов площадка была непригодна, и нам пришлось долго мудрить. Среди актеров местного театра Луи нашел желающих подзаработать на стороне и натаскивал их лично, предупредив, чтобы они помалкивали, так как примут участие в церемониале приезжей мазонской ложи.

Наконец начали съезжаться наши – первым появился Патрик на мотороллере небесного цвета, тряхнул рыжими патлами и заявил, что этот вторник напоминает ему Горация, воспевавшего сельскую идиллию, нечто пастушеское носится в воздухе, и хочется голыми ногами давить виноград, прыгать козлом, заваливать в кустах женщин, а потом мудрствовать лукаво у очага, утонченно снимая стружку с полнокровного быта.

– Первая рыжая стружка – это ты? – спросил Луи, закрывавший ворота.

– Я – павлинье перо, которым римские аристократы вызывали у себя рвоту после обжорства, – грозно ответил Патрик. – И если ты не хочешь, чтобы я увидел твои внутренности...

– Я пас, – буднично сказал Луи и смылся в дом.

Я помогал Луиджи размещать прибывающих и обнаружил несколько незнакомых лиц, в доме стоял возбужденный гвалт, словно собрались подростки, а не зрелые мужи, которым положено чеканить поступки в полуденной бронзе.

Семен прибыл с узколицым перуанцем, который, как шепнул мне Семен, появляется на общих сборищах крайне редко и вообще не любит путешествовать, в отличие от остальных. Семен долго разглядывал меня. Луи пошел тебе на пользу, с удовлетворением сказал он, это у тебя ценное качество, ты хорошо усваиваешь других, ты не защищаешься, а впитываешь удар, который наносит чужое присутствие, я

еще в прошлом году заметил, с тобой было комфортно – не было ответного толчка, за исключением тех случаев, когда я нарочно давил.

Я был рад Семену и не скрывал этого. Мы вместе прошли по дому, и он познакомил меня с теми, кто не был под Тарсусом.

Саид не приехал, теперь мне казалось, что я знал об этом заранее, я слишком быстро подошел к нему, и теперь он испытывал меня, мою тягу к его глубине, а может быть, я все это придумал. И он просто не смог или не захотел, это было в порядке вещей для всей компании, считалось, что отмечаться каждый год – это дурной тон, излишняя демонстрация приобщенности.

К вечеру мы с Луиджи раскинули брезент на площадке перед террасами и сервировали ужин из овощей и острой мясной похлебки, к приготовлению которой старик никого не подпустил.

Трапеза была в разгаре, над головами висела лампочка, проведенная из дома, а за спинами уютно сгущалась тьма, когда из парка донесся крик выпы.

– Боже, как хорошо, – выговорил лупоглазый Карл из Мюнхена, сидевший рядом со мной, и от наслаждения передрнул плечами, – от такого вопля шерсть встает дыбом и кровь предков ухает в ответ.

В парке разгорался свет – между деревьями на помосте сидела фигура под пурпурным покрывалом.

Раздались выжидательные смешки, а Луиджи благодушно проворчал, что Диасу не терпится, скоро он начнет гипнотизировать овощи в наших желудках. Диас не ответил и цепко оглядел лица присутствующих.

Под протяжный мотив, напоминающий колыбельную, покрывало скользило вверх, открывая обнаженное тело, и застыло на уровне шеи. Перед нами, скрестив ноги и положив руки на бедра, сидел мужчина с женской грудью. На статном торсе с развитыми мышцами колыхались от дыха-

ния упругие холмы, и ложбинка между ними дразнила трепетной тенью.

– Какой великолепный экземпляр гермафродита! – восхищенно сказал Уилямс и оттопырил нижнюю губу. – Но на таких плечах должна быть голова Гермеса, и тогда эта восхитительная грудь окажется не у дел.

Покрывало дернулось вверх, и открылась тощая голова Диаса, подслеповато косящая в темноту. Потом она увидела нас, разразилась хищным свистящим смехом и проклекотала, что не привыкла к такому обществу.

Многие уже поняли, что сам Диас тут ни при чем, и, пересмеиваясь, пытались угадать, кто же перехватил инициативу. Луи посмеивался вместе со всеми.

Диас добродушно скалил зубы. Я с удивлением заметил, что он отдыхает – тело расслаблено, веки приспущены.

На помосте сзади гермафродита появился юноша в трико телесного цвета. Ласкающим движением он погладил голову сидящего, замер и вдруг двумя руками начал раскапывать ямку в темени. Потом запустил туда пальцы и вытащил зубную щетку.

Находка изумила его. Он недоверчиво и даже с опаской исследовал эту штуку. Опять запустил пальцы и извлек бумажник, за ним последовали спичечный коробок и огурец.

Все это время голова Диаса скептически смотрела на нас, мы явно не вдохновляли ее. Дважды она зевнула.

Юноша крикнул в темноту, и выбежала девушка, тоже в телесном трико, с ярко накрашенными губами. Вытащив из темени черный кружевной бюстгалтер, она завизжала от восторга. Быстро прикинула его на себя и жадно нырнула рукой туда же, но тут же отдернула ее.

Столкнувшись висками, оба они заглянули в теменное отверстие и в ужасе отпрянули. Из головы Диаса показались слабые языки пламени, и ощутимо запахло серой. Свет в парке погас, еще несколько мгновений теплился огонек, и свистящий смех Диаса выплеснулся из темноты навстречу нашему веселью.

Старик Луиджи предложил выпить за темноту, которая скрывает и обнажает, а перуанец с горловым акцентом добавил, что однажды он пережил красную ночь, темнота которой обугливала, с тех пор еженощная тьма кажется ему уловкой, пощадой, а может быть, равнодушием, и он пьет вместе с Луиджи, но за равнодушие темноты, оставляющей тебя в неизвестности.

От мясной похлебки жгло в гортани и в желудке. Уильямс пожаловался на неутолимую жажду и укорил Луиджи в злоупотреблении перцем, но остальные нахваливали, хотя и дышали как рыбы на песке в попытке охладить рот.

Снова зажегся свет в парке – на помосте стоял мужик лет 60-ти, в черном трико. Когда он начал двигаться, скупое, дробно, отделяя позы, я понял, почему Луи так уцепился за него. Это был мастер, уставший, может быть, даже вышедший в тираж, но сейчас это было кстати – усталость комментировала каждый жест, она была зрителем и судьей, опережала нас в оценке, она уже знала, когда мы еще только догадывались.

Седой, с кривоватыми ногами, мим пародировал нашу погоню за собой, он холил и множил свою сущность, спотыкался об нее, путал ее с мебелью и погодой, пытался сбавить ее первому встречному. Он неотступно наблюдал за собой и вдруг забыл, кто он, тогда предметы вдруг стали неприступны, и он метался между ними ртутным шариком.

Это была пантомима с боковым зеркальцем, в котором навязчиво маячило прошлое – молодость мима, его гордость и успех у женщин, аплодисменты толпы, сам он, гибкий и высокомерный, с переменчивым звонким лицом.

Он высмеивал не только нас, но и себя. Он был жесток и ставил все точки над «i» – суета сует заполнила подмостки и парк, пенилась в нас и несла инфекцию дальше.

Он исчез на середине жеста, и эта незаконченность ударила по нервам.

– Неплохо, сказал Луи и подцепил вилкой фаршированный помидор, – но слишком много пафоса, в конце концов,

экклезиастический угар столь же случаен и плодотворен, как и все остальное, очередная точка отсчета, только и всего.

Патрик фыркнул и проворковал, что пристрастие Луи к театральным эффектам роднит его с фонтаном Треви, в который туристы бросают деньги, чтобы еще раз приехать в Рим, так Луи захламляет себя внешними трюками, чтобы дать реальности шанс еще раз прильнуть к нему, авось случиться что-нибудь путное.

Они сцепились в ленивой перебранке хорошо отужинавших людей; превосходное вино, которое присылали Луиджи родственники из Тосканы, кружило головы; Кортни, до сих пор помалкивавший с аристократической сдержанностью, принес из дома флейту и приложил к губам, я не подозревал, что в современном англичанине могут таиться такие запасы скорби, Кортни околдовал воздух и воду, я, во всяком случае ощущал, что воды моего организма вибрируют в унисон, Кортни сделал из меня пещеру, акустика которой сманивала звуки, возможно, я обездолил остальных, и флейта работала только на меня, я оплакал судьбу мира и эфемерность человека, я пошел дальше флейты и обнаружил оливковую рощу по ту сторону добра и зла, я рухнул в изнеможении на опушке и отрекся от себя в пользу скорби – теперь она была уязвима и беззащитна, ее брменная сущность носилась над полями и холмами, сдирая с них поднимающееся из корней бесстрашие и выворачивая его многобредущей толпой плакальщиц...

Ночью каменный дом Луиджи скрипел, как парусник восемнадцатого столетия. Шорохи ползли из каждого угла. Несколько раз я просыпался и, вспоминая, что я в Болонье, среди своих, сожалел, что не могу вскрыть их сны, как консервные банки, по ночам мы еще герметичнее, чем обычно, даже глаза закрыты, я представил себе облегчение природы, по которой не шныряют наши глазелки, и хохотнул в подушку.

Утром неутомонный Патрик разбудил нас индейским кличем.

Сразу после завтрака солировал румын Штефан, низкорослый и горбоносый, с неожиданно крупными кистями рук, которые он держал чуть приподнятыми.

Он пояснил, что его вдохновил прошлогодний трюк Саида. Как палеонтолог по одной кости может восстановить облик животного, сказал он, картавя и немного волнуясь, так я предлагаю вам возможность по выражению моего лица отгадать эпоху.

Усевшись напротив нас, спиной к парку, он сосредоточился и отпустил лицо – сначала оно как бы колыхалось, потом начало стареть, и проступила тяжелая улыбка. Она выперла, как глыба. На лбу Штефана появились капли пота, чувствовалось, что он пытается совладеть с этой глыбой, проработать ее.

Из зрачков вниз сползла суровость и откладывалась в околорубных морщинах. Но сами губы шаловливо дрогнули, усмехнулись, захватывая пространство вокруг. Горечь и нежность чередовались, сливаясь в гримасу, которая овладела лицом и трясла его лихорадкой.

Рука Штефана прошла по лицу, стирая пот.

Нам улыбался почти старик, объединенный жизнью, как гусеницей, ничего лишнего, на посох опиралась мудрость, готовая покарать и приласкать, свежая грозная мудрость, свисающая гроздьями и громыхающая в отдалении.

Штефана хватило секунд на пятнадцать, он обмяк и помахал нам, что очередь за нами.

Патрик упал на бок в приступе смеха и с трудом выдавил:

– Черт меня подери, если это не авраамическая улыбка!

Штефан разочарованно кивнул.

– Чем грандиознее уши, тем легче их опознать, – сказал Патрик, успокоившись, – напрасно ты полез в библейское, надо было взять что-то попроще, тогда бы ты нас поймел, например, выражение, с которым Калигула совокуплялся со статуей, это чисто императорская добродетель, или оторопь, с которой парижане пилились на первых импрессионистов.

Уильямс молча потребовал внимания, сел рядом со Штефаном и, детски округляя глаза, изобразил задумчивость, в которой маслянистым пятном плавало нечто неопределенное.

Догадки посыпались градом – валаамская ослица любит закатом; Ле Корбюзье обдумывает проект портативной церкви, которая умещается в автомобильный прицеп; самурай, совершивший образцовый харакири, вдруг замечает, что расцвела слива; гарлемская проститутка определяет состоятельность приближающегося клиента; Черчилль настраивается на встречу с Иосифом Сталиным; немец смотрит классический балет, вспоминая о кружке пива...

Луи насмешливо сказал, что Уильямс, видимо, недостаточно проникся духом эпохи, раз идет такой разброс мнений, и посоветовал не томить нас дальше.

Уильямс сморгнул и тихо признался, что наша нечуткость обескуражила его, только профаны и варвары могли не узнать Джоконду, которая с возрожденческой предприимчивостью использовала Леонардо, дабы втереться в вечность по-свойски, с домашним тактом, не выставляясь, но и не подпуская.

Издевка Уильямса подстегнула нас, и началась вакханалия – мы рыскали по эпохам, вылавливая типичное и калькулируя индивидуальное, чтобы вытащить их на поверхность наших физиономий.

Как автор нового развлечения Штефан слегка рисовался и подкинул еще пару домашних заготовок, одна из них вошла потом в наш лицевой обиход – обалдевший взгляд Ахиллеса, который не мог перегнать черепаху.

Но всех нас заткнул за пояс лупоглазый Карл, он пошел еще дальше и проиллюстрировал своей плоской рожей знаменитую триаду Горгия, правда, Эрик, прибывший с опозданием и с ходу включившийся в игру, тут же уличил его – последняя часть триады постулировала невысказуемость, на этой стадии Карл был слишком натуралистичен.

Потом за дело взялся Диас и заставил нас вожделеть к нищенке с провалившимся носом. Загнав нас в арабское средневековье, он наложил на ужас пыльной городской нищеты чувственность оголодавших в тюрьме колодников.

Я содрогался отвращением к дряблой плоти, прикрытой лохмотьями, но хотел эту женщину с ужимками шлюхи, она гнусаво хихикала и поводила плечами, выставляя грязную ногу, стеклянные бусы болтались у нее на шее, и пахла она прогорклым салом с примесью дешевых благовоний.

Она притулилась на земле у базарной стены, два медяка тускло блестели на глиняном черепке, рев верблюдов и ослов оглушал нас, оборванных и обритых, только что выпущенных из полутемных клеток, мы похотливо окружили ее и льстиво уговаривали полакомиться вместе с нами сладкой исфаханской дыней, но не здесь, на трехклятом солнцепеке, а в развалинах караван-сарая.

Она пошла с нами, и мы по очереди елозили по этому желтому сморщенному телу и не могли насытиться.

Я тонул в вожделении, пытаюсь нащупать мель, дно, но увязал все глубже. Меня уже вывернуло от истощения, а я все рвался к нищенке, отпихивая других.

Мы сквернословили и дрались, я ненавидел этих немых скотов и норовил ударить ногой в срамное место, когда меня оттаскивали от женщины.

Не я первый заметил, что она мертва. Муха сидела в углу ее отвалившегося рта, и перламутровой синевой обнажились виски.

Я застрял в мучительном столбняке ужаса и отвращения – Диас выжал из этого мгновения все, что мог, растянув его до бесконечности; я не мог продохнуть и знал, что это навсегда, звенело в ушах, и скорпион, гревшийся на стене в полуметре от меня, был моим последним пейзажем.

Когда Диас отпустил нас, я вяло осмотрелся – все отряхивались, как псы, некоторые зевали, Семен кисло жевал губами, а Луи массировал себе шею и поглядывал на Диаса, который невозможно чистил ногти.

Патрик проворчал, что когда-нибудь Диас заставит нас четвертовать друг друга, чтобы от обратного воспеть мужскую дружбу. И мы разбрелись по верхним террасам, ища тень и хотя бы подобие прохлады.

Через полчаса, прислушиваясь в полудреме к доносившемуся со всех сторон смеху, я как бы соскользнул в каскадный журчащий фонтан, вроде петергофского, меня омывало и покачивало, смех пенился на перекатах как вода, и его целебная свежесть пропитывала мозг и ласкала кожу мельчайшими прикосновениями, мне чудился влажный запах камней и моха, и диасовское наваждение наконец уплыло вслед за очередным взрывом хохота.

Потом наступило затишье и длилось так долго, что вынудило меня открыть глаза и присоединиться к остальным, которые сгрудились вокруг перуанца и Эрика.

Они сидели лицом друг к другу, молча, расслабленно. Я спросил шепотом у Луи, в чем соль этого аттракциона. Перуанец предложил Эрику потягаться самостью, еле слышно ответил Луи, теперь они пыжаты, а мы должны решить, кто из них более значим, на самом деле это один из сложнейших трюков, перуанец спец по таким делам, он живет в предгорьях Коропуны, один, в деревню спускается только за самым необходимым, по отцу он индеец кечуа и унаследовал кое-что из их магических штучек, насколько я понимаю, он ходит по себе кругами, скорее всего, спиралью, и наращивает присутствие еще и за счет эмоциональной связи с предками, чего никогда не делает европеец.

Выглядело это слегка комично – рослый красавец Эрик с отшлифованной внешностью, в которой живость лица преобладала над выразительностью тела, и коренастый перуанец, этакий слиток, даже в коже монументальность лепки, отблеска, внешность здесь была защитой, барьером, может быть, отвлекающим маневром.

Я взвесил обоих в собственном ощущении – Эрик считывался комфортно, я вообще тяготел к нему издали, в беложемчужной сумрачности его переходов мой болтающийся

северный конец нащупывал возможность паса и рокировки, и сейчас его жизнь объемно просвечивала и раздвигалась, мерцая глубиной и путешествиями, в которых человеческое следовало повадкам ветра и освещения, пронося свою цивилизацию на вздохе, целомудренным грабителем, втягивающим несущественное, чтобы подкрасться к бытию с неожиданной стороны, минуя ловушки судьбы и общественного договора, вдруг неуловимое обернется, раздвинет или вырвет твоё сердце, но даст о себе знать – только очная ставка засчитывается всерьез.

Перуанец был для меня темной лошадкой. Я только один раз слышал его голос – резкий, гортанный, и еще не освоил его манеру держаться особняком.

Он сидел как бы против течения, хотя тело было сложено мягко. Как насосом, он нагнетал вокруг себя тишину, и от ее плотности закладывало уши.

Машинально я нащупал на земле камешек и бросил его в перуанца.

Я растерялся еще до того, как камешек ткнулся ему в левое предплечье. Уильямс с веселым недоумением поймал мой беспомощный взгляд и покивал, что, мол, со всеми бывает, остальные сдержанно ухмылялись.

Перуанец, видимо, не почувствовал или пренебрег.

В его тишине проступало одиночество хищника. Гибкое плотоядное одиночество, диктующее лесу страх.

Тяжелый бег сквозь заросли. Схватка и дымящаяся морда ягуара с остекленевшими глазами человека, отведавшего крови.

Тишина хрустнула как кость. Я мог бы поклясться, что кровь перуанца начала танец, первобытный танец соли внутри человека, оглушающий и завораживающий замкнутостью.

Меня как зрителя еле ощутимо сносило в сторону.

Перуанец вдруг выцвел и затаился, уступив место кровообращению, которое уподобилось солнечному циклу и

работало на свою подземную мощь, вынося на свет родство со всем текучим, движущимся, жадно вбирающим, кровь праздновала бессмертие и удар клыка, отворяющего свободу – за пределами плоти кровь искала свой дух и образ.

Я похолодел – кровь тоже жаждет индивидуальности и выбора, перуанец сошел с ума, он спустился в кровь, как Орфей в царство мертвых, но не за любимой женщиной, а в попытке озвучить, дать право голоса своей органике, личностное врезывалось вглубь, цивилизация пускала корни на уровне гемоглобина, и здесь дерзость поиска будоражила окрестности.

Я вернулся к Эрику и позволил себе понежиться в его воздушной перспективе, размывающей тебя с акварельной снововкой, воздух Эрика разносил человеческую пыльцу и аромат по крышам и водосточным трубам, добавлял в бензин и картофельное пюре, присыпал страницы книг, могильные плиты, смешивал с историей, страстью, преступлением и проигрышной комбинацией в покере, этот воздух транжирил человеческое с щедростью мота и гуляки.

В этот раз мы так и не смогли отдать предпочтение кому-либо; Патрик, призвавший в свидетели гусеницу, свалившуюся с дерева ему на колени, заявил, что зрелище было смехотворным, о чем свидетельствует и обморок впечатлительной сороконожки, оба участника утратили чувство меры и продемонстрировали свой способ существования на уровне уличной пропаганды, а не в традициях того нежного самоистязания, которое придает происходящему шарм бездонной пропасти.

Завязалась перепалка, и Луиджи, подкравшись сзади, вылил за шиворот Патрику стакан воды, пояснив, что это брызги со дна бездонной пропасти, но Эрик возразил, что это слезы женщин, которых Патрик доконал глубокомысленной ахинеей.

Пока они резвились, Семен надул желтый воздушный шар, положил его у ног и сказал, что хочет исповедаться.

О боже, пробормотал Карл, и остальные, как мне показалось, тоже ощутили неловкость, так как Семен был серьезен и даже чуточку печален.

Луи шепнул мне, что время от времени у кого-нибудь из старичков бывают приступы неуместной искренности, которую не всегда удастся утилизировать в общих интересах.

Семен потерял кончик носа и поведал, что во второй мировой войне сражался на стороне русских, однажды его вызвал лейтенант, вкрадчивый, самодовольный пижон, и приказал, взяв еще двоих, захватить холмик в полутора километрах от их окопов. Холмик был пристрелян немцами, от приказа разило бессмыслицей и желанием выслужиться, а на счету лейтенанта уже было четыре бездарно погубленных жизни, в их числе дружок Семена, только-только начавший бриться паренек, по ночам писавший письма невесте и подетски обожавший говяжьё тушенку.

Семен выслушал приказ, козырнул и понял, что лейтенант разговаривает с ним как с будущим покойником, оттого в глазах лейтенанта даже некая ласковость.

Они залегли в полукилометре от холмика, проскучали там два часа, постреливая в воздух, и вернулись. Семен доложил, что задание выполнено, так как высота занята превосходящими силами противника. Лейтенант был недоволен и отчитал Семена за отсутствие инициативы и высокого воинского духа. В первой же атаке, промозглым ноябрьским утром, Семен упал, притворившись контуженным, пропустил лейтенанта вперед и пристрелил его из трофейного «вальтера».

Я убил его не из мести, задумчиво говорил Семен, а из предосторожности, ограждая себя и других, умер он тихо, как ребенок, тихо и беспомощно, в жизни это был мерзавец, а в смерть выпал молодой мужик с обнажившимися мелкими зубами и родинкой под ухом, оказалось, что в смерти можно быть совершенно другим, чем в жизни.

Семен проткнул острым концом щепки шар. Шар с треском лопнул и желтыми лохмотьями упал на землю.

В этой ерунде и то столько шума и движения, продолжал Семен, и все мы свидетели этой ерунды, которая осядет в нас и займет свое место, а та смерть затерялась в суете атаки, так же как и другие смерти, но другие встретили смерть лицом, двигаясь ей навстречу, а этого я подставил спиной, я отнял у него мужество отчаяния, тот последний всплеск, которым затыкают свой уход. Тогда я побежал дальше, догоняя своих, мы несли потери и оказались почти в окружении, без связи. Мне было не до лейтенанта, нас осталось сорок человек, и мы должны были пробиться к своим.

Его смерть всплыла во мне через несколько лет после войны, когда я пил пиво у кинотеатра, ежась под накрапывающим дождем. Я дернул лопатками, и перед глазами возникла спина, передернувшаяся таким же движением. Я увидел лейтенанта, который тут же упал в грязь и застыл.

С тех пор его смерть живет во мне, она сбросила физическую оболочку, стала мягче и как-то просторнее, временами она благоухает, может быть, потому, что она связана с моей молодостью. Я простил и лейтенанту, и себе, но не за давностью срока, а потому что научился у этой смерти смирению и благородству – она не требует раскаяния, не язвит, она принимает меня таким, как я есть, иногда я ловлю ее на попытке размыть мой горизонт, увлечь меня дальше, с помощью ее подсказок я нарыл кое-что из несвойственных мне вещей.

– А теперь, усмехнулся Семен, – я хотел бы услышать от высокочтимых друзей, корректно ли я обращаюсь с чужой смертью, наступившей от моей руки, возможно, я слишком лукаво использовал свой проступок в собственных интересах.

Полдень обложил сухостью и зноем. На верхней террасе стрекотал кузнечик, в неподвижном воздухе этот монотонный звук объединял слух со зрением, вычеркивая невидимые зигзаги.

Я смутно догадывался, почему Семен искушает нас именно сегодня – слишком тесно мы сидели, переходя в качество, это нас баловало и защищало.

Уильямс облизывал розово-блестящие губы и извиняющимся тоном заметил, что ему кажется, что убийство даже при подобных обстоятельствах, нельзя использовать в собственных интересах, это стирает грань между дозволенным и недопустимым, так можно выстроить существенную часть себя в, мягко выражаясь, иррациональном пространстве, если мы принимаем за рациональное – умение решать свои проблемы не за чужой счет.

Невозможно тридцать лет подряд рвать на себе волосы, возразил Карл и навис плечами, если обстоятельства вынудили тебя преступить, ты вправе выжать из собственной вины максимум, возделай ее и вырастить смокву на кактусе, все остальное слюняйство и неконструктивный подход к делу.

Несмотря на жару, все постепенно оживились – спор достиг стадии, когда не столько раскачиваются на противоположных мнениях, сколько увязают в зрелой, истекающей соком неразрешимости, Семен подзуживал, покусывая травинку и подкидывая трогательные подробности своих переживаний.

Я помалкивал, хотя меня и затащило – Семен раскручивал свое прошлое с тщательностью реставратора, он сделал эту смерть зримой и осязаемой до комка глины, прилипшего к гимнастерке упавшего лейтенанта.

Он вдавил нас в эту смерть, заставил вдохнуть ее аромат и глубину.

Я убил его, сказал он с легкой хрипотцой, а через десятилетия усыновил его, я насмеялся над этим усыновлением и оплакивал его, а сейчас использую вас, чтобы сделать эту смерть публичной, откупиться от нее тиражированием, теперь она будет жить и в вас, вы тоже будете живыми могильниками, а не только моими товарищами.

Лет семь-восемь спустя Семен обмолвился мне, что этот полдень в Болонье вдруг встал ему поперек горла – большой город вокруг, затихший парк с кучкой умствующих мужиков, солнечное равновесие и благодать, жужжание мошек, можно было утонуть во всем этом, как в банке с медом, он и

воткнул булавку в нашу общую задницу, чтобы не так уютно сиделось.

Наступило молчание. Пожалуй, по насыщенности и богатству это была одна из самых существенных пауз в моей жизни.

За исключением двоих, остальные открылись Семену и приняли его к исполнению, можно было бы понаслышке обозвать это коллективным изживанием вины, но, скорее, это было братством уязвимости, каждый взял свою долю, сколько мог, сколько выдерживал его опыт, и проживал убийство и смерть на свой лад.

Я был еще полон прошлогодним Семеном, нашим бродяжничеством под звездой его сноровки, и убил лейтенанта дрогнувшей рукой, почти упрекая его за то, что он втянул Семена в эту историю, не имеющую конца.

Смерть же его не нашла во мне подходящего места, я со стыдом ощущал, как бездарно я принимаю ее в сравнении с другими, как я еще мелок и не проработан, слишком много во мне солнечных зарослей, и наслаждение мое зряче по-юношески, в диапазоне дневных стрел и убегающих лестниц.

Но рядом смерть встречали с открытым забралом – именно сейчас разнообразие чужих подходов потребовало от меня такого напряжения, что я плюнул на свои попытки и отдался окружающему, впитывая до дурноты.

Эту давнюю смерть, у которой было прошлое и свидетель, приняли как свою, гостеприимно, панибратски, чтобы сбить ее пафос и вернуть обыденную жестокость факта, в этом почти все были единодушны, дохнуло холодом и беспощадностью земного распорядка, каждый подошел к своему пределу, пропустив лейтенанта вперед, и началась вакханалия – один, задыхаясь от страшного ужаса, ждал ласки и освобождающего вверх покоя, другой требовал от смерти добродетели и аскезы, третий издевался над ее страстью к уравниловке, упрощению, кто-то упрекал ее в моногамности владения истиной, которая бесполезна в своем совершенстве,

еще двое обнаружили свое родство в последнем дыхании и несмело и сумрачно сооружали качели личного бессмертия, проверяя их паутинкой блеснувшего сходства, слева от меня усложняли смерть как праздник, в котором одиночество обретало статус шумной традиции, а справа передавали ей свое безрассудство и злорадно ждали результатов...

К концу дня, когда выдохлись даже самые выносливые, а от розыгрышей уже мутило как от занудства, Луиджи возвестил, что все припасы кончились. Отведя нас в кафе по соседству, которое мы заняли чуть не целиком, он представил нас хозяину как своих корсиканских родственников. Это имело последствия – всех заглядывающих позже хозяин провоживал, а нам пришлось изъясняться на тарабарщине оперно-итальянского происхождения, что разжигало наш аппетит.

Из Болоньи я ушел один. Еще несколько просторных недель я шатался по Италии, как никогда наслаждаясь уединением среди людей. Я был легок и подвижен, я корчил из себя легкомысленного любовника жизни, и счастье было у меня под рукой, как глоток воды.

Я спустился по итальянскому сапогу к Ионическому морю и на его берегах подцепил неувимую грусть, которая пахла гвоздикой и привлекала ко мне женщин.

Под Соверато я разродился стихотворением, которое тут же постарался забыть – оно походило на золотую рыбку, слишком рьяно выполнявшую свои обещания. И когда в Катании я рыскал по лавкам, где торгуют бижутерией, парфюмом и блестящими женскими платьями, которые так ценятся на Кавказе, и во мне была хвостом золотая рыбка, то я ускользнул от нее и добросовестно выполнял поручение потийских братьев. Когда их сухогруз вошел в порт, им хватило двух часов, чтобы купить необходимое – так точен был мой реестр лавок и товаров. Они остались довольны мной и на обратном пути, когда я блаженно скучал среди швабр, погружаясь в воспоминания, они подкармливали меня, расщедриваясь иногда даже на горячий кофе с пирожками.

Я использовал каждое лето на полную катушку, обычно прихватывая и соседние месяцы. Наши часто бродяжили вдвоем или втроем, но для себя я превратил это в систему, чтобы в первые же годы охватить всю компанию.

Я шлялся то с одним, то с другим по две-три недели, встраиваясь в их мироощущение, как микроб, и жадно впитывая выявляющуюся с каждым шагом личностную явь.

Почти никому из них не приходилось вкалывать, как нам с Семеном, на скудный европейский минимум им хватало. Зато многие бродяжили лишь в рамках отпуска, тогда как мы с Семеном роскошествовали, позволяя себе загулы во всю ширь летнего пространства.

Кем я только не работал – от посудомойщика до грузчика, однажды даже подменял кладбищенского сторожа под Бургасом; немного поднакопив, я странствовал с очередным спутником, в случае необходимости еще и попрошайничая.

В этом деле я достиг подлинных высот и обладал собственным почерком. Как попрошайку меня нельзя было спутать ни с кем другим. Я был тонким лириком, способным влезть в чужую душу и воскресить в ней свежесть чувств, от которых сладостно кружилась голова, а пальцы нащупывали бумажник.

Как-то на пари с Лунаки, я выбил семнадцать баксов из пожилого американца, который был принципиальным противником такого рода благотворительности. Он дал бы и больше, но кончилась наличка, этот переход на кредитные карточки лишил современного западного человека непосредственности и того чувственного жеста, которым раньше ласкали золотые монеты, перенимая от золота частичку благородства.

Я уверил седовласого американца, что только мы двое, он, состоятельный юрист из Бостона, и я, обворованный ночью югославский фотограф, только мы с ним отражаем в себе всю глубину вечернего неба с сиренево-розовыми перьями

над горизонтом, только благодаря нам эта местность недалеко от Ниццы обрела человеческое измерение, и ее коснулось живое дыхание бога. Я подарил ему полноту бытия, а он мне – зеленые бумажки. Он мой должник, ибо я подал ему милостыню вечности, а он оплатил мне суетой.

Если бы не мои принципы, я стал бы выдающимся вымогателем, наподобие Аполлония Тианского, который прорицал и творил чудеса, помогая ближним отдохнуть от повседневности, я же был щепетилен в средствах и лишь счищал мусор с человеческой способности отдаться жизни, чтобы она вынесла тебя к берегу.

Я обходил почти всю Европу и Ближний Восток, вместе с Патриком мы спустились по западно-африканскому берегу до Габона, наступили мозолистой ногой на экватор и подцепили чесотку. Наедине Патрик напоминал складной нож. Большей частью он был закрыт, сонно косился по сторонам и все время хотел есть. Где-то раз в неделю, ближе к пятнице, на него нападала болтливость, и он низвергался на меня. Это была чудовищная мешанина самых разнообразных сведений, от свойств азотной кислоты до тонкостей придворного церемониала эпохи Мин, он жаловался на чрезмерную активность памяти, которая цепляет все подряд и тащит в нору, навязывает ему демонстрацию своих сокровищ, отвлекая от сущего.

Она вытесняет меня самого, сплевывая финиковые косточки, шепелявил он, так как сладкая мякоть прилипала к зубам, она захлмила мозг и гоняет его вхолостую, подсовывая одну подробность за другой, я бросил читать и продал телевизор, но она умудряется отцеживать информацию из обрывков чужих разговоров и рекламных текстов, она паразитирует на мне, черт бы ее подрал.

Его рыжие космы, концы которых выгорели до грязно-соломенного, оказались неотразимым аргументом на африканских рынках. Когда мы хотели дожать неуступчивого торговца, Патрик снимал панаму и обеими руками дыбил волосы. Эта пламенеющая грива над голубыми глазами вы-

зывала взрыв веселья у чернокожей публики – они показывали на нее пальцами, самые смелые просили разрешения пощупать, а когда Патрик начинал корчить рожи, женщины от смеха садились на корточки, а дети катались в пыли, и гроздь бананов или вареная кукуруза доставались нам за полцены, а то и даром.

Сначала я принимал его жалобы за чистую монету, но потом обнаружил за этой мешаниной еле различимый рисунок – Патрик перетасовывал содержимое памяти с ловкостью шулера и раскладывал в очередную комбинацию.

К моему носу ссыпалась едва ли тысячная часть. Я мог предположить, что угадываю часть узора, но общие контуры и система были вне моей досягаемости.

Я так и не понял, пытался ли он уловить, к примеру, связь между пищеварительным устройством кашалота и своим пристрастием к числам и зеленоглазым брюнеткам с крохотными ушками, или просто наслаждался процессом перетасовки, позволяющим под разными углами обозреть свою человеческую судьбу, ее прихотливость и непреложность, ее убогое движение вперед.

Он преподавал математику в одном из дублинских колледжей, но наставничества в нем не было ни на грош.

Его чувство к жене и сыну-вундеркинду, в восемь лет обыгрывавшему взрослых шахматистов, соседствовало с сиротством, которое он, может быть, и не пестовал, но уважал – это был резерв и охотничьи угодья.

По вечерам, когда мы валялись где-нибудь на берегу, смыв в океане пот и усталость, во мне бесшумно всплывал дневной отпечаток Патрика, и я снимал еще один урожай впечатлений.

Из-за обычной замкнутости Патрика я насобачился собирать пыльцу даже с самых мимолетных смен настроения. Именно с Патрика начала осознанно формироваться моя филигранная техника наблюдения, так как рыжий ирландец был предельно скуп на внешние отсветы.

Когда я еще только собирался бродяжить с ним, я заранее морщился, потому что на наших сходках он бывал импульсивен и задирался по малейшему поводу. Я боялся, что эти эмоциональные всплески превратят нашу прогулку в сплошной базар.

Теперь же я странствовал рядом с беглецом, для которого, как мне казалось, было привычным удаляться от центра собственной жизни, и чем дальше он уходил от психического ядра и биографии, тем труднее было заметить следы этого передвижения – на поверхности лишь изредка пробегала слабая рябь мелькала тень баклана, и я сторожил мельчайшее изменение, чтобы не сбиться со следа.

Никто из наших не был склонен к буквальной откровенности, монументальные исповеди не котиrowались, хотя никто не отрицал, что и на этой тропе можно порезвиться с пользой. Не один раз чужая откровенность заставляла меня врасплох, потому что ронялась вскользь, под прикрытием, и только холодок, с опозданием пробегавший по загривку, подсказывал, что рядом приоткрылось нечто глубинно-сущностное.

Забравшись в глушь, Патрик начинал хулиганить. Никто из нас не принимал всерьез собственную персону, но Патрика она, видимо, еще и раздражала. Сидя в засаде, он швырял камень в свои пенаты – ответный переполох настораживал его, тогда он посылал дары и с издевкой наблюдал, как их делят и ссорятся, в конце следовала иронически-благодная сцена примирения.

Однажды, ранним утром, еще не проснувшись толком, он повернул ко мне помятое лицо с песком у подбородка и пробормотал, что гораздо корректнее не существовать, ибо в этом случае твоя свобода не грабит других.

Я не ставил своей целью выведывать интимные тайны, ранящая тяжесть которых искривляет внутреннее пространство и разбрасывает по закоулкам потемневшие зеркала, поглощающие и передающие дальше сигналы опасности и перерождения.

Я искал личностный ответ на вызов жизни, ту подножку, которую каждый из нас подставлял себе, чтобы вымыться из привычного существования, из нормы, отштампованной обществом, – я был еще так наивен, что полагал отыскать главенствующую позу движения, основной психологический жест, хотя гораздо значимее то, что прячется за ним.

К концу нашего совместного мытарства я расслабился и оставил Патрика без присмотра.

Я слушал незнакомых птиц, завидовал белым зубам африканцев и их жизнерадостности, представлявшейся мне свежим материалом и загадкой, в которой солнце утопило свой зенит.

Я хохотал, глядя на Патрика, потому что он был ирландец – здесь это было неуместно и выглядело плоской шуткой.

Близость океана навязывала ощущение, что мы на краю земли, это тяготило и в то же время тянуло зачеркнуть прошлое, оборвать его как струну, чтобы воздух зазвенел и замер, подталкивая вперед.

Но я уже знал, что вперед – это иллюзия, порожденная направлением лица. И я отворачивался, ускользал в сторону и всячески петлял, играя в прятки с океаном и чернокожим временем, отбрасывающим фиолетовые блики на стыках дня и ночи.

На одной из центральных улиц Либревиля, куда мы вернулись после топтания по экватору, я зацепил краем уха Шопена – из распахнутых балконных дверей второго этажа доносился до-диез минор – вальс, во время которого меня можно пристрелить как собаку, и я не шелохнусь, чтобы не тратиться на пустяки.

Я застыл под балконом. В середине тема соскользнула в блюз.

Я заплакал насухую, и дневная бессонница ободрала меня как липку.

Тихо стукнула крышка фортепиано, и на балкон вышел негр под два метра – седой, с огромным черным лицом, бе-

лоснежная сорочка с жабо, с платком в сине-белый горох, он промокал шею и дышал медленно, затрудняясь.

– Отец, – сказал я ему по-русски, – ты разордал мне душу...

Он опустил ко мне взгляд, шевельнул бугорчато-лиловыми губами. Потом сделал приветственный знак рукой, похожей на клешню, и удалился.

Я успел добрести до конца квартала, когда меня окликнула девочка лет пятнадцати и, проворно догнав, сунула булочки с бутербродами, сыр и колбаса были слегка подсохшими, но вполне съедобными.

Встретившись с Патриком, я поделился с ним и добавил, что это плоды моего восхищения.

– Угу, вдумчиво отозвался Патрик, откусывая сразу половину бутерброда, – восхищение вообще плодоносящая вещь.

– Я всегда восхищался тобою, – нагло сказал я.

– Не по адресу, – отрезал Патрик, – я делегировал свое человеческое окружающей среде, вот туда и сценивай слюни.

Через день мы расстались.

Тем летом кроме Патрика я успел побродяжить еще с несколькими нашими и был полон под завязку. Только осенью, уже дома, отдышавшись в сухой, солнечно-виноградной погоде, настоящей на бессмертии и мягком блеске моря, я сумел развернуть нахвачанное во всей его полноте, дал ему время и толчок к воспроизводству, и, когда я уже был хозяином положения и, казалось, осязал искомое, все это размылось, и, потеряв точку опоры и отсчета, я обнаружил, что пугающая невесомость дает более емкий охват, в котором теряют смысл любое соотношение и защитная окраска.

К началу 80-х я уже был своим человеком в компании, освоил основные тропы, проложенные втихаря, на потребу духа, среди разноязычно-бойкой оседлой цивилизации, и тогда же наступил спад – многие пропускали ежегодные встречи, некоторые совсем исчезли из поля зрения, а в во-

семьдесят первом на сходку под Брюгге явились всего четверо.

Между тем, благодаря организаторской хватке Луи, мы устроились довольно комфортно. Существовало что-то типа перевалочных баз, где можно было передохнуть и отъесться, с обеих сторон Средиземного моря малознакомые люди выполняли роль почтовых ящиков, в которых мы оставляли весточку о себе и маршрут на ближайшие недели.

Мы всегда могли переночевать у Грегора, в конгрегации армян-мхитаристов, на острове Св. Лазаря в венецианской лагуне, получить тарелку горячего супа и посидеть в их превосходной библиотеке. Когда-то здесь изучали армянский язык Байрон и Стендаль, и это придавало нашим шагам по чисто выметенным плитам двора историческую весомость, в которой пыль веков смешивалась с дорожной.

Любимым прибежищем был дом толстяка Дидье в Ниме. Этот классический обжора принимал нас в пиршественном зале с готическими окнами, в центре стоял овальный стол из столетнего дуба, изготовленный еще по заказу его деда, а на стене красовалась цитата из Сенеки: «Сойдясь вместе, люди хуже, чем взятые по отдельности». Дидье считал, что каждая трапеза с его участием опровергает древнеримского стоика, и действительно был изумительным хозяином – вкусно кормил и умел слушать, для каждого гостя у него была своя интонация, гостеприимство его обладало глубиной ландшафта и прелестью старинной дружбы.

Зато и баловали же мы его – каждый тащил из дальних странствий диковину для его желудка, зачастую это был просто рецепт экзотического блюда, но все, что можно было довести в целостности и сохранности, мы добросовестно тащили.

Мы подшучивали, что, в отличие от нас, он бродяжничает желудком, а не ногами, что познание мира в пищеварительном процессе самый последовательный вид эзотерики, а он мило дулся и утверждал, что первый признак упорядоченного ума – это умение оставаться на одном месте, освежая его неповторимость.

Сдержанно, но с изысканной учтивостью, нас встречали в доме Граубенов, в одном из средневековых кварталов Фрибура. Граубен был потомком известного бенедиктинского монаха и, видимо, гордился этим, во всяком случае внешность его свидетельствовала в пользу фамильной гордости – худощавый, с непреклонной спиной, над сомкнутым ртом впалые щеки и опущенные глаза.

Служил он по фискальному ведомству, но тайной страстью его была обширная карта, три на пять метров, висевшая на стене кабинета. Выполнил он ее собственноручно, на хорошем профессиональном уровне, и наносил на нее места обитания отшельников. Долгие годы он разыскивал даже малоизвестных отшельников местного значения, рылся в архивах и библиотеках, переписывался с краеведами многих стран, перелопатил массу семейных преданий, некоторые из нас по ходу странствий собирали для него нужные сведения.

Ближний Восток, начиная с фиваидских пустыножителей, и Западная Европа – Граубен обозначил почти невидимую сеть отшельников, которые полтора тысячелетия искали бога в одиночестве, и когда я разглядывал карту, знакомая местность сбрасывала современный макияж, и проступали очаги бдения духа и умерщвления плоти.

Справочный материал к карте составляли шестнадцать толстенных томов. Но Граубен не собирался публиковать его, окружив свой труд благоговейной тишиной. В доме господствовала атмосферапряного самоуничтожения – все броское во внешности или поведении затушевывалось или подавалось как нечаянный отклик на гостей, и в этом домашнем ремесле сестра Граубена, Маргарет, которая вела хозяйство и помогала брату в изысканиях, достигла незаурядных высот.

Этой женщине я обязан умению ходить по острию бритвы в ситуациях почти неосязаемых.

К началу нашего знакомства ей было уже лет тридцать пять, и я сожалел, что не застал ее отрочества – открытость

и сияние детских лет помогли бы мне расшифровать хоть часть загадок, которыми тонкокостная Маргарет уснащала свою бытовую явленность для окружающих.

Она не была хороша собой – бледная, с тусклым золотом убранных на затылке волос, белесые брови, совсем пропадающие по соседству с сине-черными глазами, в которых радужка почти сливалась со зрачком, но лицо ее владело твоим вниманием по законам старых фламандских мастеров – значительность происходящего жила даже в хозяйственной утвари, окружающей человека и уступающей ему первенство лишь композиционно, а лицо сотрудничало в кропотливо-радостном созидании уюта, в котором находилось место и богу, и выпотрошенному фазану.

Даже если кто-нибудь из нас вызывал в ней интерес, а при ее замкнутом образе жизни появление в доме мужчин должно же было хоть как-то всколыхнуть ее заводь, то наружу это не пробивалось. Но и равнодушием нельзя было назвать ее отношение к нам – как выразился однажды Семен, Маргарет парит внутри своего существования и тратит на борьбу с земным притяжением энергию, которая обычно уходит на мужчин, но ее женская природа помнит о мужиках и напропалую кокетничает с ними.

В августе 80-го мы с Эриком бездельничали в окрестностях Памплоны, следуя за погодой и лениво напоминая друг другу, что не стоит торопиться, что мгновение содержательнее вечности, и уж во всяком случае, находится в полном нашем распоряжении.

Когда мы заметили Маргарет, припарковывавшую машину у невзрачной придорожной гостиницы, Эрик помахал ей рукой и предположил, что это видение, своего рода импровизация нашего коллективного бессознательного, изголодавшегося по бюргерскому уюту.

К нашему удивлению, Маргарет направилась к нам, заклоня голову от солнца черной кожаной сумочкой. Голубое, в мелкую бордовую полоску, платье ошеломило нас, дома она предпочитала пастельные тона.

– Бедное дитя, – элегически пробормотал Эрик, – этот сухарь Граубен сделал из нее гербарий, а ей к лицу не домашние шторы, а испанские улочки в час сиесты.

Выяснилось, что Граубен нездоров и поручил сестре разузнать о блаженном, который в 16 веке обретался в этих местах. Известен он был тем, что исцелял от падучей и за последние двадцать лет жизни не произнес ни слова. Больных приводили к его пещере и оставляли на сутки. Он выходил к ним в наглухо опущенном капюшоне. Никто не видел его лица. В одной из сельских церквушек Маргарет разыскала старого священника, о котором говорили, что ему известна история блаженного

Но священник отказался беседовать с женщиной, хотя Маргарет предъявила ему рекомендательные письма.

Насколько она поняла, отстраненно сообщила Маргарет, падре усомнился в ее способности воспринять его слова о блаженном во всей их чистоте и неприкосновенности, ее присутствие отбросит на них тень, в которой заводится посторонняя сила, искажающая и искушающая, в искушение может быть введен даже он сам, черпающий в жизни блаженного слезы для своего сердца.

Очень трогательный старик, добавила она, помедлив, человек в нем выразительнее священника, священник уже старый, опытный, знает все уловки неприятеля, а человек еще растет и пугается своей доверчивости, он все время догоняет священника и потому все время видит его спину, а не руку, поднятую для благословения.

Она никогда не говорила так много, и я еще ни разу не видел ее на улице, только в полумраке тяжеловесных комнат – сейчас она была резче и открытее, брови тронуты карандашом, и глаза, обрета подчеркивающий верх, вбирали августовское солнце без прищуря, ожили и волосы, подсвечивая лицо лимонными бликами.

Маргарет просила, чтобы кто-нибудь из нас взял на себя труд войти в доверие к священнику и выудить из него историю блаженного.

Ни Эрик, ни я не знали испанского в объеме, позволяющем беседовать на столь щекотливые темы.

Но Маргарет пояснила, что на каникулы к священнику приехал его племянник, студент-богослов, владеющий английским и немецким, она воспользовалась его помощью и убедилась, что студент сам не прочь услышать эту историю из уст дяди.

В конце концов ее выбор пал на Эрика.

Каждое утро мы подъезжали к деревушке, Эрик вылезал и отправлялся к священнику, а мы с Маргарет сидели в машине или гуляли по холмам, северные склоны которых были не распаханы.

Она быстро уставала и присаживалась на землю.

Я бродил где-нибудь неподалеку и держал ее в поле зрения, точнее она сама оставалась в нем, без нажима, словно избрав мой взгляд естественной средой обитания.

Священник принимал Эрика с досадой занятого человека. Почуввав реальное сопротивление, наш красавец-швед решил воспользоваться приемом, который мы называем «удел луны» – так же как луна видна лишь потому, что отражает солнце, так человек психологически засвечивается, становится достоверным для собеседника, проживая с ним существенные для него мгновения.

За дни, проведенные с Эриком, я успел оценить прозрачность и мужественный тон его великодушия.

Он ничего не требовал от жизни, даже судьбы, он просто любил и любовался непрерывностью живого. Его двухметровая физическая красота утверждала и подпирала других, особенно женщин, ему же она была по фигу, а временами раздражала как неучаствующая напрямую в его поисках.

На второй день нашего бродяжничества ему исполнилось сорок, мы слегка обмыли это дело, и он сказал, что находится в забавном состоянии непобедимости – проблем словно нет, все приемлемо и обращено лучшей стороной, то ли это от щедрости возраста, то ли он спятил в блестящих традициях глупцов, достигших совершенства, но он затерялся в ощу-

щении благополучия и не может понять, за чем он гонялся в предыдущие годы.

Я заразился от него, и мы погрязли в благодушии, которое искрилось на солнцепеке и, как снег, отливало голубым, когда окружающие задевали наше пространство.

Вторжение Маргарет только добавило струю по-женски пахучего азарта – теперь мы втроем, в блуждающей полуулыбке сообщников, натягивали лук и беспечно грезили о добыче, которая опрокинет рог изобилия на противоборствующие стороны.

Пока Эрик тянулся к душе священника, Маргарет гуляла, обвязав голову косынкой цвета раздавленной земляники, и изредка смеялась моим ленивым шуткам, которые я использовал как тормоза на спуске, когда молчание становится слишком стремительным.

Она не опиралась на мою руку, не касалась меня плечом или бедром, сине-черный ласточкин промельк ее глаз скорее обескураживал, но я знал, что мысленно она ведет себя смело и бесстыдно – наслаждение, которое она испытывала от плотских игр со мною, проступало, как возраст или сон, и дышала она в такие минуты глубже обычного, подключая все тело, до узкой ступни.

Сначала я досадовал, хотя в этом не ощущалось ни вызова, ни пренебрежения – зрелая женщина решала свои проблемы самостоятельно, не обременяя других, дистанция между нами была заполнена сухим воздухом холмов и тяжестью позднего утра, лоснящегося от созревающих овощей.

Однажды мы сидели на краю кукурузного поля. Я сорвал два молочных початка и подрумянивал их над костерком из увядших листьев.

Маргарет впервые попробовала этот деревенский деликатес и была удивлена его нежной сладостью.

Голос ее хвалил молочную зернистость кукурузы и окрашивал похвалу низкими возбужденными нотками, которые она тут же попыталась приглушить, и смело бросила мне перчатку классической старой девы, проронив жеманную

глупость, – сама она при этом была правдива и тепла в своей цельности и женском подъеме.

Она не звала меня, и я подозревал, что она никогда и никого не звала, но и не задерживала шторы наглухо – я мог участвовать хотя бы на правах автора, вещь которого попала в чужую собственность.

Вроде бы этой вещью был я сам, но в качестве персонажа чужой игры – и я хотел извне добавить ему, в какой-то мере я был ответственен за его мужские достоинства.

Теперь, когда мы кружили вокруг деревушки, я снимал майку и в одних шортах прыгал через канавы и лазал по деревьям, бормоча, что засиделся и нуждаюсь в разминке.

Маргарет относилась к этому с юмором.

Возможно, даже такая мимолетная попытка помощи казалась ей бесцеремонным прикосновением, но она была снисходительна

А потом я влип – воображение этой женщины работало полнокровно и мощно, втягивая ближнюю реальность; оприходовав мой взмах самца, загорелый треугольник торса и цепкость чресл, она заставила последовать за семенем и мое внимание.

У ее ног я освоил изощренно-платонические забавы, когда двое заняты ландшафтом и отдаленным шумом сельской жизни, но погружаются в разницу полов, чтобы отпрянуть друг от друга в освещенной ворсистости подорожника и искать взглядом следующие площадки для встреч, которые отсылают еще дальше, к тому яростному перекрестку, где душа изнемогает от чужой близости, но не может от нее отказаться.

Позже, когда мы с Маргарет начали переписываться, не чаще одного-двух писем в год, она сражала меня снайперской вязью отчуждения, в котором страсти и очарования было больше, чем во многих любовных признаниях.

Эрик тем временем помогал священнику выпалывать сорняки и обирать улиток в огороде, начищал мелом многочисленную серебряную утварь в пустой по будням

церкви и копил по капле скупую скорбь священника, наблюдающего, как суетность мира сопровождает его прихожан на свадьбах и похоронах и срывает молодых с насиженных родительских гнезд.

Если я правильно догадываюсь, Эрика подвело то, что с пожилым мужчиной католической закалки он обращался, как с женщиной – его врожденная мягкость и рыцарственное любовное отношение живым позволяли женщинам разрастаться в их неуловимом, он не только не ограничивал их, но, наоборот, раздвигал границы их женственности так широко, что у них зачастую кружилась голова, и они в страхе отступали назад – испытание собственной природой ставило под сомнение слишком многое из привычного, быть женщиной оказывалось приключением и опасной привилегией.

Рассказывая об этом, Эрик затихал посреди фразы, словно давая женщинам возможность отлететь подальше и не обжечь крылья об его грусть, и обмолвился однажды, что присвоение мужиками истории еще долго будет отличаться нам.

Видимо, священник почувал опасность – впервые вокруг него так благоухало человеческим вниманием, перед ним распахивали соблазн быть человеком, искать небо и отклик в обход бога, за ним охотились с целомудренной страстью, а под конец посягнули на его сан – Эрик самозабвенно подобрался к его молитве и привнес в ее ход инстинкт исследователя, готового опалить шкуру, чтобы выдраться за рамки эксперимента.

Вечером к Маргарет в гостиницу явился племянник-богослов и сообщил, что дядю срочно вызвали в епархию.

Племянник был смазлив и самоуверен и с тонкой улыбкой казуиста передал просьбу священника не беспокоить его более, ибо разуменье божье и жизненный опыт подсказывают ему, что история блаженного должна храниться в тишине смиренного сердца, так заповедовал и сам блаженный, бежавший от людских глаз и их сладострастной памяти.

Маргарет довезла нас до Сарагосы и на прощание подарила Эрику распятие из кипарисового дерева, а мне – соломенную шляпу с полями, доверху набитую вишней.

Когда мы доедали эту вишню, притулившись сбоку к витрине обувного магазина, Эрик, всю дорогу насвистывавший, как школьник, сказал, что священник был для него каникулами, провинциальными каникулами в благодать, где можно было искушать ангелов и невинно подстергать бога, но каникулы всегда кончаются внезапно, и бегство священника напоминает ему парус, который хорош лишь при попутном ветре.

Однако самым комфортным приютом для всех нас был дом Соултена в Александрии.

Превосходный врач с обширной клиентурой, он сделал состояние, излечивая самые тяжкие формы геморроя, Соултен на досуге баловался психоанализом, при этом потешался над Фрейдом и основным импульсом человека считал жажду чужого внимания.

Богатый холостяк, он мог позволить себе любые чудачества.

Выстроил просторный особняк, в котором мавританский стиль подавался с пышностью барокко, и держал с десятков холеных породистых кошек, стоивших бешеные деньги, а для общения дрессировал попугая, отличавшегося мизантропией и прожорливостью.

Всю нашу компанию Соултен рассматривал как разновидность маньяков, в которых потребность чужого внимания так велика, что они требуют его не только от людей, но и от самого мироздания, но кормил и лечил, в нашем распоряжении были две комнаты и эрудиция хозяина, знавшего египетское побережье как свои пять пальцев.

Это он предупредил Семена, что пора заканчивать прогулки под беспощадным солнцем Востока – Семен действительно сдавал и жаловался на сердце; Соултен вообще часто пугал нас солнцем, сам он не выходил без выгоревшего полотняного зонта и мрачно шутил, что даже отраженных

лучей достаточно, чтобы превратить европейца в мумию, не подозревающую, что она вот-вот рассыплется.

Особенно благодарны мы были ему за Шандора, с которым Соултен возился больше года, поселив его у себя и наняв повара для диетического питания.

Семен вспоминал, что Шандор с юности был ушиблен китайской концепцией пустоты как вместилища жизненной силы, а пример Арминия Вамбери, который в прошлом веке под именем турецкого подданного Рашида Эфенди проволока венгерскую любознательность через Туркменскую пустыню, подзуживал его как муха.

В 69-м он исчез, признавшись только Рышарду, что он отправляется в Китай.

Одиннадцать лет спустя Диас подобрал его в рангунском порту, опознав в вонючем попрошайке упрямяца, который на каждом общем сборище предлагал отказаться от гипнотических забав, считая это профанацией и детскими штучками.

Шандор не сразу узнал Диаса и сделал попытку удрать от него, когда Диас пошел в кассу за вторым билетом.

Диас привез его к Соултену.

Я увидел Шандора уже на следующий год – это был толстый, сутулый тип без двух пальцев на левой руке, он неприязненно косился, когда к нему обращались, и предпочитал вступать в разговор по собственной инициативе.

О своей жизни в Китае он рассказывал только анекдоты, типа того, как пытался приобрести мягкие очертания фигуры, стремясь к восточной округлости, или как нужно сидеть на корточках, чтобы тебя уважали самые отпетые.

Соултен, который знал поболее нас, предупредил, чтобы мы не привязывались к Шандору даже по пустякам, и однажды в подпитии проболтался Лунаки, который часто заезжал к нему, что Шандор как подозрительный иностранец, без документов и с академическим знанием китайского, дважды приговаривался к расстрелу как шпион, но казнь заменяли ссылкой на принудительные работы, в ходе которых полага-

лось умирать от истощения, и Шандор умирал, мастерски, с пронзительным реализмом, который обманывал даже крыс, пытавшихся обгрызть пальцы и нос, его сбрасывали в общую яму, откуда он выползал ночью, под Ланьчжоу он попал в шайку, промышлявшую скупкой краденого и похищением девушек для перепродажи на побережье, его использовали для грязных работ и пинали за малейшую провинность, он убегал, его ловили и отрубали по пальцу за каждую попытку побега, начав с мизинца, в третий раз, соорудив из оставшихся пальцев кукиш, он все-таки улизнул. Несколько лет он прожил в верховьях Хуншуйхэ, где обосновался бежавший из Пекина от культурной революции профессор математики, говоривший, что после пятидесяти лет человеку нужно только звездное небо. Жили они душа в душу, возделывали скудный огородик и целые ночи пилились на созвездья – бесшумный ход мира завораживал до немоты.

Еще полтора года Шандор проторчал в глубинке лаосской провинции Хоаконг, где крохотное племя мео тайно выращивает мак на плоскогорье. Основную часть мака забирают скупщики из Бангкока, остальное мео обрабатывают дедовским способом и употребляют сами. Шандор сдружился с пятнадцатилетним подростком, который изобрел свой способ обработки, они уходили подальше от хижин и погружались в галлюцинации. Парень был смышлен и с воображением, и Шандор, быстро освоивший нехитрый лексикон мео, попытался рассказать ему о Европе, о смене цивилизаций, но застрял в языке, приспособленном лишь для выживания и простых радостей.

В этом месте Соултен протрезвел – Лунаки, сверкая белками глаз, изобразил мистический ужас, овладевший доктором.

– Посреди Азии, на плоскогорье, попасть в капкан примитивного языка, – Соултен передернулся. – А перед тобой гибкий восприимчивый ум, готовый впитать тебя с потрохами. Это хуже тюрьмы. Это все равно что полюбить рыбу

человеческой любовью и играть ей Шонберга, а рыба смотрит на тебя с той стороны аквариума и с невыразимой нежностью шевелит хвостом.

Шандор уговорил подростка бежать с ним, обещая показать земли с белыми и черными людьми, огромные хижины, крыши которых на уровне птичьего полета, и самое главное, что завораживало мальчика, белую стену, на которой люди ходят, едят и выращивают мак совсем как в жизни, но войти к ним туда нельзя.

Они добрались до Рангуна. Шандор восхищался жадностью, с которой парень поглощал окружающее. Как только они зарабатывали лишний кьят, они тут же тащились в кино, мальчик мог смотреть один и тот же фильм несколько раз подряд. На какой-то немецкой нуднятине, от которой Шандор зевал, он вдруг заплакал к концу сеанса – белокурая девочка сначала кормила уток, а потом долго смотрела ему прямо в лицо своими голубыми глазами.

После этого он заболел, Шандор возился с ним как нянька, за неделю оба дошли до полного истощения, и когда подросток умер у него на руках, горячий, с запекшимися губами, Шандор вытянулся рядом и понял, что вставать больше не за чем.

Кто-то его все-таки выходил, Шандор не помнил кто, как не помнил и первые полгода после болезни, как будто он жил мимо, да и потом все происходящее уже не настаивало на себе.

Соултен предложил ему остаться у него, и Шандор бдил за приходящей прислугой, кормил кошек и попугая, а в свободные часы сидел у окна и грыз ногти.

Как-то я спросил Соултена, которому перед тем позволил порезвиться за мой счет – он обожал ковыряться, по его выражению, в заднем проходе нашей психики, не кажется ли ему, что Шандор отказался от будущего, как отказываются от безбрачия или от родителей, чтобы запутать следы и сбить с толку, потому что жизнь все равно проникает, но

хотя бы не прямым открытым прикосновением, а фильтруется и поступает сухим остатком, неосязаемым, как пыль.

Соултен зажег ароматическую палочку, которыми часто обкуривал руки – его преследовал запах проктологического ремесла, и ответил не спеша:

– Он жалуется, что после смерти мальчика ничего не происходит. Раньше жизнь наваливалась на него, события толпились и мешали друг другу. А теперь у него закладывает уши – так вокруг тихо, и с каждым днем все тише.

Время от времени кто-нибудь из нас пытался выманить Шандора с собой, но он отнекивался и добавлял, что общения с кошками ему более чем достаточно, уже попугай и Слоутен лишние, но он вынужден их терпеть, как собственную внешность, которую не соскоблишь.

После вялого междусобойчика под Брюгге, когда мы вчетвером подпирали небосвод и, решив сделать освежающий перерыв, объявили, подобно нашему кузену ЮНЕСКО, следующий, 1982 год, годом великой неустойчивости, несущей миру благоговение и вкус разлуки, я дал себе роздых и прокантовался дома чуть ли не два года, испытывая себя в ненавязчивой роли домоседа.

Сухум, как обычно, следовал за своим заливом и главной кофейней «Амра», где с утра до вечера, а летом и до поздней ночи, перемежались завсегдатаи, знавшие толк в черном кофе без сахара и в трепе, двойное дно которого обнажалось не сразу.

Сама кофейня стоит на сваях над водой, и с нее отличный вид – вся береговая линия, холмы, а за ними Кавказский хребет, прямо же под носом гладь залива, отражающая рыбацьи лодки и чаек.

В сумерки я посиживал среди приятелей, развалившись на белоснежном стуле, и как поплавок нырял с поверхности беседы в глубь освещения – воздух над заливом трепетал от сиреневых наплывов, растворяющих салатное и голубое в еле осязаемом движении вечернего бриза, кожа на равных

с глазами участвовала в этом пиршестве, а небо темнело и набирало высоту.

Я догадывался, что человек не событие, а всего лишь мимическая рябь вечности, и хотя как источник суеты я почти неотразим, хотя я уподоблял себя миру, его физике и прихотливости, первая же вечерняя звезда отменяла мое самомнение и отсылала в человеческий срок, этот неразличимый спутник мгновения.

И тогда я спрашивал себя, есть ли во мне та бездна, о которой с небрежной очевидностью говорили Рильке и Йитс, не слишком ли я наслаждаюсь жизнью – а вдруг я пошляк в простоте душевной, что так отдаюсь воздуху и языческой живости сумерек.

Я уходил из кофейни и отправлялся к женщине, чей дом под старыми замшелыми кипарисами притулился почти в центре города – столетний, неказистый дом, выросший в землю, дверь из ее комнаты выходила в темный сад, где тяжелая трава льнула к шагам и откуда к порогу присасывались слизняки и плющ.

Ей было всего 26, еще нежный фиалковый возраст для женщины, чья физическая стать была заложена в расчете на долголетие и плодовитость, но событийный ее почерк был так хрупок, и так явно избегала она всего откровенного, придающего жизни основательность мясного блюда, что в ее присутствии я проявлялся лишь в общих чертах, как некая возможность, которая не обременяет.

Рядом с ней шумно и неутомонно жила мать, занимавшая фасадную часть дома, где вечно шушукались приятельницы, гадавшие на кофейной гуще и объедавшиеся сладким, гремел телевизор.

Я приходил к ней после десяти, когда мать, рано уходившая на работу, уже затихала.

Иногда мы занимались любовью, потому что я мог помочь ее телу – ее влажная тайна нуждалась во мне, я давал ему ярость и свободу, которые она тратила потом в валюте дня и бессонницы, но на этом моя власть кончалась, на даль-

нейшее посягала дружба, пытавшаяся сориентироваться в чужом хаосе.

При свете ночника я наблюдал, как молодая женщина с румянцем и покатою линией плеч перелистывает книгу, ставит чайник, передвигается по комнате и при этом стирает все это в ощущении как необязательное – повседневная плоть жизни претит ей, а ведь это кощунство, и она им гордится как пропуском в пустыню, где отчаяние сладостнее воды и можно разменивать себя на пространство.

Я замирал, подхваченный загадкой живого, которое плодит существа, питающиеся отчаянием, – или жизни тоже надо отрицать себя, для равновесия и ловящей свой хвост устойчивости.

Ах, какая дионисийская исступленность, по-женски изошренная в подробностях, пульсировала в ее пальцах, державших цветок гибискуса, она только что принесла его из сада, и отталкивавших его очарование – слабую белизну чашечки, неровность краев, всю эту лепестковую невесомость, которую можно смять вздохом.

С каким мрачным великолепием и безрассудством она вычеркивала цветок – отправлялась вслед за ним, как его запах, несущий объяснение в любви и ревность к обморочному небрежению, с каким цветок замалчивал свое отделение от куста.

Я уже многое повидал к тому времени и знал, что выдержать себя трудно, труднее, чем сорок лет водить народ по пустыне или изобрести порох, поэтому молчал в тряпку и мужал свое сочувствие, как в средневековье закаливали инструменты в моче козла-девственника.

Я ничем не мог помочь ей, разве что в качестве тусклого зеркала, намекающего на иллюзию, что можно увидеть себя со стороны.

Она и не обольщалась. Да, пожалуй, и не нуждалась в этом – как-то ночью я проснулся от ее шепота, она лежала спиной ко мне и препиралась с темнотой, обвиняя ее в сводничестве, но с кем сводила ее эта глухая плотная тьма,

я так и не понял, это была любовная игра, полная неизвестных мне цитат и воспоминаний, в конце концов я ущипнул ее за ягодицу и сказал, что последнюю ведьму сожгли всего полтора года назад.

– Да, – ответила она, не задумываясь, – сжечь легче, чем добросовестно подглядывать, а ты даже подглядывать не умеешь.

Я был возмущен и пытался объяснить ей, что только этим всю жизнь и занимаюсь.

– Ты? – спросила она с изумлением и ощупала рукой мое лицо. – Значит, ты подглядываешь в другую сторону, а ко мне ты обращен затылком, он у тебя страстный и ласковый, – гибким движением пальцев она скользнула к моему затылку, и темнота приобрела красноватый оттенок. Она измучила нас обоих, оттягивая миг сближения, и в последнюю перед ним секунду укусила меня в шею и прошептала: не знаю тебя и не хочу знать...

Мой сменщик по фотоателье, с радостью отпускавший меня на лето, чтобы самому подзаработать на курортниках, приобрел мартышку и теперь гастролировал с нею на набережной, собирая толпу детей и гуляк.

Я же тихо обслуживал повседневную клиентуру, перекусывал домашними бутербродами и тщательно, без спешки, обследовал свою жизнь, обнаружив на досуге, что общее ее ощущение у меня размылось, точнее, оно стало настолько общим, что мое личностное уединение в ней потеряло отчетливость.

Я стал не так значим самому себе, как прежде, хотя и набрал за эти годы – сейчас бы я дал сто очков тому сопляку, что на брюхе переползал советско-турецкую границу, но вместе со зрелостью пришло вдумчивое равнодушие к себе, и в его просторах я еще только осваивался.

В родственном измерении я проиграл в сердечности как сын и брат, но выиграл по человечеству – мать и сестра выступили из семейных рамок, и каждую из них я сопровождал.

ждал по ее законам и поддакивал в себе тому, что было для них дорого.

Я уже не искал созвучного в друзьях и книгах, не тянул на себя погоду и не ревновал вечность к прохожим; Сухум, многоязычный и оживленный, богател от моих странствий, хотя и не подозревал об этом – я сносил по зернышку мои впечатления в его копилку и оставался неизвестным, лишь иногда засвечиваясь в неуловимых отражениях города – так я освобождался от себя в пользу насыщенного сквозняка, который гулял по улицам, заглядывая в окна, и выплескивал на набережную терпкую взвесь пережитого.

Однажды, выйдя из парикмахерской и посматривая на залив, эту замусоленную чашу Грааля, которая всегда под рукой и неотвязна, я подумал, что я, скорее всего, отшельник, отшельник от морской воды, потому что, отодвигаясь в горизонт, она утрясает жизнь на суше в еле различимый орнамент, шуршащую кальку с подлинного, и нужно быть очень сосредоточенным, иметь нестреноженное внутреннее время, чтобы возвращать глубину бытия, совокупляясь с его тенью.

Во всяком случае, по отношению к окружающим я, конечно, отшельник – мои тайные странствия просто не приходят им в голову.

Даже друзья, часто толкущиеся у самого входа, лишь изредка на лету, как чайки, касаются существенного, но остаются на поверхности.

Один из них в шутку, после нескольких стаканов молодого пенящегося вина, сказал, что у меня три лица – одно для себя, другое для других, а третье рыщет по окрестностям и приносит мне добычу.

Он был доволен сказанным и смаковал вино, которое делал сам, мы как раз снимали первую пробу и сидели перед сараем, где стояли две деревянные бочки с давленным виноградом, из которых мы сцеживали сок в десятилитровые стеклянные бутылки.

Я спросил, тоже в шутку, не хочет ли он обзавестись лицом-охотником, стаскивающим подробности пейзажа к самой переносице?

Нет, ответил он беспечно, ты же знаешь, я не любопытен, это ты все мельтешишь, а мне достаточно и одной физиономии, чтобы жить в свое удовольствие.

В первые годы бродяжничества я с щенячьей горделивостью думал, что гоняюсь за самим собой, но выбираю нехоженые тропы, теперь я усомнился в этом – может быть, я гоняюсь за самим человечеством, иначе чем объяснить постоянное стремление влезть в чужую жизнь, вдохнуть ее аромат и, еще сохраняя в ноздрах его сладость, переметнуться дальше, распространяя теплый блуждающий сигнал, который уведомил бы остальных, что и по их душу, пусть с другого конца человечества, кто-то подбирается.

Может быть, поэтому столь часто ощущение, что я живу не своей жизнью, что моя где-то рядом, гораздо более значительная и мощная, а я телепаюсь в этой, злоупотребляя инстинктом самосохранения, вместо того чтобы въехать на нем в неведомое, используя его силу и чуткость в обратном направлении, вдруг взаимное разложение даст эффект перспективы и отдаленных зарниц.

Может быть, урок, который дал мне Саид, когда в 77-м мы с ним кочевали по Белозерью и он манипулировал собою на грани самоистребления, отложился не только в моей памяти, но и в страхе тела перед открытостью, поэтому я распыляю себя в человечестве по эволюционной привычке к подобному.

До этого я видел его мельком в Никозии, но в это лето он ускользнул от меня, и мне пришлось по обрывкам сведений выслеживать его – на следующий год я застиг его на Тасосе и искусил русским севером.

Чуть не засыпавшись, мы перешли советскую границу по карпатскому мелколесью, а на территории Союза я выдавал его за узбека. Мы спешили, было уже начало августа, и я бо-

ялся, что северные ночи под открытым небом будут для него слишком суровы.

В Белозерске за две бутылки водки я разжился ватником и вытертым суконным одеялом, обменял наручные часы на топорик и рюкзак, и мы двинулись в обход Белого озера.

Я сожалел, что мы не застали белые ночи – я хотел поразить этого сына пустыни колдовским очарованием светлого ночного неба, теперь же я рассчитывал на силу леса и озер.

Как только мы вышли из города, он скинул кеды, в которые я с самого начала заставил его влезть, так как догадывался, что милиция не перенесет встречи с такими грязными сбитыми ногами. На ощупь север мягче юга, сказал он, и его единственный глаз отразил приглушенный блеск озера.

Видимо, у Саида вовсе не было чувства юмора, или мне не удалось его обнаружить.

Мы провели вместе почти месяц, пересекли несколько стран, но ни разу, ни в толпе, ни наедине, не было даже намека на привычную атмосферу бродяжничества, когда мы с остальными по-своему прикалывались к действительности.

Я-то, конечно, продолжал прикалываться, но Саид в этом не участвовал – он просто был рядом.

По скупости внешнего рисунка он перещеголял даже перуанца, ни малейшей смены настроений, все время ровен, невозмутим и, черт его подери, естественен – он почти сливался с происходящим, никакого акцента на себе.

Не было даже того товарищеского тепла, которое неизбежно, когда ты делишь с другим кусок и ночлег.

Однако я знал, что принят к сведению.

Я довольно удачно экипировал Саида под типичного российского забулдыгу – линялый спортивный костюм, кепка, он выучил самые употребительные матерные слова и теперь учился разводить костер из отсыревших за ночь сучьев и отличать белый гриб от подберезовика.

Когда мы сидели на поляне у огня и жарили нанизанные на прут грибы, я рассказывал о сугробах, монастырях, юро-

дивых, и моя арабская речь с русской начинкой отдавала шутовством сверх программы, содержимое уходило в иноязычные слова, как в песок.

Скоро мы выбрали к полю с огромными стогами. Я объяснил, что это сено для животных и идеальная перина для бродяг.

Саид около часа гулял по полю. Возможно, он вспоминал пирамиды, во всяком случае, он взобрался на самый высокий стог и стоял там неподвижно, как изваяние.

Неподалеку была деревня, мы починили суровой старухе изгородь и получили два литра парного молока.

Свою крынку Саид опорожнил одним духом, и на его смутло-чеканном лице с задубевшей кожей впервые prominently оживление.

Он попросил, чтобы ему показали животное, которое дает такое богатое молоко. Старуха выслушала меня с неудовольствием.

– Что смотреть! – сказала она, налегая на «о». – Корова и есть корова!

Я растолковал ей, что человек вырос в пустыне, пил только кислое кобылье молоко и потрясен чудесным молоком ее скотины. Это же не молоко, это вологодские кружева, добавил я от себя.

Старуха отвела нас в покосившийся хлев, где шумно дышала крупная корова – пока Саид созерцал ее, старуха спросила шепотом, ест ли одноглазый басурман квашеную капусту.

Узнав, что он никогда не пробовал и капусту, она совсем разжалобилась – задала нам непыльную работенку на огороде, чтобы потрясти молоко в желудке, а затем кликнула к ужину.

На льняной скатерти с ручным узором красовалась початая бутылка беленькой, исходила паром отварная картошка, а в центре стояло фаянсовое блюдо с квашеной капустой, пересыпанной клюквой и яблоками.

Я сглотнул слюну, а Саид поклонился хозяйке и примостился по левую руку ее.

– Ну, с богом! – сказала старуха и опрокинула свой шкалик.

Я последовал ее примеру, а потом накинул на горячую картошку и захрустел капустой, с насаждением давя во рту клюкву.

Саид внимательно отследил наш церемониал и залихватски тяпнул водку – тут же он закашлялся, и на глазах у него выступили слезы.

– Болезный какой, – сказала старуха и подложила ему еще капустки.

Басурманы совсем не пьют, пробормотал я с набитым ртом, их пророк любил женщин, но запретил вино.

Старуха с сочувствием посмотрела на Саида и покачала головой.

– Не до женщин ему, – сказала она, – а от водки одна польза: она дает крепость и телу, и душе, только меру блюди.

Я разлил и ей, и себе по второй и осведомился у Саида, поддержит ли он компанию.

Он ел, медленно пережевывая и дуя на картошку перед тем, как положить в рот.

– Да, – ответил он, – я поддержу компанию с этой старой леди, которая дает гостям напиток, отшибающий разум.

Я подумал, что водка пробудила в нем чувство юмора, и припомнил, как выгодно отличается Саади от нудных исламских пуристов, которые считают полногрудых гурий неотъемлемой принадлежностью рая, но не врубаются в метафизический смысл выпивки.

После второй стопки Саид оценил и вкус клюквы.

Я хотел было спросить его, уважает ли он меня, но решил не злоупотреблять русским колоритом.

Когда беленькая кончилась, а мы были еще далеки от кондиции, я сыновним взглядом обласкал старуху и сказал:

– Мать, этот арабский мужик никогда не видел небо в алмазах.

Она поняла с полуслова, накинула поверх ситцевого платка темный, из шерсти, к ночи становилось прохладно, вынула из-под подушки мягкую трехрублевку и вышла.

Я достал из рюкзака банку килек в томате, вскрыл ее кухонным ножом и зацепил краем глаза звезду в окошке – то мерцала вечерняя звезда пьяниц, благоприятствующая позднему укропу и похищению душ.

Старуха принесла бутылку и полбуханки черствого ржаного хлеба.

Мы выпили за ее здоровье, и Саид пожелал узнать имя хозяйки.

– Екатерина Васильевна, – ответила она, промокая углы губ платком.

Саид попробовал выговорить, но быстро сдался и с наплывающей, как слеза, невозмутимостью сказал, что это не имя, а гряда барханов, перед которой никнет усталый путник.

Я перевел его слова хозяйке, она прокашлялась, отпила маленький глоток и низким голосом запела «Позарастили стежки-дорожки».

Лицо ее разгладилось до величавости истукана, а руки она положила прямо перед собой, на колени.

К началу второго куплета в дело вступил женский хор за окном. Я выглянул – на завалинке, спиной к нам, сидели четыре старухи в темных платках и пели, зябко покачиваясь.

Я и в трезвом виде не могу спокойно слушать деревенские песни, я проклял свою затею и этих старух, вытягивающих мое утро, и заплакал как последний идиот, а старухи уже переметнулись к цыганскому романсу «Ах, не говорите мне о нем» и гуськом бередили ночь, расплескивая свои судьбы, как ведра с водой, и уходя все выше, в звездную темноту.

Потом и мы выбрались на улицу, по-братски допилиленькую,дохнули в холодок и запели шесть русских душ и одна арабская про то, как из-за острова на стрежень, на простор морской волны...

Проснулся я на сеновале от жажды, пересохло не только в глотке, но и в носу, и обвел глазами утро – сквозь щели в

стене пробивалось солнце, щекоча остатки прошлогоднего сена, неподалеку похрапывал Саид, страдальчески морщась и постанывая.

Хозяйку я нашел в огороде, где она полола морковь. Вид у нее был бодрый, и она наставительно сказала, что за выпивкой надо петь, алкоголь выходит со звуком, и наутро человек чистый как стекло.

Саида мы отпаивали капустным рассолом, и хозяйка повязала ему голову шерстяной тряпкой, смоченной с солью.

Так, с головной болью и хозяйским напутствием, он покинул двор, где надрался впервые в жизни, и последовал за мной по проселочной дороге, храня молчание, в котором я отражался от пяток до макушки.

Мы прогнали километров пятнадцать, чтобы очистить кровь и дыхание.

На привале я кипятил в жестянке от тушенки воду для чая и мельком взглянул на Саида, ломавшего сучья для костра.

Сначала я решил, что это просто шерстяная тряпка, которую он до сих пор не снял, придает ему сходство со старухой, потом вспомнил его фокус под Тарсусом и пригляделся внимательнее – да, певшая ночью старуха жестко, морщинисто проступала в его лице.

Я опешил и, запинаясь, спросил, как ему это удастся.

Он вздохнул, видно было, что ему не хватает воздуха, и ответил, что крестьянская леди имеет на это тело такие же права, как и Саид.

Он никогда не говорил о себе в третьем лице, и я отдаленно встревожился. Заварил чай покрепче, разыскал в рюкзаке слипшиеся ириски и положил все это перед ним на газете.

Он пил чай вприкуску, сидя на корточках, и менялся каждые полторы-две минуты – после старухи выплыл Диас, брезгливо оглядел жестянку, отхлебнул, сморщился, заметил меня и скрипуче спросил, почему у меня вид ишака, разглядывающего витрину, потом заторопился, выругался на португальском и уступил место незнакомому мне типу, который высокомерно смотрел поверх моей головы, переби-

рая пальцами воображаемые четки, жестянку в правой руке он воспринял как насекомое, гадливо сбросил ее на землю, разлив больше половины, мне пришлось долить из своей, он позвал кого-то, нетерпеливо, властно, и разгневался, не встретив повиновения, так, с выпученными глазами и раскрытым ртом, он исчез, оставив после себя въедливый запах пота, смешанный с дезодором.

Еще десятка полтора человек прошли передо мной, промелькнули Рышард и Лунаки, остальных я не знал, и эта человеческая свистопляска довела меня до тягостного ощущения, что я вот-вот вольюсь в их мельтешение и исчезну.

Тут Саид упал ничком. Я нагреб листьев, расстелил одеяло и перенес его, в этой скрюченной позе он проспал почти сутки, изредка я переворачивал его на другой бок.

Следующие два дня он был вял и рассеян, мы уже огибали озеро по его северному берегу, и белый блеск солнца, дрожащий то на воде, то на листьях осин и берез, делал обожженное лицо Саида все мягче и неприметнее.

Шагая впереди него по болотистому месту, я сказал ему, что одиночество на русском можно толковать как одинокое око, глаз, что одинокий и одноглазый по сути синонимы, случайно обретшие друг друга в дебрях грамматики.

Одиночества не существует, ответил Саид, оно недостижимо. Можно стать одноглазым, но невозможно стать одиноким.

Я молча обдумал его слова и вынужден был с ним согласиться – я не мог сформулировать для себя, что я понимаю под одиночеством, хотя помнил те мгновения, когда пронзительно ощущаешь, что ты один на один с жизнью, и никто не может принять полностью твою единственность, но это слишком поверхностный слой одиночества, чтобы говорить о нем всерьез, это внешняя иллюзия, в ловушке которой ты чтишь свою неповторимость.

– Какая польза человеку от собственной неповторимости! – риторически огласил я тишину Белого озера и спугнул серенькую пичугу, раскачивавшуюся на осоке.

Я спросил это по-русски, для себя и чтобы подразнить окрестности, которые к вечеру начали заволакиваться слабым туманом, я чувал, что к ночи начнется дождь, и это будет ответ озера на наши умствования и попытки спуститься в глубь человека дальше, чем это предполагается по его родству с муравьями, обычаем ужинать и третьим законом Ньютона, в котором воздается по заслугам за малейшую попытку дергаться.

Мы успели устроиться до дождя в мелком леске, натянув полиэтиленовую пленку между березами наподобие двускатной крыши.

Сидя на куче веток, прикрытых одеялом, мы грызли вяленую рыбку, которую выклянчили у осипшего рыбака, и слушали, как расходится дождь, все ближе подбирающийся к нашим ногам.

Только сейчас я уловил, что мы с Саидом наконец начали совпадать – стук капель по пленке и листьям, подступающая сырость овеяли нас как островок с взаимообязывающим местным самоуправлением, а тут я еще подсутился в качестве эха, вбирающего и усиливающего, разнося уже по моим окрестностям вживание Саида в холодную дождливую ночь.

Я сидел со стороны его пустой глазницы, которую он промывал утром и вечером. Тронутые сединой, жесткие, вьющиеся волосы бедуина, безглазый профиль над ватником, рыбная чешуя в скудной бородачке – он был нелеп и страшен по-детски, как страшилка, который своей несуразностью несет пальмовую ветвь.

Ты настырен, как бородавка, сказал он, шепелявя над рыбьим хвостом, когда ты появился под Тарсусом, все решили, что ты пойдешь по стопам Диаса, так ты подкидывался на его штучки, ты так паялся на нас, что чуть не вываливался нагишом из глазниц, а когда ты привязался ко мне, я впервые за долгое время молча посмеялся – я понял, что ты снова выудишь из меня человека.

Я подставил жестянку под край пленки, откуда неровными струями стекала вода, и помедлил, Саид перешел на обычный жаргон, то есть он опять увиливал, утаивал свою внутреннюю манеру общения.

– Ты не Саид! – в лоб сказал я.

– Был не Саид, – усмехнулся он, выковыривая пальцами чешую из бороды, – но ты опять наводишь меня на фокус.

Я хлебнул дождевую воду с привкусом листьев и замолчал, освобождая для него надвигающуюся ночь.

Из собственной тени и дыхания я слушал о том, как его с семи лет пленяла и мучила неувовимость матери – отец и братья были сопоставимы и не отменяли собою домашний распорядок, скорее они были его стражами и порождениями, домашними скорпионами, которых приручил закон семьи и общего стола, но подчинявшаяся им мать, хрупкая, изможденная, выходившая на люди с покрытым лицом и вообще утаивающая его даже в кругу близких, когда она целовала его, самого младшего, он ощущал, как материнское припадает к нему, а что-то другое, чему он не знал названия и цели, рвется в сторону, его мать вносила в их многолюдный крепкий быт неясность и незащитность, от которых резкий голос отца и взмах его широкопалой руки исстаивали к потолку, как дым очага.

Он взрослел, и мать удалялась, словно и ее возраст обретал значение и утяжелял ее загадку, хотя ее привязанность к нему все возрастала и уже вызывала добродушные усмешки старших мужчин.

А он любил ее отдельно от других, вне семьи и привычных забот, любовь выделяла его и делала чужаком, а он учился скрывать ее, подделываясь под братьев.

Потом отец отвез его в медресе, и, когда через два года он вернулся, недоучившись и ослушавшись отца, он не смог узнать в матери свою любовь – эта женщина, радостно встретившая его и суетившаяся у огня, была только матерью, он опоздал к ее неувовимости, и тогда он поклялся, откусив го-

рячую лепешку, которую она дрожащими пальцами поднесла к его рту, что он постарается не опоздать к самому себе.

Он ушел из дома. Сначала ему казалось, что юность никогда не кончится и что она прибывает волнами. Ее становилось все больше, и даже потеряв в драке глаз и отсидев полгода в александрийской тюрьме, он был полон ее благоухания и дрожал от счастья мотовства.

В Керманшахе старая сморщенная цыганка гадала ему по ладони и сказала, что он счастливец. Ткнув потухшей сигаретой в его пустую глазницу, она процокала языком – судьба взяла у тебя займы правый глаз, глаз тщеславия и жадности, оставшимся глазом ты спустишься в свое сердце и не найдешь там сокровищ, дай свободу своему глазу, пусть ищет дальше, она захихикала и обрызгала его слюной.

Он не стал вытирать, хотя ему попало на руки и на подбородок. Ты не брезглив, сказала она одобрительно. Это слюна бога, который забыл меня, она излечивает язвы и снимает горячку у рожениц, пусть она высохнет на твоей коже, по этим следам тебя догонит мудрость.

Еще лет десять после этого его носило как щепку, он спустил себя на волю обстоятельств и искал за ними тайный смысл, росчерк предопределения, которое принуждает вечность раскошелиться на личностный орнамент, но смысл увядал, как только он подбирался вплотную, и он понял, что непостижимое тоже требует дистанции, ничто не выдерживает встречи лицом к лицу.

Под Танжером, страдая от бессонницы и зубной боли, он вышел на проезжую часть, чтобы остановить первую попавшуюся машину, у самых колен его резко тормознул белый «пежо», и выскочил взбешенный молоденький француз, его девушка смотрела через стекло и ела шоколад, в конце концов они дали ему таблетку анальгина и уехали, а он селезенкой и горечью разжеванного анальгина ощутил, что надо бежать из человечества, пока не поздно – оно слишком очевидно, натуралистично и заплесневело в своем каноне.

Саид взял у меня жестянку и допил воду.

Дождь набрал силу, сырость уже щекотала ноздри, мы напялили на себя все что можно и прижались спинами друг к другу.

Шум дождя и влажность съедали голос Саида, звук был глухой и зависал рядом со мной.

Саид добрался до Тобрука, где безвыездно жил его старший знакомый Омар, часовщик, опаленный близостью бога и скрывающий это как знак отличия. Неделю провел с ним Саид, пытая его вдоль и поперек, подстерегая каждую подробность и вздох близости, пока Омар не потерял терпения, обозвав нечестивцем и шакалом, пожирающим сокровенное.

Выждав сутки, Саид снова явился к нему и спросил, куда возвращается Омар после того, как его затопляет ослепляющая белизна Аллаха, и всегда ли он находит дорогу назад?

По смиренной гримасе Омара, который прикрыл голову руками и попятился назад, Саид догадался, что ему достаточно фимиама, который воскуряет его плоть – Омар молчал под себя почти при каждой встрече с Всевышним, и его уже не колышет похоть и лесь энтропии, провоцирующей человека на историю отсебятины.

Саид обследовал еще несколько случаев религиозного восторга, выискивая наиболее погруженных, два с половиной года затратил он на это, обшарив весь арабский Восток, и с усталым бесстрастием констатировал, что ищущие бога простирают человеческое и забрасывают его сетью, чтобы уловить свое же, но обогащенное высшей иллюзией до любви и полного тайн смирения, опрокидывающих внутрь, к эпизоду, в котором точка отсчета неподвижна.

Наткнувшись на исфаханском базаре на Лунаки, который потешал зевак ссорой с полицейским, Саид пошел за ним, хотя полагал, что неожиданностей уже не бывает, что случай еще более ограничен, чем закономерности, но крамольная рожа этого толстяка меняла выражения со скоростью и размахом калейдоскопа, а проклятья, которые он обрушивал на голову растерявшегося полицейского, были полны такого девственного живительного цинизма, что Саид не устоял –

жажда блеснула в промасленном пакете с халвой, которым толстяк победоносно взмахнул напоследок.

Приметив Саида, толстяк на ходу несколько раз оборачивался и изображал руками нечто среднее между цыганским подрагиваньем грудью и кавказской лезгинкой.

Они были уже на окраине города, где глухие глиняные заборы озвучивали пружинистую походку толстяка. Завернув за очередной угол, Саид остолбенел – переулок был пуст, а на земле лежал пакетик с халвой.

Ясно было, что толстяк перемахнул через один из заборов, Саид сел перед пакетиком и загнусавил любовную кассиду, в которой сравнивал халву со слюной пророка, дарующей правоверным способность ясновидения.

Кто-то приземлился за его спиной, и зловещий голос возгласил:

– Несчастный! Ты сотворил себе кумира из халвы! Отныне все, к чему ты прикоснешься, будет превращаться в халву.

Саид запрокинул голову и увидел на фоне удаляющегося голубого неба рожу толстяка – она исходила печалью, и Саид понял, что ему – на фу-фу, на удачу, – доверили реликтовое состояние души.

Он задохнулся от неожиданности и неудобства запрокинутого горла. Тоска захлестнула его, и он сдался в ответ – никогда еще с такой откровенностью не бросали к его ногам свое смятение, он должен был выдержать.

Толстяк отпустил в него свой ужас – мгновенный ужас будней, бездна которых томительнее вечности и бессмысленнее жребия, бездна-кочевник, вытаптывающий пастбище человеческой жизни.

Наискосок пронзало белое солнце звенящую тишину переулка. Они опустили лица в бесшумную воду времени и пили сладостный прах своего уничтожения – поток уносил исходящую из них жизнь, и они возмещали ее прошлым, густым, медоносным прошлым, прикармливающим пчел забвения.

Толстяк повел его в баню, где они парились и стонали под руками дюжего банщика с кривым носом, а потом к себе в гостиницу.

Почти месяц провел с ним Саид, переезжая из города в город. Лунаки торговал драгоценными и поделочными камнями, не брезговал и операциями с валютой, везде у него были свои люди, с которыми он был щедр и делился сведениями, сомнительность которых считал пикантной приправой к блюду торговли.

Саида поражала безоглядность, с которой Лунаки отдавался каждому впечатлению, и дисциплина – как только впечатление было исчерпано, оно классифицировалось и спрягалось, бумеранг запускался по всему пространству и оповещал о новом завоевании.

Подвижность его психики завораживала Саида. Наблюдая, как толстяк носится по комнате, встряхивая в горсти сапфиры или опалы, болтает с посетителем, косится в окно, отдает распоряжения коридорному и непрерывно меняется в лице, Саид размышлял, совпадает ли толстяк с самой пронзительной вибрацией существования или оно лишь случайное отклонение, самооценку которого именно в этом.

Его единоборство с судьбой было настолько интимным и ежесекундным, что выплескивалось наружу, одна судьба – это слишком убого, возмущался он, отсутствие вариантов и разночтений доводило его до бешенства, он жаждал множественности и параллельности, по которым он мог бы носиться, закручивая противоречия и наращивая темп – вдруг на крутом вираже его выбросит рассыпной дробью, и он осуществится попаданием в смежные цели.

В Беджаие Лунаки арендовал шестиместный прогулочный катер, и с шиком и ветерком они домчались до острова Форментера, проведя в открытом море томительные сутки, в которых скорость передвижения поглощалась неизменностью водного пейзажа.

На острове, в уютной бухточке с песчаным пляжем, стояло несколько палаток, тут же слонялись заросшие мужики.

Лунаки представил Саида как одноглазое копье, летящее дальше цели, со всех сторон посыпались насмешливые уточнения, и Саида затянуло в водоворот компании, чему он не сопротивлялся, учуяв горячий след.

Разгул и блеск розыгрышей не ослепили его, покорило его другое – эти люди не боялись чувствовать и были лишены страха перед крайностями, точнее они использовали свой страх, как снежный спуск, чтобы нарастить скорость.

И все-таки к концу побывки он убедился, что самый крайний среди них – это он. Да, всем им тесно в рамках обычного человеческого, они отвергли традицию задираТЬ голову вверх в поисках непознаваемого и обживали малейшее его проявление вокрут, охотясь и отдаваясь, но все они ценили человечество как единственную возможность эксперимента и поле деятельности, и только он тащился выдраться за его пределы, подозревая, что действительность манипулирует человеком слишком панибратски – уважения он хотел от сущего, свободы на равных, без сюсюканья о человеке как мере вещей.

Под монотонный шум дождя я срастался с сыростью и спиной Саида, память услужливо подкинула вычитанное где-то, что покой – это состояние равновесия со средой, стало быть, я достиг покоя и дождливой ночи.

Смущавшее меня смолоду ощущение, что я живу не своей жизнью, сейчас приюхивалось к желанию Саида драпать из человечества – может быть цивилизация извращается с нашей помощью, нащупывая методом тыка иные способы рассеивания?

И я хриплым голосом задал ночной вопрос, бесстыдство которого могло бы ранить даже бабушку:

– И ты добился уважения?

Слышно было, как в озере плеснулась рыба. Сразу пахнуло открытым небом, и тяжелая высота дождя прощупалась насквозь.

– Не знаю, уважение ли это, – ответил Саид, дрогнув спиной, – чтобы не опоздать к себе, я почти отказался от себя,

если можно жить методом от противного, не исключено, что я близок к этому, во всяком случае теперь пропасть, в которую постоянно впадает реальность, идет мне навстречу.

Ранним утром, замерзшие и не выспавшиеся, мы сиганули голышом в озеро.

Потом бегали по берегу, чтобы обсохнуть, и, уже натягивая штаны, я спросил, зачем ему эти фокусы с перевоплощениями в других.

Обматывая шерстяную старухину тряпку вокруг горла и пододвигая ногой кеды, Саид пробормотал, что это его гомоздкий способ извиняться за бегство.

Когда мы обошли Белое озеро кругом, напоследок я за-тащил Саида в Ферапонтово, где в сухие дни посетителей пускали в маленький монастырь к фрескам Дионисия – их праздничность и удлиненно-нарядная легкость должны были, по моему замыслу, добавить к тихой прелести севера радостное мерцание древнерусского взгляда.

Саид внимательно осмотрел фрески, постоял у небольшого озера перед монастырем и поинтересовался, что делают здесь две женщины, живущие в брезентовой палатке у монастырской ограды.

Я уже познакомился с этими женщинами, принеся им два ведра воды из деревенского колодца, одна из них работала в крупном московском издательстве, вторая была пейзажистом, и приезжали они сюда третье лето подряд.

Обеим им было за сорок, в дождь они уходили ночевать в деревню, а в палатке так, баловались природой, как сказала первая, Татьяна, не очень ловкая в движениях, но с мягким голосом и гостеприимной манерой чуть-чуть отодвигаться от собеседника, как бы уступая ему часть своего, уже настоящего домашнего духом пространства.

С туристской бесцеремонностью я подвел Саида к их ко-стру, который они разводили в полукилометре от палатки, на самом берегу озера. Здесь были все походные приспособления, сделанные опытной рукой, чувствовалось, что не

одно поколение рыбаков варганило на этом пяточке тройную уху.

Дамы варили картофельный супчик с говяжьей тушеной. Чтобы расплатиться восточным колоритом за трапезу, я наскоро сочинил байку о том, что Саид суфий из Иордании, мистик крайнего толка, алчущий озарения в северных широтах – доказательство всеприсутствия Аллаха, его влечет к себе феномен интеллигентной русской женщины, слух о коем просочился в рафинированные исламские круги.

Плетя все это, я думал, что не так уж и далек от истины – как бы ни рыпался Саид, пытаюсь выпрыгнуть из рядов человеческих, все-таки инерция исламского воспитания вынесла его к палатке этих женщин, солидных, явно замужних и почему-то ютящихся у ограды монастыря, превращенного в музей, возможно, он решил, что это наши коллеги по бродяжничеству, только в добропорядочном женском варианте.

Дамы пленились, и Галина, плотная брюнетка с легкой куцеравостью, сказала, что у суфия жесткий очерк лица, который стягивается зеленовато-кофейным оттенком кожи, если мы задержимся здесь, она попробует сделать его портрет, хотя и не особенно сильна в этом.

Я оставил Саида в неведении относительно его мистической окраски и перевел только, что Галина жаждет запечатлеть нездешний всплеск его физиономии.

Очарованному страннику пустыни досталась почти вся гуща и ржаная горбушка. Я хлебал свою долю из эмалированной кружки, трепался и наблюдал, как Саид в своем одноголазном молчании отцеживает эту женскую дружбу.

Дни стояли безветренные, пасмурные, рассеянный беле-сый свет скользил и переносил обманчивое тепло от озера к монастырскому двору.

Женщины уступили нам палатку и уходили на ночь в деревню, а по утрам они будили нас, постукивая ложкой о кружку, что означало, что пора готовить костер для чая.

После завтрака Галина сажала Саида перед мольбертом, и начиналось нечто странное, напоминающее, как она жало-

валась, погоню за вчерашним днем, который норовит стать то вторником, то пятницей.

Лицо Саида ускользало и заманивало ее на чужую территорию. У него что-то с психикой, озабоченно заметила она после первого сеанса, моя кисти, очень неустойчивое выражение лица, все черты постоянно смещаются.

На следующий день, когда мы с Татьяной вернулись с корзиной грибов, Саида уже не было, а Галина сидела спиной к мольберту и задумчиво ломала макароны в пластмассовую миску.

Татьяна сразу подошла к мольберту и спустя минуту жестом подозвала меня.

В глубине полотна восседал Саид, с лица которого одноглазо смотрела на нас зыбкая Галина, знакомо прикусывая нижнюю губу.

Услышав наше сдержанное хихиканье, она еще раз всмотрелась в дело своих рук и устало выговорила:

– Я думала, может, мне померещилось... Ну, что ж, будем считать, что это мой автопортрет в мужской одежде.

Саид спал в палатке.

К вечеру он выполз и сел с нами у костра. Чай был из лечебных трав, со смородиновым листом, его слабый аромат смешивался у ноздрей с сыростью наступающей ночи.

Потрескивал костер, и влажно дышало рядом озеро.

Я припомнил, что за последние два дня Саид не сказал ни слова. В отблесках костра он смотрелся горбоносым деревянным божком, отполированная поверхность которого поглощает древнее движение ночи и любопытство толпы, возбужденной огнем и тайной поклонения.

Первой замолчала Татьяна и сразу похорошела – женственно округлились скулы, рот стал выпуклым и перенял у взгляда способность мерцать и устраивать засады.

Галина, плеснувшая себе свежего кипятка, сонно, с зевком, сказала, что рыбаки обещали завтра ветер с дождем, и услышала свой голос – низкий, с темно-малиновым «до»,

по-московски акающий; склонив голову набок, она уставилась в костер и распустила густые брови в стороны.

Нежнейшее шаловливое молчание бабочки трепетало между нами, молчание-паучок, ткущее росу и близость, молчание-крик кошки, крадущейся по карнизу, от себя я добавил резную тень пальмы и вновь найденное одиночество, Саид не прав, можно стать одиноким и великим, открывая одиночество, как звездное небо, – ах, как явственно пахнуло бессмертием, донесся вздох вечности, и молчание-любовь подняло над языками костра нашу общую душу – юную, тотчас же взметнувшуюся вверх и растаявшую в темноте.

Благоухание печали объединило нас в крохотный народ, родина которого огонь и ночная тьма.

Утром мы простились с женщинами лаконично, они смотрели нам вслед, и, черт меня подери, если я не различал спиюю человеческую прелесть каждой из них.

На вологодском вокзале, ожидая поезд, мы слонялись под навесом, так как предсказание рыбаков исполнилось, и шел косой, с порывами, дождь, Саид, нахохлившись, покашливал и проронил, что у этих женщин неплохой запас объемности, они дотягивают и сюда.

Разминая суставы расхлябанной походкой сухумского ловеласа, я объяснял ему истоки образованной русской женщины, справился с пушкинской героиней, но застрял на тургеневской девушке. Когда я совсем заплутал, подали поезд, и, пропустив меня вперед в суетоке пассажиров, Саид пробубнил мне на ухо, что наконец понял – это девственность, которую русские использовали как форточку, с ее помощью проветривали общество и выглядывали в мужчину, проверяя, готов ли он к переменам.

Теперь, вспоминая наш северный вояж, я испытываю доверие к озерной тишине, которая была барометром и учителем, щедрым на подсказку, Саид в воспоминаниях действует как голод, и так же не дается на ощупь, но изредка оглядывается на меня, и в веселые минуты я сочетаю его метафизическим браком с тургеневской девственницей – их потомство

флиртует с действительностью и подмигивает ей в сторону теневого прогресса, идущего путями риска и кайфа.

В середине 80-х наше сообщество обрело второе дыхание – пришли молодые бродяги, понтовые, в одежде с собственного плеча, залпом осушили наш опыт и, нетерпеливо перебирая ногами, двинулись дальше.

Они оказались игривее нас и увлеклись пародией.

23-летний Вилли, пижон и меломан, которого отец ребенком возил на концерты электронной музыки в Западный Берлин, собрал нас под Гамбургом, чтобы однодневное повторить гессевское паломничество на Восток – сам он исполнял роль Лео, но вместо святой хартии Братства в его мешке лежал пустой листок, вырванный из записной книжки.

Из старой гвардии под Гамбург прибыли не все, но те, что явились, были настроены скептически и подыгрывали молодым из чувства локтя, еще никто не въехал в рай на пародии, бурчал Патрик, а Луи обозвал это изысканной разновидностью паразитизма.

Впрочем, всем хотелось чего-то новенького, а воодушевление молодых, которые рассматривали эту пародию как признание в любви и в то же время прогулку независимости – мы должны были отшагать повесть Гессе в качестве профессионалов, уже само по себе развлекало, и в тайне от них, по безмолвному джентльменскому соглашению, мы пародировали их восторг неофитов и резвились на опушке леса, избранной отправным пунктом.

Когда мы двинулись нестройной процессией по маршруту, выбранному Вилли, под щебетанье птиц и в утренней прохладе, я поймал себя на ощущении, что это уже было – такие мгновенные узнавания не так уж редки, и я не ищу в них мистической подоплеки, но сейчас я дал увлечь себя и погрузился в тихое благоговение, которое заполняло жизнь Гессе и доверчиво тыкалось в души его читателей.

Уплотнив историю паломничества Братства до одного дня, Вилли задал бешеный темп, и пародия вылилась непроизвольно, ибо мы сами оказались не готовы, даже Вилли –

роль слуги потребовала такой глубины, из которой он не успевал выбраться, чтобы направлять события по сценарию, и скоро все пошло самотеком.

Своевольное целомудрие автора бродило среди нас, ускользая в боковые тропинки и возвращаясь в интонации идущего сзади; мы взбирались на холм, грезя о единстве, и спускались в долину горсткой чужаков; магия личного пространства меняла оптику на каждом повороте, паломничество дробилось и разветвлялось, иногда мы шагали вспять или на месте, в плену движения, пропускавшего содержимое окрестностей как встречную процессию.

День вокруг нас раздвигался тенистой жарой июля – и прохлады встречалась в нем, я брел, переложив зрение на общую дистанцию и взвешивая себя на весах Востока и Запада, запустив весы, как воздушного змея, чтобы бежать за ним – яшмовая чаша любви и перевоплощения таяла в белых перистых облаках, как европа кралась на лотосоподобных цыпочках, ловя свое отражение под лодкой китайца, удившего рыбу, и как похищала она восток, лакируя его раскосую жестокость и выманивая многочисленных богов; пока я продирался сквозь все это, Лео объявил привал, и я вспомнил, что утро начиналось для меня с благоговения, и я не смог удержать его.

Лео-Вилли полыхал румянцем от ходьбы и был несчастен, оказывая нам услуги, потому что незаметность его выпирала и кружила ему голову.

Рышард, который задыхался на подъемах, а сейчас допивал кофе, сбив на затылок зеленую кепочку, подмигнул Патрику и объявил, что старая гвардия прекращает эти детские игры, слишком серьезен настрой ведущего, этак мы все скоро покроемся плесенью.

Молодые зашумели, и голубоглазый Мишель воскликнул, что пародия и должна быть серьезной, ибо мы должны увязнуть в ней с головою.

Да, поддержал его Кент-американец, помешавшийся на Кастанеде, наша интерпретация еще не стала достоверной,

ни у кого из нас не хватило мужества влюбиться в это паломничество.

Хорошо, уступил Рышард в стертой улыбке, мы пойдем вместе с вами дальше, но мы начинаем паломничество на Запад.

Вилли так юношески опешил, так подался вперед, что я замер от удовольствия – человеческое в нем выплеснулось и зависло брызгами перед Рышардом.

Стоп, сказал Луи и мефистофельским жестом выбросил руку вперед, списывая это мгновение в вечность.

Как говорят в России в таких случаях, ангел пролетел – тишина выдохнула общей чистотой помыслов, и помимо физической тишины проступил безмолвный характер пространства, когда больше чем один человек уже не смущает своей многочисленностью.

Вилли упаковывал вещи, а я дожевывал ноздреватый швейцарский сыр и думал, что в сущности задача уже выполнена – разве не для таких мгновенных внутренних встреч собираемся мы ежегодно, когда порывом жизни вдруг срывает привычное, и мы встречаемся на чужбине – да, мы пытаемся ее обжить, но человеческой судьбы на это, как правило, не хватает.

Мы опять шли, обходя аккуратную деревеньку из камня и черепицы, а я искушался внезапным холодком – а встретились ли мы хоть раз по-настоящему, вдруг это просто миг высокого эксгибиционизма, когда окружающее теряет невинность, а мы растрачиваем свою уязвимость на обычный катарсис?

Я наклонился к Луи, который плелся рядом, и тихо искусил его тоже.

Луи в последние годы заматерел и обзавелся круглой рядной лысиной на макушке. В Париже у него росла дочь, на которой он каждые два месяца испытывал отцовские чары, и не без пользы для себя – как-то с гримасой нашкодившего лицеиста он сказал, что сын дается мужчине для продолжения рода, а дочь – для пиратства в опасных водах.

Его бледно-смуглая кожа задубела, и смотрел он теперь пронзительнее и вскользь, как бы страшивая добычу в ладонь.

И сейчас он отсек от моего лица видимое только ему и, помедлив, ответил, что встретиться нельзя только с самим собой, ибо ты просто не узнаешь истинного себя, а встретиться с другими, пожалуй, можно, во всяком случае обольщение такой встречей ему знакомо.

Я вспомнил его гибкое тело в Помпеях и нагую грацию, с которой он расхаживал по кровле – в те времена луна охотно ночевала в нем, он и теперь бы пустил ее на ночлег, но уже как случайную гостью, опоздавшую к любовным играм.

Между тем молодые, которые шествовали впереди, старались вовсю – даже по их спинам было видно, как они пытаются слиться с мудрым лукавством окрестностей, уловить пылцу противоречий, чтобы сделать волшебство ручным, осязаемым, они хотели привить ему постоянство.

Они зывали к горизонту, подбивая его на миражи и нежное фиглярство, их ищущие взгляды будоражили дневную плотность света, от жеманной дикости вороны, шархнувшей с куста, на них повеяло тайной, и они вытянули шеи вслед вороне, они сбивались в паломничество, как в стаю, даже брошенная вполголоса реплика Патрика, что наши сосунки добиваются восхищения от местности, не помешала нам, искушенным преторианцам, признать, что молодые не зря затеяли возню.

Штефан, до того витавший в облаках, подтянулся и сказал, что пора тряхнуть стариной.

Не так уж трудно нам было втянуться в пешую дисциплину паломничества и связать себя узами братства и духа. Правда, нас не томила жажда чуда, но мы ценили ее в других – Вилли как раз переходил речушку, и заботливость, с которой он мостил брод, подтаскивая камни, его мокрая одежда и сияющие глаза завораживали близость воздуха, наделяя его колдовством преданий и способностью превращать дракона в ученого принца или странствующего рыцаря.

Вдали показался замок, темно-серый, массивный, он был нам не по пути, но соперничал на расстоянии, встряхивая взгляды и подпирая небо остроконечной башней.

Наш топот тревожил средневековые тени деревьев, и, когда кто-нибудь отходил в сторону по нужде, не было уверенности, что он вернется, а когда он все-таки возвращался, его принимали с иронией – он ли это, или его успели подменить и под его личиной в наши ряды пробрался кудесник, чтобы отвлечь нас или пустить по ложному следу.

Вилли менял направление и сверялся с наручным компасом. К концу дня он становился все более длинноногим и тощим, а сумерки встретил исхудавший счастливец, истративший себя до блаженного ощущения полноты.

Когда он объявил последний привал, Рышард милостиво похлопал его по плечу и проронил, что возвышенность его служения одухотворила не только пройденный маршрут, но и всю Европу, каковая теперь лежит в обмороке восточной безмятежности.

И нуждается в здравомыслящей оплеухе, добавил Патрик, подрагивая полуседым конским хвостом, который он начал носить одним из первых.

Ночь была темной и филигранной – мы изощрили темноту этой крохотной, еле обозначенной долины яростью наших споров.

Электрический фонарик покачивался на нижней ветке липы, подсвечивая остатки съестных припасов. Старая гвардия нагнетала атмосферу, искусно пользуясь многолетней спайкой, и травила, как лисицу, попытки молодых доказать, что наш поход был не только смехотворным шутовством, но и бросил в общую копилку некий опыт, позволяющий дрейфовать дальше.

Вилли молчал, откинувшись на рюкзак и закинув ногу за ногу, видно было открытым текстом, что ему хорошо и не до нас – он отчалил, и темнота была ему океаном.

Дрожавший от возбуждения Мишель выкрикнул, что, когда мы шли, не нужно было слов, все и так ощущали, как

временами соскальзывают в процессию, которая движется помимо нас и не особо в нас нуждается, и мы допущены не по одиночке, а потому что шли скопом, вместе, умножив и утяжелив движение до невозможности отказать нам.

Мы покатались со смеху, так он был трогателен и не-леп – горбоносый, с острым кадыком, торчавший из своей клетчатой ковбойки с угловатостью огородного пугала, которое страшит воробьев и закликает дожди.

Наконец слышу хоть что-то дельное, заявил Луи, отдышавшийся раньше других, из вас надо выбивать смысл палкой, как пыль из ковра.

Штефан, деликатность которого лишь настаивалась в наших перепалках, негромко сказал, смаргивая свое замечание куда-то вбок, что напрасно молодые пытаются отсидеться в молчании, иногда нужно проговариваться – и вовремя себя послушать.

Когда все вповалку заснули, я еще с полчаса ходил поодаль, вспоминая, как в юности залез на магнолию в разгаре цветов и просидел на верхушке всю ночь, обмирая от запаха и восторга, что я один, – а луна царила над каждым листком, и светло было до умопомрачения, можно было разглядеть царапину на колене – такую жизнь я еще не знал, и ее ночное лицо мерцало со всех сторон, а сейчас та, далекая ночь и сегодняшняя снюхались и творили свое темно-сияющее непотребство на моих губах, будто готовили к поцелуям, вождение отрока, еще не знавшего женской кожи, бродило во мне, и, растроганно вдыхая его, я прощался с молодостью – она сделала свое дело, возлюбленная встала с ложа.

Утром мы вышли на автобан, оказавшийся в километре от нашей ночевки, начали разъезжаться и расходиться, и Вилли спросил, нельзя ли ему присоединиться ко мне.

Через две недели мы с ним стояли на берегу озера Комо, которое я предвкушал много лет, и одобряли вкус Стендаля, выбравшего эти воды для лодочных прогулок гордой герцогини Сансеверина с чахнувшим от любви племянником.

После Белого озера, еще сохранившего значительную часть берегов пустынными, Комо ослепляло старинным изяществом вилл, олеандры здесь пахли так же, как на сучумской набережной, а белые ступени, спускавшиеся к воде, возводили негу и безделье в созерцательный принцип, которому я собирался посвятить ближайшие дни.

К черту все, включая Вилли! Я буду спать под оливами, которых здесь достаточно для целой шайки мечтательных проходимцев, и грезить ни о чем.

Я устал от себя и от непрерывности жизни. Последнее время я начал подозревать жизнь в том, что она слишком оттягивается за наш счет, оставляя человеку лишь крохи от пиршественного стола.

Комо истаивало в праздник, и зеркальный блеск его вод придавал зною мягкость и отдаленность, которой поддакивали вершины Альп. Я скитался по окрестностям, разминая пальцами ног землю, тело болталось в просторах хлопчатобумажной ткани и впитывало арки ворот и беседок, голоса и музыку, доносившиеся с террас, оно, это поджарое тело, роскошествовало и, как летописец, собирало местные погодные сплетни.

Я выезжал в самый зной на лодке и замирал подальше от берега.

Свет, бьющий отовсюду, был безжалостен, и с его помощью я устраивал разборки – ощущение не своей жизни давно ушло, я разработал свою стезю, разносил ее, и теперь «своя» жизнь шла мощным потоком, края которого все расширялись, но сам я внутри этого потока терял опору – жизнь как бы отступала на второй план, а освобождавшееся пространство не заполнялось, и я гадал, что это – может быть, я отказываюсь от будущего, потому что оно должно лечь в узкие рамки моего личного, когда оно еще не мое, оно беспредельно и поражает, становясь моим, оно выхолащивает свою непомерность, и на фиг тогда оно нужно.

Впервые зрение и слух, физиология и навыки тела становились моими врагами – они спешили засвидетельствовать

свою вернопопданность будущему, глаза ловили мелькание стрекоз над водой и знойный росчерк береговой линии, раковины ушей втягивали плеск воды у бортов лодки, желудок переваривал хлеб с луком, чтобы разогнать их силу по организму, кровь пила воздух через легкие, ягодицы и спина ощущали жесткость дерева, все они непрерывно осваивали будущее, не замечая, что я пытаюсь отстать и притормозить.

Иногда я смеялся тихим клекотом безумца, представляя, как жизнь идет вперед без меня, и зная, что это невозможно – плевать ей на твои потуги, она все равно тащит за собой.

И все-таки дистанция между нею и мной уже была – внутри, пусть не на равных, но я завоевал зазор, в котором дисциплинировал отчуждение и нацеливал его на полновесную свободу.

Я совсем забросил Вилли и как-то вечером обнаружил, что он не появляется уже вторые сутки. Мешок его лежал в нашем убежище, и я отправился на розыски.

К полуночи, отшагав километров десять, я с трудом нашел его, и то по голосу – с одного из дальних холмов доносилось пение.

Чтобы не спугнуть его, я подкрадывался, как к оленю – в обход и с подветренной стороны.

Вилли стоял на большом камне, лицом к озеру, которое освещалось с юго-запада ущербной луной. Расставив ноги и засунув руки в карманы шорт, он слегка покачивался и время от времени пел.

Я залег в ложбинку. Отчасти я был виноват перед Вилли, все они любили шататься со мной, потому что, как однажды насмешливо заметил Луи, я создавал вокруг спутника комфортную среду обитания, в тебе можно нежиться, как в постели, добавил Луи, и Вилли наверняка клюнул на это, но попал не в струю.

Он пропел еще добрых два часа. Пока не сорвал голос. Когда он пел по-немецки, я отдыхал, пялясь на звезды, ибо ни черта не понимал. Когда он переходил на английский,

красота его возлюбленного трепетала вокруг и вызывала звездный дождь – Вилли путешествовал по ее невесомым, роняющим жасмин лабиринтам и тосковал, призывая душу рыжекудрой бестии с нежными провалами щек откликнуться и подать знак, что она помнит мучительное наслаждение, в котором они зависли, когда их разделяла решетка балкона и взгляды присутствующих, среди которых были родители возлюбленного он, Вилли, околачивался вокруг ресторана и их парадного ужина, его нежность льнула к хрупкому запястью друга, когда тот поднимал бокал с шампанским. Вилли благословлял темноту, которая сделала его незаметным и позволила слиться со стволом дерева, под защитой которого он мог замереть и исходить любовью и страхом, что за болтовней и выпивкой друг забудет послать ему мгновенную вспышку тоски из-под ресниц.

На арабском Вилли становился страстным до непристойного и властвовал над телом друга, обнажая его интимные тайны и податливость ласкам.

Пышность его сравнений почти дымилась в ночной свежести, и я с интересом следил за тем, как вольготно чувствует себя европеец в роли восточного сластолюбца.

Когда мы возвращались назад, я крался сзади, как тать, сожалея, что немецкая часть этих любовных излияний осталась для меня за семью печатями – возможно, что на родном языке, склонном к метафизике, Вилли воспел возвышенность их связи, уходящей корнями в привычку сущего дожделеть к подобному.

Два пасмурно-объемных дня раннего августа мы провели вместе.

Такое мягкое, наводящее предметы на внутреннюю глупину освещение редко бывает на юге в летние месяцы – мраморные особняки и кипарисы скользили навстречу озеру, отсвечивая изнутри собственной неподвижной вечностью, ее слабым запахом хвои и теплого камня, древний инстинкт воды прорезал крылом мерцающие и матовые поверхности и увлажнял звуки, отдаляя их происхождение.

На Вилли эта обволакивающая жара с сиреневыми прожилками действовала усыпляюще, двигался он вяло, но в чувственно-ленивых жестах сквозила свобода молодого тела, еще немного нелюдимая, но сладостная, упругая на ощупь свобода-мускул, и август, как виночерпий, подносил мне этот чужой напиток, а я любовался и исходил жалостью.

Мне уже было знакомо совершенство, с которым обладание разрушает – языческая мощь молодости лишь зачаровывает разрушение и делает его еще опаснее. Никто еще не выбрался из молодости невредимым.

Я баловал Вилли, побуждая воздух напропалую кокетничать с ним – я учил его кожу отыскивать янтарное упоение полуднем, чередуя солнечный ожог с прыжком в воду, а потом погружаясь в тень оливы, шелестящая вязь которой дробит лучи и щекочет тело; я открыл ему пристрастие кипариса к юношам и ночные забавы озера, которое вербует неофитов в свое темное одиночество, я влил ему звездное небо, как пощечину, заставляющую краснеть от невежества и бледнеть от священного ужаса, а под утро чуть не свел его с ума, заставляя идентифицироваться с самим собой, что под силу лишь самым подготовленным.

Когда он лежал на песке, смежив веки и восстанавливая дыхание, я рассказал ему о том, как последний раз был с женщиной, которую нашел для любви. Мы знали друг друга уже год, но я не торопил события, ибо и так все было ясно, с первого обоюдного взгляда, который слишком отдавал обреченностью на успех.

Что за этим худощавым лицом с темными полукружьями глаз и четким ртом сжат в пружину характер, угадывалось сразу же, но влекло меня не только это – ее манера смотреть и прислушиваться выдавала ценительницу наслаждения, зато прямоносый профиль с чуть выпяченной нижней губой был беззащитен, должно быть, она чувствовала это и потому поворачивалась к собеседнику напрямик.

Она тоже не искала сближения, позволяя сквознякам и ветру заполнять наши случайные встречи. Когда мы стал-

кивались в толпе, ее ухоженная рука с узким нефритовым кольцом делала невольный отстраняющий жест, она тут же убирала руку за спину, и это была единственная слабость, которой позволялось обезоруживать меня и привлекать внимание к удлинненным пальцам с блестящими перламутровыми ногтями.

В конце концов, почти не сговариваясь, мы уехали в Сочи и сняли номер с видом на море.

Несколько дней мы не вылезали из постели, только по утрам я спускался в город за едой, и, возвращаясь, заставлял ее на балконе с накинутым на плечи полотенцем.

Это смугло-розовое тело с ложбинкой над крестцом и прямым стеблем позвоночника ускользало вверх, под банное фиалковое полотенце, и по-утреннему беспощадная синь моря увлекала его за собой, как щепку, и каждый раз мне приходилось рывком уносить его назад, в комнату, в близину постели, ощущая на ходу трепещущие кончики грудей и тяжесть бедер.

В последний вечер мы устроились в шезлонге, грозящем порваться под нашей тяжестью – она лежала в моих объятиях, свернувшись, дерзостно и доверчиво прижав свои щиколотки к моему оружию, и я, полный изнеможения и покоя, разворачивал нашу наготу в дар сумеркам.

Наверное, я коротко вздремнул, потому что вдруг пришлось вспомнить свое отношение к шезлонгу и тихо дышащему чужому телу – именно память, въедливая до мелочей, подставила мне ножку, и я начал падать уже за ограду подробностей, в самое естество женщины, которая шевельнулась и замерла нечаянно распахнутой дверцей – я осязал плоть чужого существования, стремительно терявшего признаки пола и разверзающегося подо мной все глубже, я ужасался своему падению и темной мгновенной удаче, которая низвергла меня в неведомое, я застонал от наслаждения, что вот-вот буду присутствовать при сотворении мира, при зачати той оглушающей плотности, из которой произошел выброс души.

И тут я услышал крик, еле слышимый крик вещества на грани распада, за ним хлынула дрожь, мелкая, раскачивающая, и передалась мне, никогда я не был так близок к исчезновению в другое, и я отступил, неся потери и предавая себя.

Когда мы по одиночке вернулись в комнату, чтобы заказать чаю к булочкам с марципанами, я уже знал, что любовь осталась за бортом, и, хотя интимное еще оплавляло наши прикосновения, эта женщина стала мне ближе сестры, тяжелее родственной крови, вожадель к ней было кощунственнее нарциссизма – я извальялся в ее сутеобразующем прахе, спугнул смутные тени и теперь сам кровоточил от жестокого своего любопытства, оставив в чужих дебрях клочки шерсти и слепоту самца.

Я обрушил эту историю на Вилли и сразу же, в темпе, обучил его технике схождения в многоязычие плоти, которую Рышард вывез из Индии.

Я перенасытил эти удвоенные сутки, виртуозно проработал их мифологию – Вилли получил свое сполна, я и сам под конец ошалел и подвис в воздухе, как испарение озера.

В следующие годы мы пародировали хайдеггеровскую тоску по неуловимому, теорию относительности, избравшую Эйнштейна местом тайных свиданий с эмпирической шушерой, доставившую нам много хлопот израненную целостность человека Бубера, а также способность судьбы убеждать нас в том, что все к лучшему.

Семен уже давно не появлялся на наших встречах и новую поросль знал только с моих слов, но бодрости не терял и каждое лето ездил на Байкал, где под гитару кантовался шустрый сибирский молодняк, из которого Семен отобрал несколько человек и полегоньку втравливал их в грех самопознания.

Там же он и умер, у костра, в ночь на яблочный Спас, смолкнув на полуслове и прислонившись к сидящему рядом.

Они схоронили его на высоком берегу, ногами к воде, и забросали могилу яблоками, опустошив для этого ближайший поселок. Осенью того же года один из них, русоборо-

дый Игнат, приезжал ко мне и сказал, что Семен был готов к смерти и просил лишь не делать из этого проблему, прикопав его где-нибудь поблизости.

Самый юный из байкальского помета Семена, девятнадцатилетний Андрей, по-детски ошеломленный открывшейся ему недавно силой собственных противоречий, перекочевал ко мне и летом 90-го, впервые представ перед всей компанией на развалинах Пальмиры, где мы пытались уследить за душой Кортни, обыгрывавшей двусмысленность как фетиш потаенного и бодрствующего, столь же по-детски прикупил нас, предложив воссоздать Тайную вечерю.

Патрик захохотал от восторга, а Кортни, появившийся после девятилетнего перерыва, изжелта-седой, с величественной складкой у рта, сдержанно, кончиками пальцев, поаплодировал.

В тот же день мы отбыли в Иерусалим, разбившись на группки, чтобы не привлекать лишнего внимания.

Молодые рванули вперед, взяв на себя обустройство, остальные потянулись не спеша, мы с Лунаки и Эриком задержались на сутки в Тадморе, где двоюродный брат Лунаки выдавал замуж перезрелую дочь. Лунаки преподнес жемчужное ожерелье племяннице и тонконогого бегового верблюда ее жениху, после столь щедрого подарка и изобильного стола нас отправили в Иерусалим в свадебном лимузине.

Молодым удалось снять домик на юго-востоке Иерусалима. Они вынесли лишнюю мебель во вторую комнату, выскребли полы и развесили по углам купленные на рынке пучки сухой травы.

Когда мы собрались, выяснилось, что нас девятнадцать человек. Нашлись педанты, требовавшие выдержать точное число. Тогда я предложил поставить напротив еще один стол и провести параллельно две Тайных вечера – в одной будут участвовать двенадцать человек, в другой – семь.

– Почему двенадцать, – спросил Мишель, суетившийся больше других, – ведь их было тринадцать.

Я ответил, что место Иисуса за обоими столами должно пустовать, во всяком случае, внешне оно не должно быть занято, ах, как хорошо, сразу поддержал меня Андрей, и по заблестевшим глазам Мишеля я понял, что пространство комнаты обвилось вокруг него, прильнуло к груди и разнесло по углам его отклик, в котором дрожали листья.

Пока устанавливали второй стол и одалживали у соседей стулья, Мишель сбежал за мацой к женщине, которая слыла в квартале мастерицей по этой части, и вернулся с целой горкой хрустящих желтоватых пластинок.

Рассаживались мы в десятом часу вечера, когда сумерки уже сгустились и поступающие через окна запахи асфальта и высаженной в дворовом бордюре резеды тянулись к двум узким светильникам, укрепленных на противоположных стенах.

Молодые уселись за основной стол, вино разливал Патрик, нарекшийся Петром, и Кортни, по-джентельменски принявший иго Иуды-казначея, подставляя свою чашу, попросил плеснуть ему лишь на самое дно. За нашим столом не было главных действующих лиц, мы выбрали безмолвных затененных апостолов, мы были фрагментарным зеркалом происходящего за тем столом и в то же время колыхались в некоем единстве, отстаивающем свое право на трапезу и негромкий разговор посвященных.

Никто не злоупотреблял евангельским текстом, скорее, пытались пройти по его краю.

Никто не преломлял хлеба и не прикасался к чаше Иисуса, оставляя ритуалу возможность осуществиться невидимо, без явных свидетелей, и потянулись за собой.

Я не заметил, когда хлынуло молчание, потому что смотрел в окно на темнеющий вдали холм и смутно думал, бывает ли у окрестностей зрелость, час пик, совпадающий с человеком, и в этот миг молчание подхватило меня – в нем было еще просторнее, чем под открытым небом, и прошлое в нем было юношески свежо и легкомысленно, ловкими пальцами оно омыло мне ноги и вытерло полотенцем, еще влаж-

ным от ног сидящего слева Эрика, и оно же задиристо закричало петухом, так что я вздрогнул и поторопился предать отсутствующего дважды, пропустив сквозь себя всю толпу смятенных апостолов, вдруг я вспомнил, что не использовал поцелуя, и помчался назад, но вечера за основным столом разлилась голубино-салатовым светом, и взгляды всех обратились к пустому месту, дуновение прошло за нашими спинами, теперь осветился и наш стол, послышался звук льющейся воды или вина, и кроткий вздох опрокинул оба стола в бесшумно закрывающуюся книгу, пролистнувшую нас и оставившую отваленный камень и пелены на земле.

Утром, за завтраком, мы машинально расселись в том же порядке, что и накануне, и Кортни, не выспавшийся на продавленном диване, который ему уступили как старшему, с подавленным зевком заметил, что евангельская дисциплина миссионерствует в нашей подкорке.

Молодые завтракали с аппетитом. Утро жизни, возгласил Мишель с полным ртом, начинается с помидорного салата и чая «Липтон», это продукты распада христианской цивилизации, застегнувшей вознесение на догматические пуговицы. Остальные тут же подкинулись и понесли восхитительно-богословский вздор, нащупывая им все удаляющиеся точки опоры и бравируя своим провисанием в пустоте, которая заявила о себе вчера столь чудесным образом.

За нашим столом жевали молча и вдумчиво.

Я шепнул Эрику, что обозначилось соперничество двух Тайных вечереЙ – одна лидирует в нежной ортодоксальности, одобренной вольнодумством и помидорами, другая же тихой сапой раздает милостыню в тени и высвобождает инерцию из явного, чтобы в пещерно-зеркальной темноте отразиться неровной поступью Лазаря, который заново учится ходить и дотрагиваться до масляных деревьев.

Иерусалим провожал нас в знойном всеоружии своей пыльной уличной истины, мы разбредались, и я маялся головной болью и чрезмерной пространственностью зрения – взгляд назойливо цеплял подробности горизонта и менял их

местами с тем, что маячило перед самым носом, пространство приглашало в свои игры, словно онтологическая возня еще продолжается, скорее всего, так оно и есть, но ввязаться в это сейчас, когда я только начал прикармливать трансцендентное, как бездомную кошку, слишком накладно – антропологические забавы сущего приучают экономить энергию.

Ближайшее лето я провел дома, маме вырезали желчный пузырь, и мы с сестрой отхаживали ее. Тогда же меня навестил Кент-американец, которому я рассказал, что в абхазской мистической практике есть переключки с учением дона Хуана.

Я свел Кента с сухумским историком Русланом Гуажба, и они месяц пропадали в высокогорных абхазских селениях, разыскивая стариков, которые общались со змеями, катались ночами на волках и кошках и помнили, что их отцы умели отделять душу от тела и переносились по воздуху из одного селения в другое.

Вернувшись из Калдахвары, Кент загадочно усмехнулся и сказал, что через год притащит всю компанию сюда.

В августе 92-го они начали появляться один за другим, и я кинулся по друзьям собирать раскладушки, но скоро моя холостяцкая берлога стала тесна, и пришлось размещать их в темном саду моей приятельницы, своим храпом под кипарисами они не давали ей спать, и она усмешливо жаловалась, что ее бессонница приобрела черты сурового воинского быта.

Сам я перед этим две недели провел в горах, ловил форель в холодных до немоты речках, пытался нащупать личный, пронизывающий до пят календарь в мерцающих играх зодиака и ночном отчуждении времени, и теперь эта орава казалась мне шумной и бесцеремонной.

Наконец мы ввалились в пригородный автобус и через полтора часа медленной окольной езды вверх высадились у кукурузного поля, которое обрывалось в полукилометровую пропасть.

Я знал этот маршрут и шел замыкающим. Впереди гарцевал Кент, который выстроил всех в цепочку, и мы по одному сползли на узкую тропу, еле различимую в скальной породе.

На дне пропасти змеилась река с самшитовыми зарослями по обоим берегам, мы ухнули в заводь, чтобы взбодриться перед подъемом, Луи, пребывающий со дня приезда в скептической апатии, оживился – он так шлепнул меня по ягодице, что я снова слетел в воду, и меня протащило по камням несколько метров.

Пока я барахтался, глотая воду, жизнь Луи вспыхнула во мне, и на несколько мгновений я ослеп снаружи, чтобы сопровождать моего друга в его скитаниях – то, что он утаивал и держал перед своим взглядом, отфутболивая это все дальше, словно пасуя обрубившему все концы двойнику, открылось пленительно-скорбным взмахом несостоявшегося и кануло между нами.

Солнце шпарило немилосердно, когда мы наконец доплелись до Тиграна. Сухонький, сутулый старик, родители которого бежали из Турции во время армянской резни, последние тридцать лет жил в горах, на высоте 800 метров над уровнем моря, и его деревянный дом с клетями и полатями служил пристанищем для всех, кто забредал на огонек.

До шести вечера мы отдыхали, играли по очереди в шахматы с Тиграном и устраивали гонки на ходулях – старик держал четыре пары для гостей, Кент расхаживал между нами с видом заговорщика, и его стриженная, торчащая дыбом макушка служила мишенью для острот.

Незаметно возник сморщенный старичок в чувяках и черкеске. Сказав, что его зовут Дадын и он поведет нас на Чумкузбу, он отошел в сторону и застыл.

Мы опять выстроились в цепочку и потянулись за Дадыном, а Кент, оборачиваясь, скудно отщипывал нам от биографии старичка – ему всего 91 год, его дед воевал с молниями и понимал язык медведей, отец его был великим охотником, он отнял душу у князя – нечестивца, чтобы наказать его,

и через два часа после собственной смерти оплодотворил жену, в исступлении прикинувшую к нему, Дадын и родился от этого объятия, сам он тоже охотник и пастух и за свою недолгую жизнь кое-чему научился.

На четвертый час пути, в густых сумерках, мы вышли к Чумкузбе, до вершины оставалось минут двадцать по скло-ну, в этом месте я всегда испытывал легкое головокруже-ние – Кавказ открывается в наготе вершин, их неподвиж-ность парит и выбивает почву у тебя из-под ног.

В ясную погоду с Чумкузбы просматривается почти все абхазское побережье, отделенное двумя горными грядами пониже, а в круговой обзор создает иллюзию, что ты в глу-бине горной страны, хотя по прямой до моря всего несколь-ко десятков километров.

Сейчас, при мерцающих звездах, угадываемое мною про-странство расступалось с каждым шагом вверх.

У пастушеского балагана все разделись догола, и Дадын расставил нас вокруг самой вершины на равном расстоянии друг от друга.

Мы стояли в позе стрелка из лука, целящего в небо, рас-корячив ноги и равномерно дыша.

Каждые пятнадцать минут голый Дадын ударял камень о камень, чтобы напомнить о бдительности, и неслышно пере-мещался за нашими спинами, уплотняя круговую поруку.

Мы безмолвно угрожали небу, чтобы оно поразило нас молнией, но молния была и знаком согласия, охотничьего союза, поймавший ее и оставшийся в живых становился братом небесного охотника, его горным глазом и ухом, и для него не было тайн в лесах.

Раз за разом раздавался удар камнем, я перестал ощущать тело и готов был поклясться, что вишу в темном, начавшем холодать воздухе в полном одиночестве.

Поза стрельца была единственной реальностью, за кото-рую я мог уцепиться, хотя как она существовала без моего тела – краем сознания я умилился легкости, с которой язы-

ческая магия подмяла меня под себя, и тут оглушительный удар камня за спиной высек искры из моих глаз.

Дадын и Кент торопились, сколачивая нас в круг.

Положив руки на плечи друг друга, мы понеслись тесно сплетенным кольцом вокруг вершины. Дадын и Кент были впаяны в кольцо друг против друга и направляли его движение.

Бешено перебирая ногами, я с опаской следил за нашим вращающимся скольжением по горе. Сама верхушка Чумкузбы напоминает приплюснутый, скособоченный горб верблюда, днем по нему бродить нетрудно с любой стороны, но сейчас, в темноте, когда мы скользим по склону быстро вращающимся кольцом, ничего не стоит сорваться и рухнуть с нешуточной высоты.

Мы неслись все быстрее, и траектория нашего вращения вокруг верхушки теперь напоминала надетый набок венков – мы кренились в сторону почти отвесного склона.

Когда мы пронеслись по нему под прямым углом, у меня вырвался сдавленный всхлип смеха – как бы ни был я захвачен этой безумной гонкой и непрерывной круговертью земли и неба перед глазами, я не мог отрешиться полностью, слишком хорошо я знал это место и мог просчитать последствия неудачи.

Наконец в последний раз мы вынеслись на вершину и разорвали круг, опрокинувшись на спины – торжествующий крик вырвался из наших глоток, и в азарте общей эрекции мы метнули в небеса полыхающую сперму.

Дав нам слегка очухаться, Дадын поблагодарил нас за то, что мы оплодотворили будущее его страны, и исчез.

Мы дождались восхода солнца и весело потянулись вниз, голодные и удовлетворенные, общее состояние, пожалуй, выразил Рышард, сказавший, что ни одна женщина не способна дать такое освобождение плоти, хотя кое-кто из молодых не согласился с ним – о, конечно, подмигнул за их спинами Патрик, они еще не выбрались из женщины, и вечно женственное застилает их горизонт.

Автобус у кукурузного поля не появился, и сельчане сказали, что утреннего рейса тоже не было. Они стояли посреди проселочной дороги, два загорелых дочерна армянина, старший держал мотыгу, а другой рукой скреб волосатую грудь, грузины напали, добавил он растерянно, по телевизору передали, что в городе танки.

Я объяснил своим, что придется топать до города пешком.

По дороге я вспомнил, как накануне, когда мы отшагали уже треть подъема, справа от нас ухнул филин, и Дадын проронил, что где-то убили мужчину.

Только в обезлюдевшем городе, куда мы добрались к ночи, я сказал своим, что дело, кажется, пахнет войной, и мы проскользнули задами к моему дому.

К вечеру следующего дня, после изнурительной беготни и хлопот, мне удалось посадить всю компанию на переполненный российский пограничный катер, и они отбыли, сгрудившись на корме и почтив молчанием удаляющийся берег.

Больше всего в первые дни войны поражало, что изменились вещи, естественная незыблемость которых никогда не ставилась под сомнение – само городское пространство было осквернено, чужесть осела в оградах и эвкалиптах, даже солнечный свет стал отравленным, приобретя потусторонне-оранжевую выхолощенность, словно над нами всходило совершенно другое солнце.

Моя приятельница в доме под кипарисами, теперь ставшая не показываться на улицах, призналась, что, как только грузинские вертолеты обстреляли центр, влажная духота тут же стала враждебно-липкой, и в кофейной чашке проступила угрюмость фарфора, что уязвило ее глубже, чем проносившиеся в джипах полуобнаженные молодчики с автоматами.

Побережье, которое, казалось, вместе со мной наращивает жизненную стойкость и обладает опытом сопротивления, вдруг стало беззащитным, и опустевшие пляжи источали опасность с привкусом морской соли.

Моя внутренняя независимость оказалась блефом – я не мог удержать даже детское ощущение надежности деревьев, война добралась до самых потаенных уголков и сделала бессмысленным существование тайны.

Люди в панике уезжали, освобождая место насилию; Гумистинское ущелье, эта горная промежность Абхазии, в глубине которой полтора тысячелетия назад умер измученный ссылкой и долгой дорогой византиец Иоанн Златоуст, стало линией фронта, и вместо тускло-бордовой яшмы река выносила теперь трупы.

Я мог бы, здоровый сорокасемилетний мужик, убивать этих ублюдков, захвативших город, и двадцать лет назад я сделал бы это, но я остался, чтобы впитать войну и ее злобование – страх выделял из человеческих тел и подвалов известковый запах загнанности, стелившийся по улицам, кучи мусора добавляли струю гнили и мертвечины, и среди этой смеси чуть слышно пробивался стоический запах тех, кто умирал от голода с брезгливостью людей, не желающих вымогать подачку у действительности.

Я и раньше подозревал, что спроса ни с кого нет, ни с политиков, ни с сапожников, а сейчас я видел, как человеческое сознание слоится буквально на глазах – отправляясь убивать, люди направо и налево испражнялись священной правотой и жалели себя, держа наготове, у сердца, слезы матери, заранее омывающие содеянное ими.

Выяснилось, что сходить с ума выгодно – человек переставал узнавать войну и общался с нею по-родственному, раскапывая в ее подоле обьедки и обретая мудрость, которая разрывала почище снаряда – однажды утром, отправляясь на базар, чтобы продать или обменять часы, я встретил своего учителя географии, который схватил меня за рукав и, шамкая и оглядываясь, зашептал, что все будет хорошо, он понял, что метафизический ужас – это повседневная пища богов и их эпигонов, надо только сделать маленькое усилие, чтобы это стало пищей для всех, и тогда все мы будем пировать за одним столом.

Война продлилась год с небольшим, раскачивая между ненавистью к тем, кто начал ее, отсиживаясь в безопасности и не рискуя даже волоском, и благоговением перед наносимыми жизнью ударами – это окончательно сорвало меня с якоря, я перестал тяготеть к собственной жизни и ушел в общее сопротивление времени и пространству, которое делает из человека отмычку и распространяет его, как грамоту.

Однако и я одичал вместе с разрушенным побережьем, с усмешкой я признавался себе в этом и подтрунивал над фундаментальной способностью живого компанействовать.

Через год после войны, когда я все еще с недоверием принимался к своей свободе, ко мне заехал албанец Рамиз, самый упертый из наших молодых, умевший молчать с выразительностью кладбища и бредивший глобальными проектами, то он предлагал учредить Академию бродяжничества, то пускался на розыски воздушной Атлантиды, которую толковал как вневременную площадку общения, где встречаются все осуществившиеся умы.

Мы сидели с ним на моем балконе, пощипывая виноград и заедая его остатками серого, плохо пропеченного хлеба.

Я размышлял, что единственное, что, пожалуй, еще может удивить меня, – это личное бессмертие, в которое я не верю, но даже если оно вдруг проклянется, то привычка к нему постигнет меня раньше, чем я познаю его преимущества и недостатки – привычка стала теперь цепной собакой, охраняющей от вторжений.

Я прикидывал, во что мне обойдется борьба с привыканием, и тут Рамиз сказал, что он безнадежно влюблен и приехал, чтобы излечиться.

Черт возьми, это звучало серьезно – его узкое сумрачное лицо с низким лбом формы полумесяца было нацелено на меня, и я не успел и пикнуть, как очутился в роли мэтра и кудесника.

От этой ловушки я не уклонился, сочтя ее развлечением, вроде домашнего музицирования.

Я зафиксировал косой взгляд на переносице Рамиза и поманил женщину, обосновавшуюся в его желаниях – она крупно шагала по платановой аллее, в плаще и с сумкой через плечо, я видел ее со спины, она замедлила шаг, порывисто бросилась на скамейку и смело подняла лицо перед собой.

Дрогнула верхняя губа с нежным черным пушком, и сияющие глаза совсем юной женщины, голубоватые белки были подернуты девственной влажностью, доверчиво встретили неведомое – я умудрился не спугнуть даже непричастное к нашим затеям существо и понял, что очередной виток свободы чреват искушениями, из которых не возвращаются.

Декабрь, 1997

АВТОР ВНЕ ЧЕЛОВЕКА

Художественная оптика 3-го тысячелетия

Хайди Тальявини

Третье тысячелетие уже затягивает нас в свою глубину, исподволь подготавливая за наш счет будущие достижения и утраты. Реальность множится, выпендривается и отражает неисчерпаемую дерзость человека, перехватывающего инициативу у эволюции. Симулякры наращивают свою виртуальную империю со скоростью, которая поднимает на смех потуги Древнего Рима и всех последующих; сознание слоится в поисках опоры и соблазнов.

Ницше первым почувал, что из жизни уходит подлинное, и продемонстрировал гениально-сумасбродную и скальпельно-беспощадную технику самовосхождения в пропасть, разверзающуюся в недрах культуры. Дело кончилось сумасшествием, что стимулировало переваривание пророка в дешевое ницшеанство, послужившее топливом для массовой культуры. К тому времени уже было ясно, что литература, искусство стали зоной смертельного риска – проклятые поэты и сладкая парочка из Арля, Гоген с Ван-Гогом, подтвердили это на собственной шкуре.

Пруст жил тихо, освобождая воспоминания и ощущения, чтобы «вновь найти, поймать и показать ту реальность, вдали от которой мы живем и от которой все дальше отходим». Попытки уловить реальность через прошлое, взглядом назад, привели к тому, что он «никогда не достигал в реальности того, что было внутри него» – настоящее ревниво ускользало, оборачиваясь банальностью и роняя на пол крошки миндального пирожного.

Джойс продирался сквозь язык с одержимостью дикаря, создающего фетиш из подручных средств. Стилистическая

идентификация персонажей не дала объема, он встроил в быт мифологический костяк – и чуть не ослеп окончательно, притянув, как истраченную тысячелетиями молнию, легендарную слепоту Гомера. Дальнейшие эксперименты с языком привели к тому, что слово и смысл, обнажаясь в поисках друг друга, сталкивались с подробностями еще не проявленного контекста, в котором блуждала выжженная тень Джойса.

Кафка отдавался абсурду стихийно, вне школы и системы, не пытаясь использовать его в собственных интересах. Он огосударственил, обюрократил отчуждение, не замечая, что из его просторов ветер доносит свежесть и свободу более интенсивных чувств и действий. Эта вылазка в тыл реальности подорвала его силы и обозначила рубеж, который нельзя пересекать безоружным.

Бердяев, переживший ссылку, революцию, войны, изгнание из отечества, утверждал, что «отсутствовал даже тогда, когда бывал активен в жизни». По его же признанию, ему приходилось постоянно трансцендировать, чтобы выжить – культура отсутствия, подсвеченная несотворенной свободой и раскрытием вглубь себя времени и истории, дала объективацию, позволившую сочетать дневной распорядок с метафизической бездной.

Музиль не давал жизни прохода, рефлексировав сплошняком, как водопад, и довел Ульриха до вскрика: «Моя природа устроена как машина, постоянно обесценивающая жизнь. Я хочу стать другим!» Другим стать не удалось, ибо «требование, чтобы ты действовал соответственно твоей реальности, совершенно нереально» – автор съел человека, и людоедство истощило автора и героя. Человек умер в нищете, и автор не закрыл ему глаза – незаконченный роман отвлекает его до сих пор.

Беккет был предельно лаконичен в текстах и жизни, увеличивая дистанцию между собой и реальностью – абсурд, отточенный отказом, срезал привычную ткань существования и обнажил неготовность бытия к стремлению художника идти дальше. Ответшавшая форма жизни свешивалась

лохмотьями в сценических диалогах, но отыгралась Нобелевской премией.

В конце 20 века Бродский констатировал, что «жить и писать – разные вещи», и в частной беседе признался: «Для меня жизнь – это постоянное удаление от». Унаследовав от СССР имперские амбиции в поэзии, Бродский для равновесия ухаживал за *privacy*, но внутренний дрейф художника оставил обе доминанты за бортом – «Сколько я себя помню, я всегда стремился отделяться от той или иной реальности, нежели пытаться удержать что-либо».

Наиболее откровенен был Гессе: «Я стал художником, но человеком я не стал. Я достиг только одной, но не главной цели. Я потерпел неудачу. Быть может, с меньшими уступками и утратами, чем другие идеалисты, но я потерпел неудачу. Мое творчество лично, интенсивно, нередко оно доставляет мне счастливые мгновения, но моя жизнь не такова, моя жизнь – всего лишь готовность работать; и жертвы, которые я приношу, живя в крайнем одиночестве и т.д., я давно уже приношу не жизни, а только искусству. Смысл и интенсивность моей жизни приходятся на часы творческой активности, то есть как раз на то время, когда я выражаю неполноценность и отчаяние своего существования».

Совмещать в одном лице человека и автора становится все сложнее – жизнь требует от обоих по максимуму.

Не быть рабом жизни и литературы (искусства и т.д.), оставаясь дееспособным и открытым, – вот амбициозная цель, позволяющая личности лавировать, чтобы расти дальше, осваивая все новые пласты, включая небытие, вновь обретающее динамичную выразительность.

Профессиональное небрежение жизнью, начавшее утверждаться в 19 веке (от выхолощенного уединения Флобера, предпочитавшего чернильницу любовнице) и выродившееся в расхожий штамп 20-го (до хлебниковских стихов в наволочке и череды самоубийств и безвольных смертей, обнаживших неумение дистанцироваться даже от внешнего, не говоря уже от самого себя), завело в тупик – истеричность

этой позиции очевидна даже черному квадрату, до сих пор не опускавшемуся до оценок, но теперь спровоцированно-му безалаберностью творцов. М. Бланшо, подметивший, что произведение требует, чтобы писатель стал «ником, пустым и одушевленным местом, которое эхом отдается на зов произведения», поставил автора лицом к лицу с собственным исчезновением.

Леонардо не спешил, посвящая улыбке флорентийской гражданки годы и месяцы, но погруженность в работу пульсировала в унисон с жизнью, не вытесняя ее полноту на обочину, а стягивая в празднично-исследовательский фокус все подробности: от звезды и завтрака до гидравлических устройств.

Только профессионал жизни, владеющий собою и скользящий сквозь манипуляции судьбы и истории, используя их в собственных интересах, имеет шанс реализовать весь отпущенный природой потенциал – сочетая молодое неистовство инстинкта со зрелым рацио культуры.

Бесконечность познания задает тон и раздвигает личностную перспективу до головокружительного отсутствия границ.

Все это вынуждает концептуально разделить функции человека и автора – каждый действует в пределах своей компетенции, работая на общую цель.

Человек отпускает автора на свободу – один профессионал доверяет другому.

Автор как эволюционное достижение. Раньше это стыдливо называлось Музой – видимо, мужское сознание пыталось объективировать творческий процесс в доступный постороннему взгляду сексуально окрашенный символ. Сейчас Муза окончательно превратилась в автора – зыбкое мифологически-женское естество отлилось в отшлифованную культурой линзу. Автор как проекция вовне, гончая с телескопом, преследующая по пятам реальность.

Автор не рассказчик баек, а исследователь-камикадзе, подрывающий основы собственного существования – чем

глубже он выворачивает жизнь наизнанку, тем более условной становится его способность к «естественному» бытию. Феноменологическая рефлексия становится основой его повседневного проживания, как моль «проедая» плоть мысли и чувства.

Человек же отдается жизненному потоку с «наивностью дикаря» – отзываясь каждой клеточкой на вспышку бытия и нутром чуя неистощимую свежесть личного проживания духа и материи – индивидуализируя их, человек дает вечности шанс воплотиться.

Русский 20 век дал два ярких примера, противостоящих друг другу в реакции сознания на жизнь.

Набоков, как только изменилась привычная среда обитания, перетек в подобную же социально-экономическую ткань и наработал новую раковину. Даже его игра с двойниками – лишь провинциальный нарциссизм, он так и не выпустил ни одного из них за пределы собственного «я», заставляя их, как мотыльков, кружить вокруг самовлюбленного отражения в зеркале-странице. Его ловля бабочек – попытка присвоить неуловимое, ускользающее и прикрепить его, укрыться в сверкающей умерщвленной плоти, а не раскрыться навстречу чужому движению, продолжив его в своем космосе.

Цветаева, обронив, что эстет хуже убийцы, содрала за весу с рафинированного эгоцентризма.

Страшное таинство чужой души недоступно Набокову, отсюда его органическое неприятие Достоевского – он никогда не был нагим и обнаженным на расхристанных перекрестках, изысканный сноб в футляре культуры, используемой потребительски.

Его хватило только на сладострастие к нимфетке, а не на любовь к ней. Вагинальное мироощущение эстетствующего моллюска известкует рефлексы внешнего зрения и смакует поверхностные переключки – Гумберт прошляпил редкостное наслаждение участвовать в созревании юной души и ограничился совокуплением и стрельбой.

Уехав из России в ее очередную роковую минуту, Набоков упустил шанс стать собеседником на пиру и раскатать себя до грандиозного отклика. Автор в нем всю жизнь обслуживал внешнего человека.

Платонов остался – наедине с революцией, которую Набоков не «заметил».

Воронежская нищета и тюремный тракт, по которому, гремя кандалами, поколениями топали в Сибирь, придали революции пронзительную подлинность – в ее крови и хаосе было величие трагедии, козлиный крик достигал небес, и крестьяне тронулись с места, куроча города и государство.

Платонов открылся ужасающему потоку жизни и, занимаясь созиданием инженера и семьянина, послал автора в самое пекло – фундаментальная попытка сделать коллективное бессознательное народа субъектом повседневной жизни человека, рухнувшего в мировоззренческий и социально-культурный хаос, вывела русскую прозу на уровень, где дух носится над водой, а измы теряют свой смысл. Автор оттянул на себя бесконечность человеческого, сотрясающего историю и целесообразность, и позволил человеку выжить.

Платонову хватило природной мощи на обе ипостаси, хотя жизнь не щадила его и отняла сына с жуткой grimасой равенства.

Органичное существование в двух ипостасях, чередование их лидерства – вместе это художник, практикующий ювелирную технику сосуществования, которая позволяет партнерам равноценно использовать открывающиеся возможности, а не поедать друг друга. Художник держит дистанцию, используя раздвоение личности (раньше бывшее симптомом психической болезни, а теперь являющееся свидетельством профессионализма и культуры общения с собой) как механизм реализации новых задач. Все хочет обладать им, но он должен быть неуловим, используя для собственной выразительности все средства внутренней техники – от акварели до гротеска.

Художник вооружается автором, чтобы вырвать у жизни ее самые жгучие тайны и остаться невредимым как человек для дальнейших поисков – за пределами тайн и катарсиса: настало время проникнуть в то, что трепещет за привычным механизмом восприятия и ощущений, навязанным физиологией и традицией – хаос и энтропия (на всех уровнях, и внутри слова и мысли) полны энергии, освобождение которой преобразует познание (как это случается в религиозных практиках) и сделает единство противоположностей авантюрным героем каждого мгновения.

Возможно, со временем от автора отпочкуется следующая ступень и развернется целая подвижная система художественного освоения действительности. К концу нынешнего века ежесекундное жонглирование дискурсами для того, чтобы спровоцировать действительность на утонченную интерактивность, достигнет уровня, при котором автор может осточертеть человеку как не дающий покоя фигляр, и новая точка опоры зависнет вне их отношений. Возможно, автор и человек станут антиподами или будут меняться ролями, вынося вовне сухой остаток общности, чтобы под ветром и солнцем он обрел второе дыхание и независимость бродяги. Художник должен быть готов к постоянному усложнению внутреннего пространства и появлению новых действующих лиц, объективируемых его неизбежным стремлением «проявить» жизнь.

Главное – разборки художника с реальностью, которая усложняется вместе с нами, а не пересказы бытовых историй.

Реальность и восприятие

Профаническая реальность, всегда бывшая иллюзией в глазах святого, теперь теряет убедительность и в светском употреблении. Просто-бытие изнашивается и морально устарело.

Человеческой жизни стало слишком много (исторически и одновременно).

На Западе количество отрефлексированного быта на душу населения уже перешло допустимую грань, и Европа нежно, цивилизованно вырождается в объётах комфорта и безопасности. Это предчувствовал Иоанн Златоуст еще в самом конце 4 века, когда христианство превращалось в официальный культ, и уже оформлялся поиск Бога как душевного комфорта – поэтому с константинопольской кафедры неистово возопил: «Безопасность есть величайшее из гонений на благочестие».

Как оказалось, не только на благочестие, но и на инстинкт самосохранения.

Чем больше комфорта и личной свободы, тем слабее видовое воспроизводство – соблазн реализации себя истощает потребность отражаться в потомстве. Но личная свобода растрачивается на приятные пустячки, на тиражирование уже освоенного эпизода и прикосновения – из быта исчезла дерзость выживания и встречи с непредсказуемым.

Может быть, дело не в истощении реальности, просто наше восприятие рафинировалось до того, что не в состоянии воспринимать полноценно. Однако тенденция налицо – раньше строили пирамиды и храмы, теперь строят Диснейленды. Раньше создавали для собственного употребления, сейчас – для привлечения туристов. Рыночный способ существования – продайся, чтобы жить – обретает статус сакрального. Человек создавал цивилизацию, чтобы укрыться от неведомого, теперь он задыхается от ее всеприсутствия.

Восприятие превратилось в проходной двор, по которому непрерывно движутся все новые события, люди и т.д. – монотонность предыдущих тысячелетий сменилась свистопляской. Мы не работаем на онтологию, а функционально суедемся. Личность вымывается вместе с потоком информации – реклама, этот двигатель торговли и фекалия прогресса, сводит радость бытия к обладанию товарами и услугами. Среднестатистическая единица пьет пиво на перекрестке

хлеба и зрелищ. Туалетная бумага разматывается в будущее с непреложностью судьбы.

Между реальностью и восприятием все больше мусора. TV и синема сливают в нас всю банальность затасканной мимики и интонации, прессуют ширпотреб интима в самые сокровенные уголки нашего существа.

Еще не познав оглушающий обвал первого поцелуя, человек уже забит по уши бесконечными сценами секса – чужой опыт, возбуждая на пустом месте, опережает наше погружение в любовь и навязывает стереотипы объятий и ласк. Кто может быть уверен, что его поцелуй неповторим и вызрел в глубинах его существа, а не спровоцирован крупным планом дешевого фильма?

Десятки тысяч лиц, входящих в мозг через внешний взгляд, превратили человеческое лицо в инструмент насилия и забвения – чужие лица вытесняют твое собственное во внутреннем взгляде, и уже нужно усилие, чтобы отыскать его в толпе.

Мы так плотно экранированы от реальности, что даже зачатие детей становится следствием элементарной реакции на мелькание кадров.

Мы потеряли глубину архаического опыта, буйство и первозданность эмоций, вакхические пляски выродились в гиподинамию перед монитором. Паблисити заменяет личное извержение в подвижничество дня и суровое сладострастие ночи.

Если мы не хотим стать объектом манипуляций со стороны созданной нами цивилизации, выход у нас один – сопротивляться в ежедневном усилии и взращивать новое восприятие, новую – многофокусную – установку, позволяющую овладеть всеми наработанными практиками (от бытовых до мировоззренческих). Средиземноморская оптика изначально складывалась как многофокусная, и западное восприятие продолжает вбирать в себя чужие учения и оптики, подготавливая почву.

Кастанедовская прививка, последняя по времени из значительных, обнажила (судя по миллионным тиражам) общую усталость от привычного способа существования и явную потребность в смене фокуса. Толерантность и политкорректность закрепляют эту потребность на уровне массового сознания, а предложенная Парсонсом идея глоссы уже вплотную подводит к необходимости уверенных манипуляции известными системами восприятия – чтобы достичь следующего уровня, позволяющего индивидууму использовать все богатство существующих техник и воспринимать в масштабах человечества.

Уже сейчас ощутимо нарастает интенсификация восприятия и осознанного структурирования собственной жизни – феноменологическая рефлексия становится героем эпохи. Повседневное существование превращается в тонкую культурологическую игру, в процессе которой человек, выскальзывая из роли потребителя, пропускает сквозь себя историю, культуру, эпоху и т.д. и исследует свои реакции, сознательно играя с многообразием жизни.

Бытие-плюс, бытие-игра, бытие-роскошь – культура общения с собой становится магистральным путем развития – человечество (впервые за всю свою историю) сознательно использует жизнь для обоюдного торжества. Фактическое обретает многозначность символа и магию иллюзии. Емкость времени бесконечно возрастает – сюжет мгновения содержит в себе все известные сюжеты и оптики.

Интеллектуально-чувственный флирт с реальностью по всем направлениям создает для нее новые возможности. Возможно, реальность только набирает силу, мужая вместе с человеком, возможно, это две стороны одной медали – феноменологической. Человек и реальность прорабатывают друг друга. Жизнь есть то, что мы в нее вкладываем.

Мы не знаем, как реальность воспринимает нас, рефлексит ли она по нашему поводу. Витгенштейн был глубоко уязвлен тем, что «у мира нет никаких намерений по отношению к нам», но эволюция не имеет заданной цели.

Обожествление\одухотворение окружающей среды, свойственное древним, было мощным эхом памяти об общем начале – если из общего корня выделилась человеческая способность к рефлексии, можем ли мы не надеяться на то, что сама жизнь обзаведется в конце концов драгоценной способностью чувствовать и мыслить. Возможно, человек лишь первый в общем движении к сплошной феноменологической рефлексии.

Ноосферу Вернадского можно спроецировать не только на всеобъемлющий феномен жизни, но и на каждый мелкий эпизод, обрастающий памятью, характером, privacy, историей и заявляющий о своих правах на самостоятельную ценность. Когда мельчайший жест или пространство между травой и камнем будут качать права, феноменологическая полноводность жизни позволит восприятию и реальности достичь таких глубин взаимопроникновения, которые создадут качественно новый тип бытия.

Личностная оптика

Человек усложняется на глазах современников – он не успевает за собственным усложнением и продолжает смотреть голливудские фильмы, наивно полагая, что это имеет к нему какое-то отношение.

Идеологическое, национальное, религиозное и прочее противостояние все явственнее сменяется глобальным: параллельно протекают два способа существования – функциональный и сущностный. Жертвы первого исполняют роль человеческого существа на уровне стихийно-бытовой игры, не покидая узких рамок сцены и принимая за зрителей не богов, а суфлера общественного мнения. Вторые пытаются нащупать собственные правила игры и максимально открываются жизни, чтобы освоить ее многообразие – для них путь к себе включает все дороги, солнце освещает ночь

и смерть, и в зазоре между бытием и сущим они исполняют вакхический танец сознания, оплодотворяя догносеологические пласты.

Человечество созрело для того, чтобы помочь эволюции, одухотворить ее личностным стремлением к совершенству – индивидуальное усложнение закрепляется в родовом как инстинкт самосовершенствования.

Мы идем к этому уже несколько тысячелетий. Регулярные проговорки западного человека даже в самом начале пути: «Все свое ношу с собой», «Царство божие внутри нас», «Возлюби врага своего как самого себя» и т.д. – призыв к расширению собственного мира за счет чужого, включения его в свой интимный поиск.

Восточная традиция изначально утверждала снятие всех противоречий и спонтанное бытие нераздельного целого, выветривая личностный дух до аромата потустороннего, что облегчалоприятие пугающей сложности мира, но чрезмерно отчуждало от реальности, и лишь современное уплотнение быта дало восточному аскету возможность объективироваться в «обратном направлении»: от нирваны к индивидуализму в западном понимании. В XX веке это хотя бы жизнерадостный пример Вималананды, жившего в обычной бомбейской квартире, игравшего на скачках и достигшего свободы в левосторонней агхоре.

Демократия и толерантность, неотвратимые в долгосрочной перспективе, как ланч, настолько размывают личную убежденность в единственности выбора, что выходом представляется многополярное существование – актуальный вариант спасения.

Многоликие индийские боги, христианская Троица и др. – мощные древние прорывы сознания к возможности той полноты индивидуального бытия, которая соперничает с самой жизнью.

Личностная структура осознанно выстраивается на дуальности во всех пластах – отшельник и душака общества, агностик и энтузиаст науки, оптимист и Кассандра, атеист и раб божий, лентяй и трудоголик, победитель и неудачник,

скупердяй и мот, язычник и христианин (в традиционном европейском контексте), ортодокс и новатор, холерик и флегматик, усталость от себя и упоение утренней свежестью, любовь и отчуждение, вера и абсурд, страх смерти и восторг небытия, противоречивость и гармония, рационализм и мечтательность – возможность оттянуться по всей амплитуде, закалками контрастами и антиномиями освобождает энергию, уходившую ранее на подпитку барьеров. Априори не отвергаются все известные психотипы, модели поведения, реакции и прочее, что обогащает и раздвигает пределы «я», возвращая универсальный способ существования, когда многообразие жизни вызывает адекватный ответ – одновременно проигрываются все мыслимые реалии.

Интеллектуальный навык противостояния толпе переходит в интеллектуальный навык противостояния собственным стереотипам и психофизиологической инерции – да, природа и обстоятельства навязывают тебе свой вариант развития, но ты пытаешься прожить все варианты человеческого удела, экспериментируя и натаскивая инстинкт жизни на проделки Протея.

Уютный миф о себе, которым балуется взрослый человек, остается как внешнее прикрытие, личный адрес для функциональной стороны жизни, где вносят посильную лепту в строительство общества и государства, рожают детей, покупают, принимают душ и знают друг о друге то, что позволяет сосуществовать в рамках закона и приличий.

Одиночество, вмещающее весь спектр человеческих походов, обретает царственное полнозвучие и функции общения – взаимоисключающие (в старой практике) внутренние модусы создают силовое поле такой мощи, что одиночество гуляет само по себе, втягивая в интенсивное общение окружающую среду и делая ее конфидендом своих центральных отражений и центростремительной воли.

Одиночество как прекрасная открытость миру – не ужас и проклятье чувствительного одиночки в толпе, а пронизывающая пространство готовность к естественной встрече

и сосуществованию. Приватность уже подготовила выход одиночества на авансцену – социализированный одиночка в обществе себе подобных с виртуозно-гностической грацией использует чужие одиночества для полифонии, где целомудрие – чистейшая тональность собственного звучания в общем хоре.

Значимость каждого мгновения возрастает до жесткой конкуренции между ним и временем – время уйдет в глубь мгновения и потянет за собою пространство, создавая мобильную вечность-вселенную в отдельно проживаемом моменте. Личное освоение времени и пространства только раскручивает свою спираль, грозя нам изощренными формами эскапизма и невидимым отшельничеством, смешением эпох и выбросом за границы.

Энергия внутренней жизни требует от внешней дальнейшей углубления дистанции между индивидуумами – другой станет еще другое, и пространство вокруг него должно быть свободным и чувствительным.

Все это ставит обычные отношения и чувства на грань фикции и побуждает включать чужие переживания в собственный рацион – соучастник\и переживается в его реальности, открывающейся в твою, что превращает жизнь в азарт обоюдного феноменологического пиршества\тренинга.

Очередная мизансцена отрабатывается во всей ее полноте, со всех точек зрения, во всех ролях, в ансамбле отношений и оценок, с учетом ее сущностных характеристик, уникальности момента и типовой повторяемости ситуации – вся роскошь феноменологической рефлексии озаряет повседневное бытие изнутри, сочетая великолепный трагизм избыточности с чувством меры в седле полководца.

Само существование складывается из непрерывного потока объективируемых ситуаций, ведущего к следующему уровню – метаобъективации, когда жизнь отслеживается постоянно и пронизана сознанием, как воздух солнцем, проживаясь тобой и осознаваясь неуловимым «я», которое наслаждается бытием в масштабах вечности, панибратствуя с

временем и пространством и улыбаясь шалостям человека в себе.

Культура общения с собой включает объективацию не только как интеллектуальное действие, но и оргиастически-чувственный процесс – драгоценность, блеск – объективация как любовный акт, в котором лепестки розы, смятые на постели, источают самоиронию, а души и тела, изнемогая, отражаются в небе, пронзая орлиным взором связь времен и нежную эволюцию чувств – внутренний взгляд сливается с внешним в утонченной рефлексии, празднующей единство плоти и духа в самопознании. Бессознательное бродит в бело-жемчужных сумерках и рефлексировать под дружеские аплодисменты сознания – рефлексия идет вглубь, заворачивая плоть неуволнимым проникновением мысли, кровь разносит кислород и интеллектуальную свободу метаболизма, берущего на себя риск новых концептов.

Неисчерпаемость внутренних игр логически выводит к отождествлению себя с самим жизненным процессом – все интимизируется до неразрывности формы и содержания, которая провоцирует ускоряющуюся тайну отождествления на всех уровнях.

Опасность интеллектуальных игр в условиях бытового комфорта и социальной стабильности вносит в повседневную жизнь непредсказуемость и дерзость выживания, без которых человечество вырождается в покорную толпу потребителей.

В наши дни стихийный человек, которым жизнь и общество элементарно манипулируют, – это уже оскорбление. Сознание накопило опыт и технику, позволяющие выйти на новый виток эволюции, когда человек задает собственные параметры в осознанном единоборстве с природой и судьбой.

Автор и читатель

Связка автор-читатель взбирается все выше, страхуя друг друга на самых опасных участках – Пруст-Мамардашвили

покорили новую вершину и проложили тропу, требующую от ходока страсти и интеллектуальной выносливости. Читатель становится опасной профессией. Перефразируя Бродского, жить и читать – разные вещи. Чтение требует навыков охотника и мужества философа, дерзости авантюриста и открытости перекрестка.

Возрастает ответственность читателя – только он способен интимизировать текст и продолжить его во времени и пространстве, проветривая собственным дыханием...

С одной стороны, автор продолжает все дальше удирать от читателя – описываемое все больше индивидуализируется, с другой – оставляет ему неведомую доселе свободу интерпретаций.

Автор отступает вглубь, заманивая читателя и делегируя ему все большую часть своих полномочий, чтобы на свободе уйти еще дальше. Чем искушеннее и отважнее читатель, чем больше он берет на себя, тем больше удастся автору – он открывает пласты и горизонты, не существовавшие до него, одухотворяет небытие до рождения неуловимых состояний, мерцающих над текстом, как марево над раскаленным песком.

Читатель-авантюрист способен обогнать автора или дать ему пинка под зад, чтобы текст раскрылся в неожиданном ракурсе, встал дыбом, изогнув горизонт, или отпрыгнул в сторону, оставив вождедеющую пустоту-провокацию – текст как акт рождения и встреча, после которых начинается реальное приключение, когда истина дерется на шпагах в кабаке и нарушает целомудрие звезд, усложняя восприятие до галактического прикола.

Автор дает читателю карт-бланш и выходит в окно, демонстрируя независимость от законов физики.

Автор и критик

Автор вышел за рамки человека, но критик не заметил этого и продолжает ждать от него дальнейшего, сдобрен-

ного культурологическим лоском, пережевывания бытовых комплексов – от коммунального Эдипа до геморроя.

Наученный горьким опытом фрейдистских толкований и садистическими выкрутасами критиков, художник все изощреннее прячется за автора, используя его как подсадную утку и вызывая огонь на него, чтобы на свободе достичь своей цели, хотя и прекрасно понимает, что критик следующего поколения будет играть по другим правилам и все равно докопается хотя бы до разделения ролей.

Балансируя между автором и человеком, художник не теряет надежды, что критик усложнится до структуры, позволяющей ему отслеживать автора в свободном парении – насколько автор независим в своих играх с жизнью, какой концепт он предлагает реальности, использует ли он человека и государства как трамплин для высокогорных экспериментов.

Критик, разделяющий с автором опасность парения, а с художником – пафос и скепсис личного бессмертия, выделяется в новую знаковую фигуру, создающую равноценное пространство – его интерпретация, как скульптор, убирает лишнее, и суть-ню, еще стесняясь своей наготы, вступает в тусовку концептов, одну из самых стильных в ноосфере.

Автор и персонаж

Одним из первых независимость персонажа осознал Пушкин – его рыцарственное отношение к Татьяне, живущей по своим законам, а не по авторской прихоти, проложило дорогу к осознанному партнерству: автор уважает в персонаже личность, выходящую за рамки текста и на равных взаимодействующую с субъектами т. наз. объективной реальности.

Персонаж нового времени держит автора в поле зрения и, в зависимости от ситуации, то делает вид, что незнаком с ним, то пародирует его боль и амбиции; если же они со-

вместно истекают жизнью, пытаюсь вербализовать ее невидимое присутствие, двуединое «я» смотрит в глаза друг другу, создавая биполярный взгляд со сквозными выходами – никогда ранее реальность не сталкивалась с такой оптикой, исследующей ее ранимость за пределами человеческого измерения.

Автор-персонаж-реальность образуют любовный треугольник пронзительнейшего самоанализа, вызывающего жизнь на новые откровения, – человек и реальность преломляют друг друга, как хлеб, и персонаж на своих плечах выносит всю тяжесть этой мистической трапезы, оставляя автору свободу маневра.

Художественная оптика

Усложнение человека открывает перед автором грандиозные возможности – дозволено все, литература не отражает жизнь, а соперничает с нею, подталкивая ее к дальнейшему творчеству и совместному дерзновению.

Если жизнь будет самоорганизовываться и дальше, она сможет объективировать плотные состояния мысли и чувства (личные и общие трансцендентные состояния, в том числе животных, растений и других форм органики) и пойти путем литературы и искусства – свертывать жизненную информацию, опуская лишнее (возможно, лишнее будет спровоцировано таким небрежением и разовьет собственную субкультуру, то есть жизнь переймет цивилизационные способности человека, используя их в органическом строительстве и обретая собственный духовный и интеллектуальный опыт).

Соперничество литературы и жизни подводит автора к дальнейшей объективации автора от человека, к самостоятельному авторскому способу существования – жить рядом со своей собственной жизнью, осознавая относительность ее конкретно-исторического наполнения, и пытаться нащу-

пать «объективный» способ существования, независимый от локальной культуры, традиций, эпохи, половой принадлежности и т.д. – даже родовая принадлежность воспринимается уже как дурной тон, провинциальная неловкость.

3-е тысячелетие будет эпохой дальнейшей феноменологии жизни во всех ее проявлениях и экспериментальной площадкой для взаимоотношений автора и человека, разводящих жизнь в разные стороны – диапазон сосуществования раздвигает горизонты и сам становится активным действующим лицом, вмешивающимся в сюжет и подначивающим персонажей в их собственных разборках с сущим.

Начавшаяся с Пруста и Музиля феноменологическая проза, исследуя степень личностного участия человека в собственной жизни, превратила предшествующую литературу в поверхностный набросок.

Что мы знаем об Анне Карениной, закрыв книгу? Красивая брюнетка, будучи замужем за педантом, полюбила блестящего офицера, ушла к нему и, не выдержав светского бойкота, бросилась под поезд. Толстой прописал лишь то, что явлено беглому взгляду – внешность, мелкие детали поведения, биографическую канву. Содержание жизни, личностный аромат Анны, доносящийся из глубин существа, остались за кадром. Нам показали незнакомку, каких много в мировой литературе (возможно, одно из перспективных направлений литературы будущего – проработка личностного у знаковых персонажей культуры).

Наплевать на внешнюю сторону ее жизни (там, как у всех + навязанный автором прыжок), я хочу знать историю и пейзаж той бездны, в которую летела душа Анны, когда муж и любовник вдруг сливались в одно в процессе, который в пошлом современном лексиконе зовется сексом, а на деле является совместным путешествием в докультурный поток восприятия, дающий возможность познать друг друга на уровне органики и инстинкта.

Проекция интима с нелюбимым мужем (а даже с врагом бывают минуты нестерпимой близости и самораскрытия)

на страсть к любовнику – какие сложнейшие рефракции, сотрясающие личностный каркас и деформирующие сознание и поведение, пульсируют теперь вне канонического текста, требуя своей доли.

Какая сцена могла бы быть, если бы скачка Вронского была прописана феноменологически – любовник, помноженный на дикуую грацию животного и азарт гонки, стягивает взгляды Анны и толпы в многофокусный мчащийся центр, и вся сцена в стилевом единстве зрелища возвращает участникам энергию противоборства, подпитанную их жаждой игрищ и побед; в этой кипящей лаве тревога Анны ищет свой путь, индивидуализируя обезумевшую от страха светскую даму до истинной эмоции, вдруг обретшей неповторимую оболочку и содержание. Персонаж и эпизод образуют нерасторжимое единство с собственным местом в вечности и культуре, живое единство следующего уровня – открытое и рефлекслирующее.

При живости Анны пара «чиновник-офицер» наверняка не исчерпывала ее интерес к противоположному полу, и Толстой резко обеднил образ, не прописав отражение других мужчин в ее воображении и психике, женщина в целом осталась в тени – так же, как и личность, мы никогда не узнаем, как ее характер преодолевал сопротивление дня, с какой изощренностью в ней взаимодействовали ребенок и взрослый, человек и женщина, дух и плоть, как время и пространство подсвечивали ее положение в обществе и отражались в походке и быту, игру ее кожи со светом и тенью. Неповторимость чернокудрой женщины канула в Лету, способ существования по имени Анна Каренина утерян.

Покадровое пережевывание бытовых историй уже не работает. Внутренняя жизнь и внутренний ландшафт настолько усложнились, что описание только внешней биографии уже почти ничего не говорит о персонаже. Внешняя биография, обветшавшая от тиражирования, требует мощной подпитки изнутри – нет двух одинаковых чувств, поступков, взглядов, прикосновений и т.д. Каждый прокладывает непо-

вторимую царапину в бытии, и литература накопила опыт, позволяющий артикулировать самые потаенные движения человеческого духа, неуловимость мысли и чувства, сокровенную взаимность жизни и смерти в каждом отдельном случае.

Личный жест, интонация эпохальны и содержат все предшествующие цивилизации, гибель и возрождение культур, смену времен года, конвульсии инфузории и метеоритный дождь; эпика все глубже уходит внутрь, позволяя наводить фокус на личность – на терпкую свежесть ее становления и восприятия.

Сюжет и прочие ухищрения литературной техники все более подчиняются амбициозно-изошренной задаче – прописать дышащее страстью взаимопроникновение человека и жизни, это глобальное кровосмешение, на индивидуальный срок обретающее собственное лицо и язык.

Схождение автора в персонаж за эвридикой самовыражения позволяет оборачиваться, чтобы терять, и эта потеря наращивает взгляд до бесконечности – многофокусная потеря, уводящая в глубины всех действующих лиц и общего пространства, создает подвижную оптику, наслаждающуюся своей объемностью и текучестью – чем прописаннее персонаж сквозь призму наслоений (раскрытие веером – от слабой тени персонажа в сознании аквариумной рыбки до многозначности целого направления в искусстве), тем независимее он от автора, и его самодостаточность изнашивает текст, как одежду.

В ответ текст сопротивляется – возрастающая индивидуализация стиля за последние 200 лет, неуклонное движение прозы к поэтической насыщенности и плотности, культурологические игры и т.д.; борьба текста за художественное совершенство стимулирует самостоятельность его элементов.

Функциональные фразы типа «Он вышел на улицу и закурил, пытаясь сдержать дрожь в руках», отваливаются струпами в предыдущую эпоху. Современная фраза мобильна и самокритична, обладает собственным мнением о своей

роли и целях и зорко следит за контекстом, чутко реагируя на малейший сквозняк в противоположном конце вещи. В ближайшие десятилетия фраза возьмет на себя функции абзаца, а абзац обретет самостоятельность небольшого произведения и будет кочевать по тексту, меняя его тональность, заставляя врасплох персонажей и превращая сюжет в устойчивый хаос, подмигивающий автору, уже забывающему о своих правах на интеллектуальную собственность. Уже сейчас абзац имеет собственное небо, сюжет, атмосферу и дает возможность читателю своевольничать, внося варианты, дополняющие полифонию сюжета.

Резко возрастает свертывание художественной информации – в одну фразу можно упаковать сюжетный ход, переживание героя, аромат эпохи, реминисценции, авторский комментарий, погоду, ракурс и др., что позволяет создавать новые оптические эффекты на каждом шагу.

Метаобъективация требует от автора ювелирной техники и создания новых художественных стереотипов, позволяющих все жестче опускать несущественное – функциональный орнамент бытия будет сведен к минимуму, как в лаконичной графике, зато внутренняя жизнь персонажа, изолируясь в феноменологических ракурсах, достигнет свободы, бросающей вызов реальному проживанию человеческой жизни. Литература, как и религиозный опыт, потребует от человека нестерпимой высоты и интенсивности проживания и будет навязывать – по инерции развития – собственные правила игры.

Уже сейчас текст и контекст, объединив усилия, узурпируют функции автора и диктуют свою волю сразу многим авторам, пишущим по их сценарию супертекст – борьба автора за возможность быть собой вступает в острую фазу, в которой очередная победа неизбежно создает опасность нового типа поражения.

Контекст, с легкой руки Мишеля Фуко обернувшийся лирическим героем, демонстрирует способность к чувствам и интриге, он играет с автором в кошки-мышки, обольщая

утонченной культурологической светотенью и обостренной чувствительностью, и манит в ловушку универсального языка (глобализация – это стремление контекста к единообразию поля), обслуживающего тотальные потребности.

Несколько сюжетов-дискурсов в одном произведении сопровождают движение автора к смерти-зеркалу, неотвратно приближаясь к которому, он видит то, что остается за спиной, и все меньше различает себя – этот укорачивающийся вперед взгляд и есть живая линза опыта, многослойно организующая текст, постоянно размываемый диффузией дискурсов и энергией эпигонов.

Феноменологическая чувствительность культуры, истории, быта, природы, полнота взаимодействия персонажа с окружающей средой, со всем диапазоном явлений и предметов последовательно преобразуют художественную ткань и композицию. К концу века привычным станет роман об одном мгновении, отражающем всю жизнь, и персонажи будут отличаться не поступками, а индивидуальностью проживания ткани жизни.

Параллельно научно-технический прогресс приведет к тому, что нарастающая профанация творчества станет художественно значимой. С помощью интернета digital-эксгибиционизм позволит сделать творческий процесс максимально открытым – автор будет отражать в собственных сайтах повседневный творческий процесс, читатель увидит в подробностях всю рабочую кухню и подноготную автора и сможет вмешиваться, критик получит возможность влиять и испытывать автора на прочность с первых же страниц. Процесс станет важнее конечного результата, ибо приобретет откровенно игровой характер. Квадрига автор-персонаж-читатель-критик, взнуздав обоих возниц – Аполлона и Диониса, понесется в неведомое, смешивая роли, жанры, точки отсчета и порождая новые феномены – от усложняющегося небытия до вакхической рефлексии.

Обычными станут творческие группы, пишущие совместно одну вещь на разных концах планеты; каждый психотип

обзаведется собственной литературой; священные книги будут переписываться многократно, превращаясь в подсобный инструмент личного откровения. Появится мобильная литература лаконичных концептов, выполняющая функции высокой моды, и – от обратного – литература умолчания («за эти два года я не написал пьесу, в которой исследовал...»).

Нагрузка на слово возрастет до такой степени, что оно «поползет» и в значительной мере утратит свою идентичность – язык выработает новые механизмы смыслообразования, позволяющие слову искать родину и приключения с персональной раскованностью человека.

Мы вступили в тысячелетие феноменологии и использования эволюции в личностных целях, и слово – как инструмент сознания – обретает рефлексирующую мощь, с помощью которой сознание превращает жизнь в литературу бытия, в процесс взаимного отражения слова и дела – человек осваивает новую стадию развития, *Homo reflextans*, создавая рефлексирующую реальность – бытие будет отслеживать себя, созерцать свое содержание и последует примеру человека, обзаведясь самосознанием и индивидуальной стратегией и тактикой. Реальность-виртуоз дистанцируется от себя (третье тысячелетие закрепит культуру дистанции как массовую и повседневную – «вещь в себе» тоже будет созерцать себя со стороны), и сознанию откроются возможности, радикально изменяющие человеческую природу.

Июль, 2004

ТЕРРАСА

Татьяне Надольской

В 2005-м, достигнув равновесия между вечностью и уходящим в нее временем, я пристроила к двум балконам второго этажа террасу – 30 квадратных метров под алым тентом, тишина, продуваемое ветрами и дисциплиной одиночество, розовый воздух днем, ночной хор лягушек и беспощадный взгляд 3-го тысячелетия, сфокусированный на человеке.

Терраса парит между Черным морем (всего 200 метров до воды) и предгорьями Кавказского хребта, в узкой прибрежной полосе, по которой в двустороннем движении шествуют народы и цивилизации, вовлекая местных жителей в мировой круговорот, – империи сменяли здесь друг друга с плотностью кирпичной кладки и оставили привкус триумфа и лавра, резко ощутимый в солнечный полдень, когда буйная зелень субтропиков, отбрасывая черную тень, царственно неподвижна.

В детстве эта неподвижность стволов и ветвей поражала меня как молния – в ней сквозила немая мощь, обходящаяся без суеты.

Отсутствие суеты – тайна, отличающая дерево от человека, – до сих пор влечет меня своей непостижимостью, и терраса, знающая гостей и споры, тяготеет к безмолвию, переходя на язык растений.

Несмотря на свою юность, терраса стара как мир, и в ее иронии свила гнездо вещая ворона, накаркавшая еще в эпоху, когда от каменных орудий переходили к бронзе, что человека не остановить.

Мы знаем друг о друге то, что никогда не станет достоянием других, и власть этого «никогда» могущественнее любой политической системы.

Современность благосклонна к нам – мы существуем в крохотной непризнанной стране, пытающейся обрести независимость на обломках советской империи и под перекрестным огнем геополитики.

Буддисту полезно родиться в России, обмолвился в середине XX века бурятский лама Бидия Дандарон, хлебнувший всех прелестей того периода – творческую силу жестких обстоятельств я оценила в начале 90-х, когда грузино-абхазская война обнажила жизнь до смертного оскала, и человек остался нагим даже в броне танка.

Только тогда до меня дошло (среди прочего), что ни одна книга, ни один фильм не способны передать подлинность войны и насилия (возможно, так же, как и любую подлинность) – описываются лишь события и понятные другим эмоции, а вся глубина реальности, спрессованная почти до невозможности воспринимать ее, остается за кадром.

Человек, не знавший войны или другого систематического насилия, неполноценен.

Жизнь открылась ему лишь на поверхности, и даже внезапная смерть любимых лишь приоткрывает завесу над пропастью, куда падают, не достигая дна, ибо у насилия его нет.

Пережитый опыт нельзя передать даже от сердца к сердцу, как умудряется это сделать дзэн – но когда ты выходишь оттуда живым, у тебя есть точка отсчета, абсолютную ценность которой не может оспорить ни одна идеология.

Рок древних греков имел величественную осанку и шествовал рука об руку с трагедией – визит этой возвышенной пары был не только крушением, но и знаком внимания богов.

Самая последовательная попытка объективации (увольнение с работы и двухлетнее уединение, позволившее быстро написать роман и несколько рассказов) привела к такому отчуждению, что меня раздражал даже звук человеческого голоса, ибо в речи содержалась лишь бытовая информация.

Неумение большинства людей общаться сущностно доводило до бешенства и стремления выйти за пределы человечества, и на этом пути за 8 месяцев экспериментов после окончания «Сухумского отшельника» я зашла так далеко, что остановилась от холодящего предчувствия – еще несколько шагов, и я не смогу вернуться.

Понадобилось еще два года, чтобы вернуться к так называемому нормальному общению, то есть к обмену поверхностными сведениями, – и тут до меня наконец дошло милосердие этого варианта, его охранительная функция, позволяющая существовать чудовищно разным типам сознания.

Теперь я болтаю о ерунде с легкостью попугая, видя в повседневном трепе одно из высших достижений цивилизации – треп человечнее Эразма и полифункциональнее электричества.

На дне моего сознания встает солнце.

В этом смысле я язычник почище Эхнатона.

За всю жизнь не помню ни одного по-настоящему счастливого лица – безмятежного, с глубиной озера, с улыбкой, отражающей всю полноту происходящего (исключение – пожилой монах, продававший билеты в палермианские катакомбы, но это было умиление отрешенности).

Не знаю, как ведет себя мое лицо, когда блаженство открывает шлюзы. Вероятно, счастье не любит публичности и предпочитает закоулки, в отличие от трагедии, завоевавшей подмостки, но его потаенность и неуловимость слишком вызывающи. Нельзя отдаться счастьем надолго, и по нему не носят траур наоборот.

Праздники – всего лишь попытка узаконить подступы к ускользающему, а вакханалии древности – всего лишь экстаз, который можно вызвать в процедурном порядке.

Разум мой снисходителен к моему сердцу – скупая слеза набегает даже при дешевом мелодраматическом эффекте, хотя вкус язвит и ерничает.

Сентиментальность уживается с иронией, потому что пришла первой и первой уйдет – умирая, сделаю ей ручкой и благословлю на прощанье.

Ночной дождь лупит по винограду на балконе, по яблоне в пяти метрах от моей постели.

Дождь и тишина.

Лежу в темноте, уже зевая, а в глазах – звездное небо предыдущей ночи. Из-за этого ночь двоится, множится, обретая глубину всей прожитой жизни.

Вечность завораживает. Ее необузданность мерцает во всем, даже в грязном носовом платке, возможно, банальность – инстинктивная реакция живого организма на ужас бесконечного времени.

До интеллектуального навыка сопротивления толпе во мне цвел обычный дух протеста против любого нажима, даже нежного – органика этого долго не осознавалась мною, зато доставляла много удовольствия, особенно в драках, когда попранная справедливость требовала защиты. Упоение боем смывало любые перегородки.

В последние годы объективация съела даже внешнее проявление – привычка оценивать ситуацию со стороны, учитывая мнение собеседника, парализует желание спорить. Если уж только совсем достанут.

Безусловно, терраса – очередной вариант башни из слоновой кости, только подчеркнуто продуваемый. Человек во

мне пронизан солнцем и бесконечной текучестью времени и пространства, поэтому внешняя площадка тоже открыта этим потокам.

Этой осенью мы впервые сделали вино на террасе, виноград был плохой, и получилась дрянь – пить можно, но нет аромата земляники, который отличает молодое вино из «изабеллы» первые два месяца.

Одиночество на террасе действует как насос, накачивая обжитой вечностью, пить на брудершафт с которой не составляет труда, но эта кислая дрянь способна спугнуть даже вечность.

Написать любовное стихотворение и утратить его, забыв полностью, – вот глоток свободы от своей биографии.

С годами так устаешь быть собою, что опережаешь забвение.

Ювенильный психотип мой продолжает резвиться, метафизические восемнадцать лет пробиваются сквозь стареющую кожу и позу мэтра, навязываемую извне, – я удираю в зрелую юность от всего, чтобы на свободе осознавать удел человеческий как непрерывную возможность познания.

То, что я при этом подпрыгиваю (особенно приятно это в утреннем море), освежает.

Стремление слиться с вечностью – тот же инстинкт смерти, но в трансцендентной упаковке. Величественный дизайн всех времен.

Недавно стукнуло, что надо было умереть в молодости (разумеется, невидимо для всех, как и все остальное), чтобы аромат ранней смерти и несостоявшейся жизни сопровождал и подсвечивал.

Этот опыт хорошо отработан в архаических культурах, его продолжение в зрелых религиях тоже оправдало себя,

так что ничего нового в этом нет, разве что в моем случае это было бы не инициацией, а эстетским вывертом.

Чем дальше, тем меньше я участвую в собственной жизни, хотя внешне это выглядит наоборот – социабельность возросла и резко увеличила видимую часть существования, я выгляжу энергичным, активным человеком, который строит, борется и т.д. Но даже и во внутреннем я участвую меньше – во мне остается все меньше меня, словно я исчезаю в то пространство, где личностное уже не нужно.

В апреле 2007 случилось помолодеть на пару недель – ощущение было столь освежающим и явственным, что запомнилось даже телом. Пожалуй, кожа тоже хранит воспоминание о концерте Национального симфонического оркестра США с молодым китайским пианистом в вашингтонском Кеннеди-центре – круглолицый азиат играл Листа с энергией весеннего ливня, и кисти моих рук холодели сверху.

Потом был Прокофьев (уже без китайца), отрывки из «Ромео и Джульетты» – благоуханная тишина зала впитывала звук, чуть опережая оркестр своим нетерпением, и моя голова, затраханная нудным, формальным днем, покрылась виноградными гроздьями. Ее начисто промыло, и юная вечность шарилась по ее закоулкам.

После концерта мы вошли в лифт, поднимавшийся наверх, и на панно высветилась надпись: «Terrace» – словно моя терраса пробилась сквозь Атлантику напомнить о себе. Ее призрак сопровождал меня, пока мы бродили по огромной террасе Кеннеди-центра, любуясь панорамой ночного Вашингтона, и откровенная публичность этой площадки соперничала с потаенностью моей далекой пристройки.

Иногда выпадаю в мое собственное время, не имеющее отношение к общему – оно существует вне известного пото-

ка и отличается свежестью и необычайной плотностью происхождения. В нем почти нет людей, истории, цивилизации, и жизнь сводится к такой полноте проживания своего нечеловеческого, что остро осознаешь несопоставимость всего живого.

У всех изумительно и чудовищно разный опыт. Социальность – это внешний орнамент, позволяющий ходить друг к другу в гости.

Ночное солнце – жестокий собеседник, ирония которого как пламя. Черное ослепительно в тишине звезд и орудует без промаха – его лучи пронизывают суть, чтобы удвоить ее содержимое за счет отрицания и игры в безмолвный пафос, плавящийся, как воск, от пристального взгляда.

Черное солнце – оптика одиночества. Ночь не дает спуска даже беззащитности, превращая наготу души в оружие, перед которым трудно устоять – собственная уязвимость прекрасна, как пропасть, из которой возвращаешься опытным скалолазом, знающим цену мельчайшим выступам и дуновению от взмаха крыла. Воробьи там летают против ветра.

Дружеское «ты» под ночным солнцем уходит в никуда, глухое «я» остается за бортом – местоимения не работают.

Вербальность вообще под вопросом, слово скользит по лезвию ножа.

Без одиночества нет человека.

Интересно, что было бы с моими мозгами, если бы не перелом ноги, уложивший меня в конце 80-х в загородную больницу, где к моей кровати подкатили книжный развал, скрывавший двухтомник Музиля. Я никогда не слышала этого имени и до сих пор в претензии к советскому литературоведению, молчавшему о нем. Да, Пруст, Кафка, Джойс, но ни слова о Музиле – видимо, он был не по зубам после соцреалистической мякины.

Эта встреча на больничной койке сразу расставила все по местам в моей голове.

Меня всегда приводили в уныние замкнутость и стерильность московских квартир, где нет природной жизни. В нашу квартиру через открытые 7 месяцев в году окна и балконные двери лезут муравьи, богомолы, кузнечики, залетают мотыльки и бабочки, а осы и шмели умудряются лепить гнезда в каждой малоиспользуемой щели. Однажды, разобрав недействующий замок одной из внутренних дверей, мама обнаружила там личинки осиных зародышей.

Появление террасы сфокусировало внимание животного мира – теперь все лезут сюда, и всем хватает места. Ласточки предпочитают тишину после завтрака, когда я ковыряюсь с прозой в углу террасы, и ранние сумерки – иногда они проносятся так близко от лица, что предполагаешь несколько вариантов: тебя принимают за неодушевленное чучело, или пытаются спровоцировать на действие, чтобы определить степень возможной опасности, или это любопытство летающего к сидящему, прикованному к земле.

Летучие мыши сигают над головой в темноте во время своих брачных игр.

Муравьи ползают везде, иногда вытаскиваешь их из собственных волос, но это естественнее, чем выловить богомола из борща.

Как-то летом нахлынула толпа гостей послушать игру московской поэтессы на диджереду, древнем австралийском инструменте, который обычно делают из полутораметрового куска эвкалипта, выедаемого изнутри термитами – несмотря на то, что инструмент этой дамы был сделан в России и из липы без участия термитов, извлекаемый звук был настолько мощно-первобытным, что из темноты на стол с пирожными выпрыгнула древесная лягушка. Гости обалдели – возможно, большинство из них видели древесную лягушку впервые в жизни и не подозревали о ее существовании.

Ни до, ни после лягушка не появлялась, поэтому с чистой совестью можно отнести ее визит на счет диджереду – видимо, она живет на вечнозеленом дубе, нависающем над террасой. Мне приятно ощущать, что я варюсь в общем природном котле, где разница между муравьем и человеком не существенна, во всяком случае мы ее не акцентируем.

Все разговоры о старении культуры и исчерпанности художественных средств – треп близорукости. На самом деле мы в начале пути.

Пожалуй, только в детстве не возникало регулярного желания подохнуть, по большей части не связанного с внешними обстоятельствами, – так называемые трагические происшествия, наоборот, активизируют меня, вынуждая действовать.

Помимо психофизиологического маятника (усталость и т.д.) работает разочарование – общая часть жизни слишком банальна. Если бы человек был бессмертным, он стал бы невыносимо скучен – лишь смерть и несчастья придают ему некоторую одухотворенность.

Бытовая шелуха, забивающая все поры его существования, висит в воздухе, и трудно разобрать выражение его лица – из тысяч людей, встреченных мною, навряд ли мне удалось увидеть истинный лик хотя бы 3–4-х человек.

Скука Гоголя универсальна для всех широт. Куда ни поедешь, везде одно и то же – суэта и приблизительность (Валери отдыхает – в его время последняя еще обладала некоей невинностью) поверх глубинного течения жизни.

Собственное прошлое потеряло для меня значимость – сантименты исчезли напрочь. Настоящее на известной дистанции, а будущее осталось нетронутым.

Сегодня жизнь одарила изощренным удивлением. Заканчиваю последнюю каменную дорожку перед фасадом, подходит соседка-маляр и говорит: «Ну что, нормально. А стяжку когда делать будешь?» Не веря ушам, спрашиваю: «Какую стяжку?» – «Ну, цементную, поверх, как обычно», – и она машет в сторону асфальтного убожества, от которого я ухожу.

После 50-ти начался период ошеломляюще нежного одиночества, когда любое, даже жестокое движение жизни имеет интимное послевкусие – словно все происходит в моей жизни.

То, что называют роскошью человеческого общения, напоминает ряску на поверхности пруда. Те редкие мгновения, когда люди взглядом или интонацией открываются друг другу, погоды не делают.

Даже объяснение в любви или ненависти краткосрочно. Видимо, обнажаться психологически противно человеческой природе. Это опасно или, что еще хуже. Смешно или никому не нужно. Человек с трудом выдерживает самого себя – до другого ли ему при этом?

И все равно мы тоскуем по единению душ, по глубине общения – для полноты жизни мы должны резонировать с чужой душой, мы нуждаемся в чужести, подтверждающей нашу ранимость.

Я человек пленэрный, выросший в парках и на пляже, и с трудом приспосабливаюсь к офисному существованию современности. Только открытое небо над головой делает для меня комфортным одиночество или общение. Большая часть книг, прочитанных в детстве и юности, усваивалась вместе с воздухом в тени магнолий или на деревьях – недавно рухну-

ло от старости земляничное дерево, на котором я упивалась «Легендой об Уленшпигеле», и образовалась брешь в моем древесно-книжном мире.

И сейчас, залезая на алычу, чтобы достать самые спелые кисти винограда, или на дуб, чтобы подтянуть веревки от тента, я испытываю оглушающее чувство свободы и блаженства – дерево словно принимает меня в свой круг, где небеса по-дружески освежают.

За настоящую жизнь денег не платят – она нерентабельна для окружающих. Нужно сбиться в стадо, чтобы получить прибавочную стоимость.

Умный живой собеседник выделяет кислород и создает точку опоры – прыгаешь в пропасть, но не грохачешься вниз, потому что есть за что зацепиться мыслью.

Вчера на террасе был Николай Злобин из вашингтонского института мировой безопасности, русский американец глобалистского замеса, органично вписавшийся в эпоху перемен, которую китайцы желали своим врагам.

Приятно было наблюдать за человеком, адекватном современности.

Остальные гости ежились от вечерней сырости (было уже поздно), переминались в креслах, явно уставшие от экскурсии в новоафонскую пещеру и монастырь, интервью на ТВ и предыдущих застолий, а Злобин был свеж и текуч.

После такого собеседника одиночество обретает дополнительную оптику.

Русская кровь в сочетании с давними добавками татарской и польской дала темперамент фокстерьера, которого приходится бить по носу.

Европеец во мне балуется фатализмом и ценит негу отрешенности, а азиат деловит и педантичен, иногда до отвращения – гасит за всеми свет даже в чужой квартире. В качелях между Западом и Востоком комфортно, и выгода несомненна – черпаешь из всех сокровищниц. По-утреннему пронизывающая диалектика Лао-Цзы встречается за завтраком с рефлексией Музиля, и мы поглощаем овсянку, улыбаясь многозначности жизни и слегка жуя ее за быстротечность.

Ибо все мы ушиблены временем и его неподъемной тайной. Его аппетит чудовищен, а неподкупность цинична. Мгновение опьяняет и тут же стремительно исчезает, не попрощавшись, не оставив адрес. Ему не до сантиментов – инерция вечности сдувает его как пылинку.

Как истинные стоики, мы приспособились и делаем вид, что нам по хрену – Лао-Цзы уехал на буйволе, Музиль умер в нищете под покровом швейцарского нейтралитета, а я отказываюсь от себя в пользу истины, чтобы вызвать ответное великодушие.

Стихи писались, пока я жила страстями и обвальным ощущением красоты, когда полдень был событием, а ночные тени уводили на край земли – мерцание звезд обещало сократовскую насыщенность жизни.

Сейчас я пленник собственного видения мира, своей поэтической манеры (не к ночи будь помянута), и стихи угасли, ибо не открывали нового. В прозе я еще пытаюсь прорваться в неведомое, наработанный художественный стереотип пока не удушил меня окончательно.

Типичное для многих художников как бы отсутствие в жизни (несмотря на всю мою общественную активность) стало настолько привычным, что уже не вызывает вопросов.

Возможно, и терраса отчасти построена, чтобы прикрыть мое отсутствие.

Театр на месте беззвучного «пока».

Роскошные ночи Босфора, когда луна кажется неотъемлемой частью восточного пейзажа – подсвеченные мечети и дворцы очерчивают берега пролива между Азией и Европой, напоминая о тысячелетних колебаниях, но Золотой Рог направлен к северу, в Евросоюз; средневековая нег гарема, как ковер-самолет, парит над распаленным воображением туристов, и огромный фонтан, бьющий из вонючей воды (босфорская клоака 20-миллионного Стамбула), смотрится светящейся цитатой-рекламой опоэтизированного прошлого, где сажали на кол и сравнивали бедра красавиц с тяжелой кучей песка. Чувственность босфорской ночи почти священна.

При всей моей наружной активности внешняя жизнь большей частью казалась мне чужой, а биография – очередной справкой; теперь и внешняя жизнь стекает внутрь, потому что окружающая среда стала продолжением моей физиологии. Все неразрывно до фарса и нежности одновременно.

Цветущие растения появились задолго до человека – 110 млн. лет назад, и просуществовали целую эпоху, не вызывая восхищения. Позже сформировался человеческий мозг, и первый оценивающий взгляд породил красоту – это была революция, значение которой затмевает все последующие.

Между цветением и человеческой мимикой есть неочевидная связь, и все-таки человеческое лицо выпадает из природы.

Европа становится мне все ближе – может быть, потому, что кажется уязвимой. Самая толерантная часть света так упорно усваивается цветными, что на глазах превращается

в колонию нового образца – afterпостмодернистскую зону мультикультурализма.

Мигрирующие наследники западной демократии наверняка окажутся хорошими учениками (личностное все равно разъест коллективное), и восточная утонченность даст роскошные цветы на европейской почве, но уходящая в прошлое Европа трогает своей обреченностью.

Этот понедельник доканал меня солнцем и безысходностью – жизнь застыла, и даже воздух поступал в легкие гранитом. Мозг требует разнообразия, которое я не всегда могу ему обеспечить.

Чудовищная ненасытность мозга в противоречии с природной невыносимостью, которую усугубил менингит в отрочестве, ставит в идиотское положение. Я никогда не знаю, что выкинет моя голова через пару часов – долбанет мигрень, тут же вырубаящая из рабочего ритма, или банальная головная боль, которую может мгновенно запустить духота в поезде, случайный курильщик и т.д. Почти каждая магнитная буря затаптывает меня по полной программе.

Вместо того чтобы таскаться по миру, торчишь на одном месте, пронизывая собой пространство – а во время поездок разбрасываешь споры взгляда, прорастающие после твоего исчезновения.

Неделю назад, осматривая окрестности со второго этажа лондонского автобуса, наткнулась на восхитительное зрелище – по тротуару идут два мужика, обычные бледнолицые англичане, и у одного из них на лысине черные картонные рога. По выражению лица не заметно было, что он прикалывается – как раз обыденность его поведения и делала ситуацию неотразимой.

Обычное утро, не выходной, не праздник, мужик простецкий, лысина розовая, никто, кроме меня, не паялился.

Захотелось человеку, и слава богу. Хоть где-то до этого дожили.

Терраса – это выплеск домашнего пространства наружу, возможность быть под открытым небом, но по-домашнему наедине – однажды с подругой-итальянкой мы спустились к морю извилистой дорогой между домами рыбацкого поселка под Генуей и, в очередной раз резко свернув, прошли буквально в полуметре от лица девочки, читавшей книгу. Она сидела на маленькой террасе, образованной плоской крышей первого этажа, и даже глазом не повела на наше неожиданное появление.

Ее поглощенность книгой подарила мне драгоценное ощущение невидимости и тайного вторжения в пространство юного лица.

Круглый год купаясь в море, я ощущаю себя земноводным существом, для которого вода первичнее праха – прозрачность утренней волны (в декабре-феврале море бывает чище, чем в суматошные летние месяцы, напоминающие гусеницу с миллионом мелькающих загорелых ног) обнажает мое сердце.

Залив дарит мне изыски, недоступные сухопутным – лежать в ночной воде при свете звезд или полной луны, медленно колыхаясь в общем движении водной массы и отражаясь в отступающем небе; нырять в фосфоресцирующую ноктилюками волну и видеть, как сверкающие капли стекают с твоего тела, повторяя дробность Млечного пути над головой; или таять в молочно-теплой воде сентябрьского моря, ощущая на лице прохладные капли осеннего дождя.

Этот водно-воздушный ажур ощущений пронизывает жизнь даже вдали от здешних мест, давая иногда неожиданное смешение – пару лет назад, когда прохладной субботой августа мы ходили на виндсерферах по Финскому заливу,

две атмосферных среды, южная и северная, наперегонки соревновались с ветром, обольщая мои глаза и кожу обжигающим сочетанием вспышек памяти и яви.

Полдненное буйство сухумского залива, когда солнце слепит со всех сторон, отражаясь от водной поверхности, и лупит упругим потоком зноя, сопровождает меня всегда.

Любовь непостижима, как все подлинное.

Когда начинаешь жить как исследователь, а не потребитель (эта функция уходит в рефлексирующую тень), очень скоро осознаешь, что жизнь есть то, что ты в нее вкладываешь – даже с независящими от тебя обстоятельствами можно сыграть в собственную игру, а ежесекундная пластичность жизни просто завораживает – в мгновение ока ты можешь сбежать от себя так далеко, что твое отсутствие испытает соблазн самореализации.

Если же ты пытаешься заглянуть жизни прямо в лицо, она всегда ускользает. Потому что ей нечего сказать в ответ без твоей подсказки – вот тут и попадаешь в капкан собственной ответственности.

Полгода назад купила штук 50 видеофильмов National Geographic и BBC о дикой природе, рассчитывая долго наслаждаться. Хрен с маслом, настоящий удар под дых. Вроде как я знала, что все живое непрерывно ест друг друга, чтобы выжить, но одно дело знать теоретически, а другое – видеть, как крокодил раздирает трепещущую плоть или как мои любимые зебры забивают ногами насмерть заблудившегося детеныша антилопы, чтобы он не привлек своими криками ночного хищника. Почти ни один фильм не могу досмотреть до конца, заболеваю от обыденной жестокости происходящего.

Я не хочу жить в таком мире. Понимаю, что это истерическая реакция, но не хочу.

Когда летом заходишь в парк, четкое ощущение, что небо – это, в первую очередь, неумолчный звук, а уже потом солнце и прочие дела. Цикады нависают над головой – цивилизация еще не затоптала их, и звук с металлическим отблеском античной трагедии плотно прилегает к макушке.

Героическая смерть скользит между стволами, дразня сухим треском погребального костра, и у вечности все еще человеческое лицо – бессмертно-юная улыбка богов дрожит на губах, обесценивая время, еще не знающее песочных часов.

Гуманитарный выродок в технической семье, я обладаю некоторыми ремонтными навыками и интересом к научным вопросам, что позволяет более объемно воспринимать жизнь. Последние два года читаю классные зарубежные книги по экономике и финансам – с высоты птичьего полета захватывающее зрелище. Забавно, что даже в финансах значение невидимого столь же велико, как в морали и культуре.

Жизнь не осознает, что она усложняется, а я как последняя балда упрекаю ее в отсутствии рефлексии. У нее нет стремления быть собеседником, она существует вне вербального общения, избрав другие пути, а я пытаюсь вызвать ее на откровенность привычным способом – чирик-чирик.

Я требую от нее целевой установки, мотивации и т.д., то есть натягиваю ее на человеческое, а она вне этого – и вроде как я понимаю, но не могу отвязаться.

Когда вокруг рождаются и умирают – это аргумент ниже пояса, ибо непонятно, что этим хотят сказать.

Разборки с сущим – единственное занятие, придающее смысл остальному. Существовать осознанно, видимо, так же

противоестественно, как убивать, но более перспективно – хоть что-то оставляешь после себя.

То, что обо мне не знают, – гора, у подножья которой фи-
глярствует мышь под именем Надежда Венедиктова.

Остальные в такой же ситуации.

Горы вдалеке безмолвствуют, а мышки в долинах обща-
ются.

В этом году из-за частых отъездов отвыкла от террасы и,
когда бывают гости, прихожу гостем. Это в русле возраст-
ного отчуждения от себя – собственная жизнь с террасой в
придачу дрейфует неподалеку.

В 1969 году наш автомобильный караван поднялся к Бю-
роканской обсерватории над Ереваном – рекомендательное
письмо открыло нам двери к одному из телескопов. Снару-
жи сиял ослепительный август с запахом абрикосовых садов,
окружавших городок астрономов, – переспевшие плоды по-
крывали землю и нежно гнили. А внутри окуляр приковывал
взгляд к черному небу с туманностью Андромеды – этот кон-
траст дня и ночи так ошеломил подростковое сознание, что я
еще несколько суток ощущала одновременность всего.

Работоголик Плиний, не терявший ни минуты и на-
кропавший 37 томов «Истории естественных знаний»,
любил гулять босиком в своем великолепном саду под
перголами из винограда. Платон гулял с учениками в
роще Академии, считая, что ходьба стимулирует мысли-
тельный процесс. Во всяком случае, ходьба спасала меня
даже от отчаяния.

Неизвестность так же возбуждает, как атака половых гормонов по мозгам в молодости, она делает мир будоражаще неотразимым.

Как сильно мы недооцениваем потенциал неизвестного даже совсем рядом – моя бабушка, коммунистка и поклонница Голсуорси, на исходе 95-го года жизни вдруг увлеклась ранней прозой Пастернака, а сегодня утром с отвращением поносила обыкновение целоваться в губы – оказывается, она никогда этого не делала, хотя трижды была замужем, а в юности согрешила до замужества. Еще лезут в рот друг другу, – сказала она, передергиваясь.

В Египте солнце агрессивно и бьет по мозгам – быть фанатиком или фаталистом здесь так же естественно, как финиковой пальмой. На берегу Нила, среди строительного мусора, старик в белом тюрбане протянул мне кофейную бурду в немытом стакане и остался в моей жизни – многолетняя безысходность разъедала его лицо до полной покорности судьбе с такой силой, что проникла в меня, как внутренний ветер, коснувшись самых глубин.

В стране, где 96 % территории – пустыня и природная тень не спасает от зноя, где пирамиды консервируют смерть, человек слишком уязвим в интимнейшем переживании света.

Человек уходит непознанным. Даже люди, чье творчество и биография обсосаны до мельчайших подробностей, не в лучшем положении – просто их занавес расписан до упора.

Пушкин такой же незнакомец, как любой прохожий.

Стало раздражать примитивное деление на два пола – слишком однообразно, даже гомосексуализм и транссексуальность не спасают положения. Глубокая укорененность в половом стереотипе поведения уже давно отдает убеже-

ством. Когда вижу кокетничающую самку, не подозреваю о своем человеческом, грустно до положения риз.

Летняя прохлада – такая же вершина цивилизации и культуры, как Парфенон. Мы так выразительно наслаждаемся ею, столько поцелуев и ласк таится в ее бесконечных просторах (от любовных игр наяд с сатирами до современных пикников на траве); по плодотворности мыслей, рожденных ею, она переплюнет любой исследовательский институт.

Когда лежишь в шезлонге под легким ветерком, языческая прелесть винограда и горизонта дразнит в тебе полубога, и ты одухотворяешь вечность – помню несколько случаев, когда ответ приходил мгновенно, как будто за твою щедрость откликнулись брызгами света.

Жизнь на дистанции от себя отчуждает от обычного способа существования и в то же время обогащает его новой прелестью – объективация придает жизни законченность прямо по ходу действия, как если бы чувство тут же отливалось в любовный роман или хотя бы сонет, озвученный одновременно с поцелуем – мозг работает на два фронта, участвуя в пылком действии души и тела и не забывая о своей оценочной функции.

Выложив дорожку перед домом морской галькой, так увлеклась, что уже четвертый год работаю с камнем – сотворила даже каменные кресло, столик и вазу (итальянский дворик), пошли маленькие скульптуры, камень оказался неисчерпаемо разнообразным.

Работа с камнем и создание легкого уюта на террасе сделали неприкаянность более мощной и осознанной – сейчас два эти взаимоисключающих процесса создают полноту жизни, провоцирующую своей законченностью, и я снова думаю о бегстве, невидимом, но неостановимом.

Внутренний ландшафт собеседника обычно важнее темы разговора.

По многолетним следам улыбки на лице можно зайти в глубь человека так далеко, что он окажется захваченным врасплох.

«Тот, кто любит свою родину, лишь слабый новичок, тот, для кого любая земля становится родиной, уже сильнее; но совершенен лишь тот, кому весь мир – чужбина». Хьюго из Сен-Виктора, саксонский монах XII века.

Я болтаюсь между подобным мироощущением и потребностью быть самым жизненным процессом. Мне тесно быть просто человеком.

В то же время я стараюсь быть и просто человеком, ибо на сегодня это единственная оптика, позволяющая рефлексировать индивидуально.

И тогда мы почти на равных – человек и непостижимое.

Сюжетность достала – хлещет потоком со всех сторон, банальность историй лишь подчеркивает, что по-настоящему мы существуем только в неповторимости переживаний, которая скрыта от посторонних глаз.

Стадность вместо единства.

Неповторимость прячется, как изгой, и обнаружить ее можно только случайно, когда вдруг мелькнет проблеск того, что составляет истинную сущность, и снова скроется, ибо за подлинность надо платить.

Быть самым собой сложнее, чем членом общества.

В детстве, когда из меня лепили, правда, не очень усердно, женщину и советского человека, я отстраненно наблюдала со стороны, не понимая, чего ко мне вяжутся, настолько блекло

это было в сравнении с роскошью субтропиков и предвкушением будущего. В юности попытки окружающих привести меня к общему знаменателю уже осознанно раздражали; сейчас мои попытки ускользать от стереотипов выливаются в очередной штамп, правда, еще не совсем осточертевший.

Борхес утверждал, что он не человек, а перекресток; я с детства ощущаю себя сквозняком; интересно, есть ли индивиды, позиционирующие себя как молнию, разбегающуюся галактику, ночной взгляд совы?

Если издать энциклопедию самоощущений, не будет ли она включать все существующее от А до Я?

Настоящее слишком часто навязчиво и не обладает деликатностью прошлого.

На террасу начали ходить как в музей, особенно впечатляют посторонних каменные дорожки, итальянский дворик и бугенвиллея, которая за полгода выросла на три с половиной метра. Теперь терраса – это целый комплекс со скульптурами, растениями и прочими прибабасами. Колокольчики, свисающие по центру террасы, обеспечивают в ветреную погоду хрустально-водную промывку мозгов – словно родник течет по извилинам, даруя лесную свежесть.

Эта «башня из слоновой кости» пошла по моим стопам и выпендривается сама по себе, не ожидая зрителей.

Культура общения с собой проработана гораздо лучше, чем общение с другими.

Увеличивается количество жизни, которое не можешь пересказать другому.

Слепящий зной субтропиков с малолетства одарил меня глубинным ощущением праздника, и сейчас, когда в редкие свободные минуты, уютившись в кресле и наслаждаясь аскетичным комфортом террасы, я размышляю об изначальной страсти человека к экстазу, выродившейся в футбольный фанатизм и прочие потуги современного досуга, я улавливаю в себе пляшущего дикаря – самозабвенный танец у костра или на берегу моря, взвинчивающий тебя вверх!

До сих пор пляшу, особенно зимними вечерами, под Сезарию Эвара или что-нибудь знойно-испанское – ритм разворачивает тело и душу до простора ойкумены и созывает гостей, ибо дикарю нужны их восхищенные взгляды.

Существуя по принципу: «Интеллигентный человек минимально обременяет собою окружающую среду», я ничего не требую от государства, общества, жизни, попросить даже близкого человека об одолжении – нож острый. Это дает свободу, но отчуждает.

Мое личное время не линейно, хотя общепринятая колея тоже протоптана, чтобы не оторваться от коллектива, – ведь встречаемся мы только на ней.

Построила террасу, чтобы спокойно работать в одиночестве, а теперь она навязывает мне гостеприимство. Я всегда терпеть не могла гостей. Через полчаса мне хотелось бежать от них и проветриться от общения. Теперь понимаю, что просто требовалось открытое небо над головой – сейчас я спокойно и зачастую не без удовольствия участвую в многочасовых беседах, не обязательно обремененных интеллектом.

Мне интересны в основном лишь те авторы, которые прописывают способ существования, поэтому и я пытаюсь разжевать собственный.

Я принципиальный и последовательный маргинал, обитающий на границах – моря и суши, личности и человечества, сущего и небытия и т.д.

Наслаждаясь полднем, я торгую одиночеством вразнос – и потому все в гостях. От спелой черешни до небес. Наиболее открыт для общения бываешь лишь в одиночестве. Это не препятствует моему вечному бегству от себя, просто остальные тоже выходят на дистанцию – массовый забег к горизонту, отступающему с постоянством, достойным лучшего применения.

Взгляд на себя со стороны не имеет постоянной прописки и бомжует на грани фолла – к тому же ему приходится следить за двумя субъектами, разбегающимися с целью самопознания. Иногда их бывает больше.

Я не хочу, чтобы над моей мыслью довели государство, нация и другие базообразующие дела, которые, создав, потом контролируют – терсі за креатив, но дальше мы с жизнью один на один, без посредников.

Пограничный способ существования обольщает всеядностью и объективностью – ты всехний и ничей, но друг человека.

Лицо, этот опознавательный знак для других, тоже тянет одеяло на себя – чем дальше, тем независимее мы друг от друга, и ежедневные встречи в зеркале все суше. Взаимная усталость накапливается, и невозможность отвязаться друг от друга вызывает иронию – наталкиваясь на свой фэйс, иногда машу рукой, дескать, исчезни хоть на минутку, не мешай сосредоточиться.

Плавали с братом и друзьями от Нижнего Новгорода до Балаама – российское пространство оказалось замешанным на воде: что Рыбинское водохранилище, что Белое озеро огромны и словно разделяют континенты. И здесь задана необъятность, мешающая нам структурировать.

Журналистские будни регулярно сталкивают меня с циниками и жуликами разных мастей – только что ушел один из них, и нужен хотя бы слабый порыв ветра, чтобы очистить воздух.

Я избегаю приглашать их на террасу, но этот приперся по собственной инициативе. Нудил-нудил, предлагая очередную коммерческую затею (все пытаются использовать мою reputation до тупости порядочного человека), и наконец тихо отвалил. Омертвил сорок минут моей жизни, хотя я и отвлекалась на изыски вечернего освещения, на воробья, снующего в глицинии.

Даже как объект изучения они, за редким исключением, неинтересны. Эти козлы умудрились опошлить даже такое гениальное изобретение, как деньги, отрывающее человека от чувства обладания хотя бы на миллиметр.

Каждый кипарис – мой конфидент и вход в Древнюю Грецию. Случайного взгляда довольно, чтобы повеяло вечностью и античным покоем (не знаю, был ли он когда-нибудь, но детство, настоенное на древнегреческих мифах, настаивает), сочетающим неподвижность полудня с поступью рока. Черная остроконечная тень разит, как взмах меча, рассекающего занавес над сценой, – и я вновь в стране смеющихся богов и мудрого кентавра, расстояние между небом и землей здесь как прогулка в соседнее царство, нагие атлеты выпрыгивают из курсов, чтобы состязаться на Олимпийских играх, а Пенелопа отражает как зеркало приключения имени

ее мужа. Все очень по-человечески. Но драматурги и философы натягивают пространство до катарсиса, соревнуясь с судьбой, и это соревнование превращает эпоху в сейчас.

Я хочу быть самым жизненным процессом, чтобы познавать и ощущать максимально – но рефлексировать ли жизнь так же самозабвенно, как я? Поменять шило на мыло? Чем ближе к реальности, тем дальше от себя?

Терраса несется сквозь время, обгоняя материки и отставивая собственный путь – тешит себя иллюзией, что это она породила меня. Я разрешаю ей утверждаться за мой счет, ибо великодушие – лучший способ сосуществовать.

Возможно, когда-нибудь терраса станет настолько самодостаточной, что улыбнется мне с любовью близкого человека.

С годами все больше поражает вместимость жизни, ее всеядность и – полное отсутствие стиля.

Октябрь, 2008

СОДЕРЖАНИЕ

Цезарь и Венедиктова.....	3
Ваза конца второго тысячелетия.....	13
Великая Рита.....	22
Красавец и неуловимое.....	58
Адыгская колесница в вечернем освещении.....	81
Точка отсчета.....	101
Интимный кайф эволюции.....	107
Триптих для субботнего вечера.....	140
Сухумский отшельник. Роман в яблоках.....	154
Автор вне человека. Эссе	356
Терраса.....	380

Надежда Юрьевна Венедиктова

ЦЕЗАРЬ
И
ВЕНЕДИКТОВА

Роман
Рассказы
Эссе

Редактор Д.Начкебия
Корректор Л.Тахмазова
Техредактор Л.Анфимова
Художник А.Лабахуа
Компьютерная верстка Н.Гунба

Формат 84x108 ¹/₃₂. Тираж 500 экз.
Физ. печ. л. 12,75. Усл. печ. л. 21,42.
Заказ №

Отпечатано в ООО «Флер-1»
350058, г. Краснодар, ул. Уральская, 98/2